споминания СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ *СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ* Судьбы, оц

удьбы. оценки. воспоминания Судьбы, оценки, воспоминания **Судьбы, оценки, воспоминания** Судьбы, оценки, вос

. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ **СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ** *СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ* Судьбы. Оценки.

ия СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ **СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИН**

. Оценки. Воспоминания СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ Судьбы. оценки. воспоминания *Судьбы, оценки, воспоминания* суд

дьбы. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ *СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ* **Судьбы. Оц**

ьбы. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ Судьбы, оценки, воспоминания СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ.

инания *СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ* Судьбы, оценки, воспоминания *Судьбы. Оценки. Воспоминания* СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАН

оминания **СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ Судьбы, оценки, воспоминания СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ СУДЬБЫ.**

ы. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ Судьбы. Оценки. Воспоминания *Судьбы, оценки, воспоминания* **СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ.**

ания *Судьбы, оценки, воспоминания* СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ оценки. воспоминания **Судьб**

воспоминания СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ ния *Судьбы, оценк*

ния **СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОС** **ВОСПОМИ**

инания СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ **СУД**

оминания

М.В. ВИШНЯК



«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»


М.В. ВИШНЯК
СУДЬБЫ
ОЦЕНКИ
ВОСПОМИНАНИЯ

СУДЬБЫ. ОЦЕНКИ. ВОСПОМИНАНИЯ.

М.В. ВИШНЯК

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Воспоминания редактора



Санкт-Петербург
Издательство
"Logos"
Дюссельдорф
"Голубой всадник"
1993

ББК 84. Р1

В55

Редакторы серии Луи Аллен (Лилль) и Ольга Гриз (Париж)

Предисловие и подготовка текста *Л. Аллена*

Художник *В. Корнилов*

$\mathbf{В}\,\frac{4702010101}{Г73(03)-93}$ без объявл.

ISBN 5-87288-053-7

М. В. ВИШНЯК И ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Основанный в Париже в 1920 г. культурно-политический и литературный журнал «Современные записки» — наиболее значительное из всех периодических изданий русского зарубежья, памятник эпохе 1920—1940 гг., интересная и знаменательная страница истории русской культуры XX столетия. «Современные записки» заслуженно пользовались огромной популярностью в среде русской эмиграции, именно на страницах этого журнала проходили первую публикацию произведения выдающихся мастеров русской литературы И. Бунина, Г. Иванова, М. Цветаевой, Вл. Ходасевича, А. Ремизова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, А. Куприна, И. Шмелева, Б. Зайцева, М. Осоргина и многих других, статьи видных философов, публицистов, критиков, политических и общественных деятелей.

Вышедший семьюдесятью номерами (в среднем 3—4 книги в год), этот «толстый» журнал (объем «Современных записок» был достаточно велик — 300, 400 и даже 500 страниц) в продолжение двадцати лет (1920—1940) играл роль, не имеющую прецедентов в анналах русской журналистики — роль культурного центра, объединявшего вокруг себя почти всех видных представителей русской интеллигенции в эмиграции.

«Современные записки» возникли в ноябре 1920 г. на месте «Грядущей России», первого большого журнала зарубежья, два номера которого вышли в Париже в 1920 г. под редакцией М. А. Алданова, В. А. Анри, А. Н. Толстого и Н. В. Чайковского.

Новый журнал был задуман и издавался при ближайшем участии пяти членов партии социалистов-революционеров: М. В. Вишняк (1883—1977), А. И. Гуковский (1865—1925) и В. В. Руднев (1879—1940) составили первоначальное редакционное ядро. Вскоре они привлекли Н. Д. Авксентьева (1878—1943) и И. И. Фондаминского-Бунакова (1880—1942). После смерти А. И. Гуковского в 1925 г. его не заменили, и четырехчленная редакция продолжала выпуск журнала до вторжения немцев во Францию, из-за которого журнал был вынужден прекратить свое существование.

Сам Вишняк был политическим деятелем. До революции он работал секретарем Учредительного собрания. Как правоверный (хотя и правый) эсер, он принял Февральскую революцию 1917 года и категорически отверг революцию Октябрьскую. С 1940 г. он оказался в Нью-Йорке, где стал одним из сотрудников, специалистов по русским делам в журнале «Тайм-магазин». Впоследствии он печатался в «Новом журнале», основанном в 1942 г. в Нью-Йорке М. О. Цетлиным. В 1948 г. он впервые

опубликовал в двадцатом номере этого журнала основное ядро своих воспоминаний редактора «Современных записок».

Создание «Современных записок» группой эсеров могло означать какое-то политическое, а то и партийное начинание. Но такой риск был, по-видимому, сразу учтен и отстранен. Когда вышел в ноябре 1920 г. первый номер журнала, редакторы в вступительной заметке подчеркивали необходимость внепартийности и образования какого-то широкого фронта.

«Редакция полагает, что границы свободы суждения авторов должны быть особенно широки теперь, когда нет ни одной идеологии, которая не нуждалась бы в критической проверке при свете совершающихся грозных мировых событий».

В «программе демократического обновления» решающее значение придавалось художественному творчеству, научным исканиям и общественно-политическим исследованиям. Такой диапазон сохранялся и даже расширялся с годами. Наряду с блестящим литературно-художественным отделом все больше процветал отдел небеллетристический (литературная критика с обширными критико-библиографическими приложениями, философия и религия, наука, политика и публицистика).

Все пять редакторов журнала принимали, как полагалось, участие в журнале, хотя, естественно, в неравной степени. Меньше всех выступал с самого начала Н. Д. Авксентьев, автор статьи «Patriotica», появившейся в первом номере, в которой он отмежевывался от исходных народнических начал. Деятельность А. И. Гуковского, писавшего часто под псевдонимом А. Северова, была прервана смертью в 1925 г. Самое «близкое участие» в журнале принимал, на первых порах, И. И. Бунаков, автор серии историософских статей под заглавием «Пути России» (17 длинных очерков) и М. В. Вишняк, ведущий в первых 12-ти книгах постоянную рубрику под названием «На родине». В. В. Руднев, бывший городской голова г. Москвы в 1917 г., писал рецензии и статьи на общественно-публицистические темы.

Итак, среди постоянных редакторов «Современных записок» не оказалось ни одного человека, мало-мальски близкого к литературно-художественному миру. Тем не менее, отмечая в 1933 г. юбилей журнала (по случаю выпуска 50-й книги), Ходасевич с полным правом писал в 51-й книге: «Они (редакторы) в беллетристическом и поэтическом отделах журнала собрали все или почти все выдающееся, что было написано за эти годы за рубежом».

Это случилось благодаря привлечению внештатных сотрудников, о чем хлопотал в основном И. И. Фондаминский с помощью В. В. Руднева. Так, например, Ф. А. Степун стал заведовать литературным отделом. М. О. Цетлин работал консультантом по отделу стихов (за все время существования журнала он напечатал 61 рецензию). К 1930-м годам литературно-критический отдел значительно расширился. После 1926 г. особенно плодовитым стало сотрудничество профессора Софийского университета П. М. Бицилли (им было напечатано с 1925 по 1940 г. 30 статей и 75 рецензий). С 1927 г. появились Г. В. Адамович, В. В. Вейдле и Г. П. Федотов. С 1929 г. Д. И. Чижевский начал регу-

лярно печатать свои критические статьи. Расцвет этого отдела был следствием и естественным продолжением блистательного подъема литературно-художественного отдела, который обозначился с самого начала. «За первые пять только лет (№№ 1—26) в «Современных записках» появились почти все сколько-нибудь известные из проживающих за границей дореволюционных русских писателей, как поэтов, так и прозаиков», — отмечает Глеб Струве.

Из поэтов — К. Бальмонт, З. Гиппиус, С. Маковский, Н. Оцуп, В. Ходасевич, М. Цветаева. Стихи Г. Иванова начали печататься только с 1927 г. (№ 31) в связи с продолжительным поэтическим «молчанием» автора.

Из прозаиков — И. Бунин, Б. Зайцев, Д. Мережковский, С. Минцлов, П. Муратов, М. Осоргин, А. Ремизов, Ф. Степун, И. Шмелев. В первых книгах журнала А. Толстой напечатал окончание начатого в «Грядущей России» первого тома «Хождения по мукам» — продолжал его Толстой уже в России — и один рассказ. Андрей Белый (пока он жил в Берлине) опубликовал в «Современных записках» «Преступление Николая Летаева», часть своих воспоминаний о Москве (остальная рукопись этой первой версии мемуаров Белого позднее пропала) и обстоятельную статью о поэзии Ходасевича по поводу его «Тяжелой лиры».

В ту раннюю эпоху «молодежь», естественно, мало проявляла себя. Из поэтов — Н. Берберова, В. Злобин и В. Сирин. Из прозаиков — М. Алданов.

Все вышеприведенные авторы продолжали свое участие в последующие годы. В тридцатые годы увидела свет «Жизнь Арсеньева» Бунина, появились новые романы Алданова, Зайцева, Осоргина и Шмелева, рассказы Ремизова, проза Цветаевой, «Державин» Ходасевича. С 1936 г. начали сотрудничать Вячеслав Иванов и А. И. Куприн. Одновременно привлекалось, хотя и в разной степени, поколение, вошедшее в литературу уже в эмиграции. Из поэтов — А. Гингер, Д. Кнут, А. Ладинский, В. Мамченко, Б. Поплавский, А. Присманова, Раевский, Вл. Смоленский, П. Ставров, Ю. Терапиано, Л. Червинская, А. Штейгер. Из прозаиков — Г. Газданов, Л. Зуров, Г. Песков, Б. Темирязев, В. Яновский. Особое место надо отвести романам и рассказам Набокова.

В области философии и религии можно отметить имена Н. Бердяева, о. С. Булгакова, Г. Гурвича, В. Зеньковского, Н. Лосского, Г. Флоровского, Л. Шестова.

Широко и разнообразно был представлен в журнале общепублицистический отдел (тут уж всех авторов не перечесть). В нем, впрочем, принимали участие многие из вышеприведенных по другим отраслям культуры. Не будет преувеличением сказать, что за исключением всяких национал-большевиков, младороссов и сменовеховцев буквально все прошло через этот журнал.

Когда, подводя в 51-й книге итоги деятельности журнала, В. В. Руднев отметил, что «в какой-то мере журнал становится уже органом всего русского Зарубежья», он был совершенно прав, что в дальнейшем неоднократно оправдывалось. Правда, это «расширение фронта» во всех областях мысли и ее выражения сопровождалось известным правением,

если уж исходить даже из умеренно-эсеровской точки зрения. М. В. Вишняк, например, не скрывает, что у него бывали какие-то «трения» особенно с В. В. Рудневым. Но сам Вишняк со временем признал, что это «правение» случалось не столько по личному произволу Руднева, сколько под нажимом читателей, которые создали за «Современными записками» «репутацию лучшего журнала Зарубежья», одного из лучших в истории всей русской журналистики (Глеб Струве). Этим обстоятельством объясняется все растущее выдвижение Руднева среди редакторов и сравнительное умаление роли Вишняка в самые последние годы существования журнала. Несмотря ни на какие перипетии, весь коллектив первоначальных редакторов дружно сходился на чувстве справедливой гордости от созданного ими незаменимого памятника эпохе 1920—1940 гг.

Луи Аллен

ОТ АВТОРА

Предлагаемая книга не является кратким резюме семидесяти томов «Современных записок». Она не претендует и на то, чтобы исторически обозреть печатавшееся на протяжении двадцати лет в эмигрантском «толстом журнале». И тем не менее в какой-то мере она служит и той, и другой цели.

Семьдесят томов «Современных записок» говорят сами за себя, и, ознакомившись с ними, каждый может сделать для себя вывод об их ценности — исторической и объективной. Все последующее не оценка напечатанного в «Современных записках», а история создания журнала и его «малая история», рассказанная изнутри одним из основателей и редакторов,— единственным из пятерых оставшимся в живых.

Книга написана на основании воспоминаний автора, в течение первых пятнадцати лет существования журнала совмещавшего редакторские функции с обязанностями секретаря и казначея, и на основании материала, печатавшегося в «Современных записках» и о «Современных записках». Воспоминания часто подкрепляются выдержками из сохранившейся у автора переписки с сотрудниками и редакторами журнала. Переписка касалась и общих вопросов, и относившихся лично к корреспондентам.

В книге имеется ряд кратких силуэтов и характеристик. Выбор их случаен — часто подсказан лишь большей близостью сотрудника к автору книги. Личные воспоминания и мнения последнего подкрепляются нередко ссылками на «документы»-письма. Силуэты и характеристики не дают, конечно, полного представления о тех, кому они посвящены. Но они дают некоторый материал, набрасывают эскизы для будущего портретирования. Они служат и иллюстрацией к тому, кто сотрудничал в «Современных записках» и как складывались отношения между сотрудниками и членами редакции.

Сохранившиеся письма — свыше тысячи, примерно, полутораста авторов,— перейдут к университету Индиана в Блумингтоне с тем, что, когда откроется свободная Россия, их передадут в соответствующее книгохранилище в Москве. Будучи прежде всего воспоминаниями, предлагаемая книга должна послужить и неким гидом или Vade Mecum по архиву «Современных записок».

В заключение считаю долгом выразить свою искреннюю признательность профессорам М. С. Гинзбургу и М. М. Карповичу, оказавшим активное содействие изданию книги.

Апрель 1957

ГЛАВА I

Вместо введения: Юбилей «Современных записок»

20-го ноября 1932 года русская эмиграция в Париже — ученые, литераторы, общественные и политические деятели — праздновали выход 50-й книги «Современных записок». Празднество было устроено Обществом друзей «Современных записок», в которое входило больше 60 человек. По поводу «юбилея» были приветствия, устные (на банкете) и письменные, — от отдельных лиц и коллективов, организаций и учреждений. Приветствовали журнал 19 органов печати, выходивших во Франции, Германии, Польше, Чехословакии, Латвии, Болгарии, Харбине, Шанхае и других местах русского рассеяния. Приветствовали 59 учреждений — литературных, научных, общественно-политических, просветительных, религиозных, профессиональных, бытовых. Перечень органов и организаций, приславших приветствия или посвятивших в связи с юбилеем специальные статьи «Современным запискам», занимает больше полутора страниц убористой печати в подводившей итоги юбилею статье одного из редакторов журнала, В. В. Руднева, в № 51 «Современных записок». В этот перечень не вошли личные приветствия. Кого здесь только не было! Бунин, Мережковский, Шмелев, Куприн, Бор. Зайцев, Алданов, Ремизов, Осоргин, Сирин, Ходасевич, Ек. Брешковская, митрополит Евлогий, Жаботинский, Керенский, Милюков, Маклаков, Потресов, Бердяев, Кизеветтер, Ст. Иванович, Кускова, Степун, Е. Е. Лазарев — мы не перечислили всех даже наиболее известных.

Чем было вызвано празднество? Двумя обстоятельствами.

Потребностью проверить правильность политической линии, намеченной «Современными записками» при возникновении журнала, в конце 1920-го года, и в течение 12-ти лет неуклонно проводимой из книги в книгу. К 1932 г. в России закончилась первая пятилетка с насильственной коллективизацией, голодом и каннибализмом. Создалась напряженная обстановка, требовавшая сугубой политической осмотрительности и проверки взятого журналом курса.

Было и другое обстоятельство, которое редактора-издатели считали «по меньшей мере бесполезным скрывать», — материальные затруднения. И в нормальное время в России «толстые» журналы редко достигали самоокупаемости. В условиях же эмигрантского быта журнал, можно сказать, с самого начала был обречен на дефицитное существование. И на 13-м году финансовое положение «Современных записок» сделалось угрожающим. Приветствуя журнал и редакторов, Дон Аминадо писал в газете Милюкова «Последние новости»:

Книжка в шестьсот страниц,
С историей и географией,
С полной библиографией,
Со статьями о революции,
Со статьями об эволюции,
С пророчеством грозным,
С вопросом религиозным,
С особым мнением,
С романом и продолжением,
С черным на белом
Экономическим отделом,
С полемикой, схватками,
С нормальными опечатками.
Одним словом, хочешь — не хочешь,
А за раз не прочтешь.

И обращался к читателям:

Кстати ль, не кстати ль,
А подумал ли друг-читатель,
Который журнал рвет,—
На что сей журнал живет?!

Перед русским зарубежьем ставился вопрос: быть или не быть журналу, — настолько ли он дорог и ценен, чтобы прийти ему на помощь «миром», или дать ему, как прочим эмигрантским начинаниям, умереть естественной смертью от скудости средств?

И ответ на этот вопрос был дан: «Современные записки» просуществовали еще 8 лет — до самого наступления немцев на Париж, и комплект журнала возрос с 50-ти томов до 70.

Юбилей по-своему дал ответ и на первый вопрос о правильности взятого «Современными записками» курса. Этот ответ интересен и поучителен для познания прошлого и сравнения умонастроения русской политической эмиграции после первой мировой войны с умонастроением после второй.

Почти все, отозвавшиеся на юбилей, подчеркивали, что «Современным запискам» удалось преодолеть, казалось бы, непреодолимое — «эмигрантскую разрозненность». Может быть, ярче других выразил это поэт и литературовед В. Ф. Ходасевич, — как правило, критик суровый и взыска-

тельный. Он писал в газете «Возрождение»: «Следует радоваться, что разделяемые внутренними разногласиями, даже раздорами, идейными, политическими, а нередко и личными, мы все же можем порою сойтись за одним столом и признать со спокойной гордостью, что поверх всех разногласий мы прочно связаны одним культурным делом. Праздник „Современных записок“ есть истинный праздник всей культурной эмиграции». Ходасевич подсчитал, что за 12 лет в журнале было собрано и проредактировано до 25 тысяч страниц литературного материала, и в заслугу редакторам он ставил то, что они, «не будучи ни художниками, ни специалистами-литературоведами, в беллетристическом и поэтическом отделах журнала собрали всё или почти всё наиболее выдающееся, что было написано за эти годы за рубежом». Особо отмечал он «ту выдержку, ту терпимость, с какою, дирижируя огромным оркестром более нежели ста сотрудников, редакторы достигли того, что ничей голос не оказался заглушен и что, при всем разнообразии высказанных мнений, «Современные записки» являют некоторое внутреннее единство».

В. Ходасевичу вторил в «Последних новостях» поэт и литератор Г. В. Адамович, который находил, что «Современные записки» — «один из двух-трех лучших журналов, какие были в России» и что они «не только поддерживают прошлое и настоящее, но думают и о будущем». Писатель Бор. Зайцев утверждал даже более решительно: «Среди толстых русских журналов в прошлом или ныне я равного „Современным запискам“ не вижу». Ив. Шмелев заявлял: «Воистину, это подвиг во имя родной культуры, — победный подвиг руководителей, писателей, издателей». Проф. Бицилли из Софии: «„Современные записки“ были единственным убежищем от того культурного одиночества, которое составляет главное проклятие эмигрантского существования». Культурно-просветительное общество русского меньшинства в Ковно обращалось к редакции: «Родные „Современные записки“ для нас — луч света среди тьмы, утешение в печали скитания на чужбине». Друзья из Праги называли журнал «гордостью русской эмиграции». И т. д. и т. п.

Что «Современные записки» представляли огромную культурную ценность, признавали все, — лишь степень восхищения была различна. Разногласия начинались и множились при оценке общественно-политического значения журнала. Только меньшинству импонировали «Современные записки» как журнал внепартийный и общедемократический, созданный и руководимый группой политических единомышленников, оставшихся верными идеям народнического и демократического социализма, но считавших себя общественно обязанными предоставить страницы своего журнала и всем другим демократическим течениям. Для большинства от-

ношение к политической установке «Современных записок» определялось положением, которое то или иное лицо или орган печати занимали в общем политическом спектре русской эмиграции. Одни были недовольны чрезмерной широтой журнального фронта, другие — его излишней, по их мнению, узостью. Каждый «тянул одеяло на себя», в свою сторону, и, приветствуя журнал, задавал коварный вопрос его редакторам: «С кем же вы, наконец? С нами или с ними?». «Мы» и «они» распределялись в таких случаях по-разному.

П. Н. Милюков — 1932 г. — возражал против излишней терпимости вправо. А ближайшего сотрудника Петра Струве К. И. Зайцева — ныне архимандрит Константин — не удовлетворяло как раз обратное: излишняя терпимость влево и недостаточная терпимость вправо. Зато оба оппонента согласно ополчались против предоставления страниц журнала авторам, именовавшим себя «пореволюционными» и оформившим свои взгляды в евразийских изданиях или в «Новом граде» — Бунакова-Степуна-Федотова: Милюков считал «новоградцев» чрезмерно правыми, Зайцев — чрезмерно левыми. Этот последний шел и дальше. Он устанавливал некоторую «идейную круговую связь» между идейно близкими большевикам «пореволюционными течениями» и теми, кто в своей работе мысли связаны подчинением словам «революция» и «социализм». Таким образом, К. Зайцев свой остракизм распространял уже не на отдельных только сотрудников журнала, а и на руководителей его. «Современные записки» он одобрял, но те, кто создали журнал, казались Зайцеву как бы бельмом на глазу. Такова была, в сущности, и позиция П. Б. Струве.

Наговорив кучу комплиментов «Современным запискам», вобравшим в себя все лучшие журналы — «Вестник Европы», «Русскую мысль», «Отечественные записки», «Русское богатство» и даже «Русский вестник», Струве рекомендовал сделать дальнейшие выводы из положения, созданного «силой вещей в зарубежье» и «выполнить историческое призвание (!) „Современных записок“ в развитии русского толстого журнала». Призвание, по мнению Струве, состояло в том, чтобы совершенно исключить из журнала политические материи, предоставив их другим изданиям и, отказавшись от своего подзаголовка «общественно-политический», стать журналом только «русской культуры и литературы». Не без яда Струве к этому добавлял: «Ненормально то положение, при котором фактическая беспартийность „Современных записок“ обеспечивается либо просто личными добродетелями их редакторов, либо наличием в их собственной среде крупных разногласий».

При кажущейся благожелательности Струве его предложение превратить «Современные записки» в аполитический

альманах в корне противоречило назначению, которое ставили себе инициаторы «толстого журнала». При всей широте и терпимости «Современных записок» их демократизм всё же не был чужд «направленства», от которого так отталкивался Струве. Да и мог ли вообще быть в *эмиграции* «журнал русской культуры и литературы», то есть орган свободной и независимой мысли без того, чтобы он не отталкивался от царящей на родине деспотии? И возможно ли вообще подлинное литературно-культурное творчество в полном отрыве от политики? Можно было к минимуму свести внутриэмигрантскую полемику, можно было отказаться от резких, вызывающих или пристрастных суждений, но было бы извращением существа эмиграции, ее возникновения и смысла, если бы она, жертва определенных политических условий, признала, что творчество культуры и литературы не связано внутренне с политической обстановкой.

И так рассуждали не одни только редакторы «Современных записок». В. А. Маклаков в пору парижской эмиграции редко сходился во взглядах с П. Н. Милюковым. Но в этом пункте они были согласны. Маклаков приветствовал то, что «определенность политического направления не превратилась у „Современных записок" в партийность, а отсутствие партийности не было политическим безразличием». И Милюков считал, что «юбилей „Современных записок" — это праздник нашей свободы: здесь сосредоточилось всё то лучшее и ценное, что не уместилось в рамках советской диктатуры... Всем своим обликом журнал как бы говорил: мы — *часть России*, ее неотъемлемая часть, и, пока мы существуем, нельзя считать русский национальный организм бесповоротно и до конца искалеченным. У нас там, на родине, есть свое законное место, и отнять его у нас нельзя никакими мероприятиями власти».

Да и сам П. Б. Струве пятью годами раньше думал примерно так же. В «Русской мысли» 1927 г. — в единственном номере журнала, выпущенном в Париже, — заявлялось «От редакции»: «Нет и не может быть для нас враждебного разделения и расхождения между культурой и политикой. Ибо бессильна, не осолена политика «бескультурная», и столь же бессильна и пресна, лишенная государственных мыслей и устремлений, «аполитичная» культура. Первая безвкусна, вторая же не живет, а влачит свои дни... культура и политика едино суть».

Если даже откинуть присущие всем юбилеям лирические излияния и преувеличенные восхваления, можно признать, что отклики на юбилей в общем подтвердили мнение редакции «Современных записок», что судьба — или история — возложила на журнал *долг* поддержать «преемственность русского культурного и общественного развития в духе сво-

боды». Самое количество откликнувшегося на празднество писательского и читательского «люда» свидетельствовало о том, что у «Современных записок» имелась не только сочувственная атмосфера и аудитория, но и некая общественная база. И до второй мировой войны это был факт немаловажный и необычный. А. Ф. Керенский в «Днях» правильно напомнил: «Теперь журнал приветствуют и те общественные круги, которые 12 лет тому назад резко отрицательно относились к демократической программе журнала».

Общественная «база» журнала была широкой, но не безграничной. Журнал предоставлял место всем демократическим течениям, безотносительно к их идеологическим предпосылкам и невзирая на частные расхождения и несогласие. Это исключало возможность появления в «Современных записках» авторов, враждебных демократии. Границы были установлены, может быть, и произвольно, но они существовали. И фактически в более привилегированном положении оказывались «правые». Происходило это потому, что «левые» в вопросах неполитических уступали противникам и качественно, и количественно. В вопросах же политических большинство «левых» слишком медленно изживало былые иллюзии и советские соблазны. Иллюстрацией может служить отклик на юбилей «Современных записок» одного из редакторов «Социалистического вестника» (1932-го года!) — Д. Ю. Далина.

Положительно расценивая художественный и исторический отделы «Современных записок», критик счел себя обязанным «внести диссонанс в редкий праздник левой эмиграции». Далин обнаружил в «Современных записках» слишком большую терпимость к «правым» течениям, что́ выразилось, в частности, в чрезмерном интересе к вопросам религии, в излишнем внимании к Достоевскому (!) и др. «Тревожный юбилей. Печальный юбилей», — заключал Далин свою статью. «Диссонанс» был внесен и другой стороной. Если Далин обличал и осуждал «Современные записки», то Д. В. Философов казнил их презрением. По какому поводу поднялся в эмиграции «шум и треск», спрашивал он в своей варшавской газете «Молва»: «Не то журнал существует пятьдесят лет, не то вышла пятидесятая книжка...» Внутренний смысл этих слов заключался в том, что «Современные записки» — только видимость «дела», настоящее же дело делает он, Философов, в своей «Молве».

«Современные записки» имели, конечно, много дефектов. Некоторые были случайны, и при большей предусмотрительности их можно было бы избежать. Но ряд недостатков были как бы органически присущи журналу и неизбывны. Полностью «Современные записки» не могли по разным основаниям удовлетворить ни читателей, ни писателей, ни редак-

цию, ни каждого из редакторов в отдельности. Единоличный редактор повел бы журнал, вероятно, не так, как повела его коллегия, в которой приходилось согласовывать, если не свои мнения, — в конце концов, каждый мог остаться при своем, — то решения и действия. «Средние» решения бывали неизбежны, и они были не только менее ярки, но не давали полного удовлетворения и тому, чье мнение получало частичное признание в достигнутом компромиссе.

За два десятилетия существования «Современных записок» изменилось «лицо мира», пошатнулись политические системы и экономические устои таких твердынь, как британская империя или английский банк с его фунтом стерлингов. Не оставались неподвижны и «Современные записки». Одних сотрудников выбивала из строя преждевременная смерть, другие сами выбывали из рядов демократии, «переориентировавшись» на большевизм или фашизм или перекочевав к евразийцам или младороссам. Чем шире становился контингент сотрудников, тем более разнообразные оттенки мнений умещались на страницах журнала. «Современные записки» стремились не только охранять культуру, но и творить. Отсюда и появление в журнале начинающих авторов, более молодых и менее известных. Свои сдвиги произошли и в редакционной коллегии. Смотревшие одинаково на вещи при возникновении журнала с течением времени и с ходом событий стали смотреть по-разному и чаще — и резче — расходиться во взглядах и оценках.

Когда праздновали выход 50-й книги «Современных записок», газета Милюкова писала, что страницы журнала «стали страницами русской эмиграции, ее живой историей». И на самом деле, кто хочет знать историю России, политическую и идейную, не может пройти мимо того, чем жила и о чем думала российская эмиграция 1920—1940 годов. И здесь свое слово могут сказать семьдесят томов «Современных записок». Высокая оценка журнала пережила его физическое существование. Когда в 1942 году уже не в Париже, а в Нью-Йорке возник новый толстый журнал — «Новый журнал», — он обещал следовать «традиции» «Современных записок» и «Русских записок». И по сей день, 17 лет после прекращения «Современных записок», люди разных поколений, взглядов и положений, от бывшего сотрудника «Современных записок» М. А. Алданова и до нового эмигранта, невозвращенца и литературоведа М. М. Корякова, говорят о «Современных записках» в юбилейных тонах и выражениях.

Если считать, что «Современные записки» это история русской после- и антибольшевистской эмиграции и, вместе с тем, одно из самых значительных ее достижений, — рассказ о том, как возникли «Современные записки» в конце 1920 г. и что делали до марта 1940 г., более чем оправдан. В своей

«юбилейной» статье В. В. Руднев справедливо отметил, что те, кто создали журнал, с самого начала считали, что «Современные записки» не их групповое только дело, а в какой-то мере дело и достояние общеэмигрантское: «Это достояние лишь доверено нам, и мы обязаны отчетом в будущем перед Россией, а в настоящем — перед русским зарубежьем за сделанное нами из него употребление».

Так случилось, что из первоначально пятичленной редакции остался в живых один я. Раньше других ушел Александр Исаевич Гуковский, положив конец трудам и дням своим выстрелом из револьвера в Париже 17 января 1925 г. От жестокого недуга скончался в По, накануне отъезда в Америку, Вадим Викторович Руднев — 19 ноября 1940 г. Через 22 месяца — 19 сентября 1942 г., погиб мученической смертью от нацистских палачей в Аушвице Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков. И 4 марта 1943 г. умер в Нью-Йорке от болезни, схожей с болезнью Руднева, Николай Дмитриевич Авксентьев.

На мне, таким образом, оказался общественный долг дать отчет — всё еще не России, а русскому зарубежью, — о том, как создались и сложились «Современные записки», плод многих и долгих усилий, волнений, страстей и размышлений. В таком отчете я вижу и личный свой долг по отношению к покойным соредакторам, товарищам и друзьям, с которыми я был связан в течение десятков лет на родине и на чужбине не только политически. Наличность морально-политического содружества немало способствовала успешному преодолению препятствий, возникавших на нашем пути, особенно в первые, наиболее трудные для «Современных записок» годы.

Будет нелишним — а, может быть, даже необходимо — рассказу о том, как журнал создавался, проектировался, редактировался, издавался, распространялся, предпослать хотя бы краткое описание общей политической обстановки, предшествовавшей изданию «Современных записок», а затем — рассказать о соредакторах, какими я их знал *до* издания «Современных записок».

ГЛАВА II

Предыстория.— Последствия разгона Учредительного собрания и заключения сепаратного мира.— Усиление антибольшевистского лагеря.— Рост патриотизма и ответственности у эсеров.— В поисках территории для возобновления работы Учредительного собрания.— «На волжский фронт!».

Все мы были избраны во Всероссийское Учредительное собрание: Авксентьев от пензенского избирательного округа, Бунаков-Фондаминский от черноморского флота, Вишняк — от ярославского округа, Гуковский от новгородского, Руднев от алтайского[1]. Отсюда и судьба наша до того, как мы очутились в Париже и приступили к изданию «Современных записок», была схожей, но, конечно, не одинаковой. Каждому пришлось пройти через испытания, но у одних — у Авксентьева и Гуковского — они были более драматичны, чем у других.

После циничного разгона Учредительного собрания Ленину было не к чему больше скрывать то, что он раньше всячески оспаривал и маскировал. На протяжении всего периода Февральской революции Ленин пугал гражданской войной, обвиняя противников в том, что они ее готовят. Теперь он распоясался, сбросил маску и стал похваляться своей предусмотрительностью. «Гражданская война стала фактом. То, что нами предсказывалось, в начале революции и даже в начале войны, и к чему тогда в значительной части социалистических кругов относились с недоверием или даже с насмешкой, именно превращение империалистической войны в войну гражданскую, 25 октября 1917 г. стало фактом», — докладывал Ленин 7-му съезду своей партии 7 марта 1918 г. (Сочинения. Т. 27. С. 66).

Вопреки ожиданиям, кровь членов Учредительного собрания не пролилась в Таврическом дворце в ночь на 6 января 1918 г. Она пролилась на сутки позже в Мариинской больнице. Полупьяные и разнузданные матросы и красногвардейцы Басов, Оскар Крейс, Матвеев, Куликов, Асмус, Розин, Артамонов и др. ворвались в палаты № 24 и 27, занятые А. И. Шингаревым и Ф. Ф. Кокошкиным, и зверски расправились с «министрами-капиталистами», находившимися под стражей, больными и безвредными даже с точки зрения своих врагов.

---

[1] В. В. Руднев был избран и от Москвы — единственный по эсеровскому избирательному списку. Но, чтобы освободить место следовавшему за ним в списке О. С. Минору, председателю московской городской Думы, московский городской голова Руднев принял избрание по алтайскому округу.

...В зубах — цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз —

. . . .

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца,
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица.

Вместе с общегражданской скорбью я ощущал смерть Кокошкина как личную утрату. Многим ему обязанный, я высоко ценил его как ученого и как образец политического и общественного деятеля. Он не искал популярности и не делал карьеры. Сторонник мирных и бескровных путей развития России, Кокошкин всей своей жизнью — и смертью — доказал преданность убеждениям и готовность за них нести жертвы. Кокошкин и Шингарев явились искупительными жертвами свистопляски и массового безумия, бушевавших днем раньше в Таврическом дворце. Я чувствовал себя без вины виноватым в том, что пролилась кровь Федора Федоровича, а не наша, не моя.

Разгон Учредительного собрания имел свою положительную сторону: он закрепил «расстановку» общественных сил и тем самым прояснил общую политическую обстановку. И прекраснодушествовавшие уже не могли больше отрицать, что гражданская война налицо и начали ее, а потом стали прославлять, большевики. Николай Бухарин, официальный оратор правящей клики в Учредительном собрании, открыто заявил, что вопрос о власти большевиков, которую они предпочитали называть властью революционного пролетариата, «есть коренной вопрос текущей действительности, который будет решен гражданской войной».

Так это и было понято. Так оно и случилось. За исключением немногочисленного сектора неисправимо благодушных доктринеров — социал-демократов группы Ю. О. Мартова, былых «без-заглавцев» (Е. Д. Кускова) и неизживших в себе принципиального отталкивания от государства и власти (М. А. Осоргин), — все, без энтузиазма, но с сознанием необходимости, приняли навязанную им гражданскую войну. Узурпация власти и насилие над народной волей были неоспоримы. И сопротивление им не нуждалось в дальнейшем морально-политическом оправдании. Оно превращалось в самоочевидный для всякого демократа гражданский долг. И тот факт, что сопротивление большевикам на Дону и на Кубани вдохновлялось иными началами, не менял положения.

Разгон Учредительного собрания имел и другую положительную сторону: он послужил частично к сплочению эсеровских рядов. Отпали разногласия относительно того, чем был Октябрь, — авантюрой или началом гражданской войны.

Большевики, спекулировавшие на преданности воле народа и настаивавшие на немедленном созыве Учредительного собрания, показали себя на деле. И эсеры — все эсеры, кроме так называемых левых, — стали одинаково расценивать большевизм как контрреволюцию, которая отвергла то, что лежало в основании Февральской революции, и на место народной воли поставила свою, партийную, объективно враждебную стране и народу.

Фракция ждала прямого нападения со стороны большевиков и обдумывала, где и как, вопреки решению власти, могло бы собраться Учредительное собрание или его «осколки» для возглавления антибольшевистской борьбы. Казалось неоспоримым: поднявшие гражданскую междоусобицу от нее и погибнут!

Но прежде всего необходимо было осведомить избирателей и население о том, что произошло. Было устроено своего рода соревнование на составление соответствующего воззвания. По единодушному признанию участников соревнования, наиболее удачным было признано «Письмо в деревню», написанное И. Н. Коварским. В «Письме» было обрисовано положение и предлагалось готовиться к длительной и упорной борьбе за народные права и власть, за землю и волю и независимость России. Подписанное председателем и секретарем Учредительного собрания В. М. Черновым и М. В. Вишняком, воззвание это было размножено типографским способом и разослано во все концы страны.

Одновременно был подготовлен мною к печати Стенографический отчет заседания Учредительного собрания, и я приступил к выпуску газеты-однодневки «Учредительное собрание», которая должна была заключать статьи различных представителей антибольшевистской демократии и появиться в один и тот же день в Петрограде и Москве. Это оказалось гораздо сложнее осуществить, чем я предполагал.

Добыть статьи от Чернова, Пешехонова, Мартова, Потресова, Гоца и других было, конечно, нетрудно. Трудно было убедить Церетели дать статью. Он упирался и отнекивался:

— Я не писатель... И застенографированную свою речь я не могу дать в печать... Не представляю себе, чтобы написанное не могло быть исправлено и улучшено. Живая речь это другое дело: вылетело слово — не поймаешь!..

Все же и Церетели дал статью. Однако, главная трудность была впереди. Все строже с каждым днем становился контроль за типографиями со стороны большевиков и им сочувствовавших рабочих. Наборщики цензуровали материал и отказывались набирать и печатать то, что им не нравилось. Иногда они осведомляли начальство о подозрительном по контрреволюционности. Свою газету-однодневку я снес в типографию «Речи». В конторе осведомились о моем имени.

Я назвался первым пришедшим мне в голову — Тумановым. Заказ приняли и обещали через несколько дней напечатать нужное мне количество экземпляров и выдать матрицу для ее отправки в Москву — во избежание лишних хлопот по вторичному набору того же.

Отпечатанные для Петрограда экземпляры «Учредительного собрания» я получил, но в выдаче матрицы отказали.

— Вот она, — кивнул заведующий конторой в сторону шкафа, поверх которого лежала свернутая в трубку нужная мне матрица. Но я не вправе ее выдать — рабочие запретили.

Уговоры не привели ни к чему. Заведующий остерегался ослушаться, и я ушел не солоно хлебавши, огорченный и удрученный. Я медленно спускался по лестнице, когда вдруг осенила мысль: вернуться в контору и «свистнуть» матрицу — унести ее без разрешения. Мне посчастливилось: заведующий был в соседней комнате. Взобраться на приставленный к шкафу стул, приподняться на цыпочки и взять матрицу — было делом секунд. Было слышно, как колотится сердце, но я был в полном восторге. «Украденная» матрица была в моих руках, и через несколько дней «Учредительное собрание» вышло одновременно в Петрограде и Москве.

Работу против большевиков приходилось вести с крайней осторожностью. Они были настороже, хотя еще и не рисковали идти напролом и воздерживались от массовых арестов. Публичные выступления пресекались. Выступавших иногда арестовывали, но вскоре освобождали. Активно настроенных в пользу Учредительного собрания воинских частей не было. Приходилось кропотливо отбирать отдельных военнослужащих, убежденных и готовых идти на риск и жертвы, и сколачивать из них группы. Работа наталкивалась на провокацию и отравленную атмосферу разнузданного гарнизона, в котором угнездились шкурники и дезертиры. Повсюду можно было наткнуться на большевиков и их сподручных.

Петроград принес большевикам победу в октябре. Петроград и позднее продолжал быть средоточием сил и контроля победителей. Петроград меньше всего был пригоден служить местом накопления и развертывания антибольшевистских сил. Потому междуфракционный Совет, образовавшийся из представителей различных фракций Учредительного собрания — с. р., с. д., н. с., к. д., мусульман, евреев — без колебаний отверг отдававшее авантюрой предложение открыть заседание Собрания в Петрограде на Семяниковском заводе «под охраной рабочих». Посланы были эмиссары-разведчики на Украину, в Киев и Екатеринослав, в Сибирь и на Кавказ для выяснения тамошней обстановки — нельзя ли там возобновить заседания Учредительного собрания для продолжения борьбы против узурпаторов.

Большие надежды возлагались на Украину в предположении, что украинская демократия приютит у себя Всероссийское Учредительное собрание для совместной борьбы против Кремля. Оказалось, что украинское правительство успело радикально изменить свою внешнеполитическую ориентацию и стало связывать свою судьбу уже не с Россией и ее демократией, а с Германией Вильгельма II. Делегация украинской Рады отправилась вместе с большевиками в Брест-Литовск для заключения сепаратного мира с немцами.

Донского атамана Каледина, может быть, и можно было бы склонить к тому, чтобы он допустил открытие заседаний Учредительного собрания на территории Дона. Но это было слишком рискованно: царские генералы не скрывали своего отношения к тем, кто возглавляли Учредительное собрание.

Подоспевший к этому времени сепаратный мир в Брест-Литовске облегчил пропаганду против большевистской власти и увеличил число ее противников. И в эсеровских широких кругах патриотический мотив стал звучать отчетливее и тверже. Стала доминировать идея общенационального служения и ответственности за судьбы государства. Обозначился и более реалистический подход к разрешению политических задач. Временное правительство держалось исключительно на моральном доверии и вынуждено было им одним довольствоваться. Советская власть опиралась главным образом на физическую силу и насилие. Подлинная власть представлялась как сочетание морального авторитета с принудительным подчинением воле большинства.

Это национально-государственное умонастроение получило свое оформление на очередном, 8-м, Совете партии с. р., собравшемся в полулегальных условиях в мае 1918 года в Москве. Вслед за эвакуацией советского правительства переместились в Москву и все антибольшевистские центры и штабы, политические и военные. Здесь же стали зарождаться и новые политические организации: Союз Возрождения России с ориентацией на союзников во внешней политике и на Учредительное собрание и коллективную директорию — во внутренней; так называемый Правый центр — с ориентацией на Германию и единоличную военную диктатуру; и вскоре выделившийся из Правого центра Национальный центр, с ориентацией на союзников и трехчленную директорию и решительным отрицанием какой-либо власти за распущенным Учредительным собранием.

По примеру прошлого Совет партии собрался в одной из аудиторий университета Шанявского. Не успели, однако, открыть заседание, как пришла весть, что чекисты окружают здание. Пришлось отсрочить работу и перекочевать в менее удобное, но более укромное помещение. Гоца и меня, которым грозили серьезные последствия в случае поимки, поспе-

шили вывести из зала. По длинным коридорам бродили мы из аудитории в аудиторию, пока не очутились в какой-то лаборатории. Здесь нам велено было укрыться за шкафом. Мы простояли недолго. Гоцу показалось не то неуместным пребывание за шкафом, не то он услышал чьи-то шаги, но, крикнув «прыгаем в окно», он тут же вскочил на подоконник и исчез за окном. Не рассуждая, последовал за ним и я. Прыгать пришлось со второго этажа. Я ушиб ногу, но все сошло благополучно.

В принятой резолюции Совет партии, как и Бюро фракции Учредительного собрания и Ц. К. партии, подчеркивали, что «основной задачей всей русской демократии является борьба за восстановление независимости России и возрождение ее национально-государственного единства на основе разрешения социально-политических задач, выдвинутых Февральской революцией». Партия еще продолжала пользоваться термином «революционная демократия», но логическое и политическое ударение она ставила уже на «демократию», на необходимость «крайнего напряжения сил всего народа, подъема национального самосознания и концентрации народных сил вокруг задачи спасения родины и революции». Так значилось в «Тезисах», одобренных Бюро фракции членов У. с. совместо с Ц. К. партии.

Чем прочнее была первоначальная вера в Учредительное собрание и уверенность, что большевики «сломают себе шею» на Учредительном собрании, чем безраздельнее владели антибольшевистским лагерем надежды и ожидания, что от гласа У. с. падет захватническая власть, — тем острее ощущалось разочарование, когда «чуда» не произошло. Ожесточеннее становились и нападки на неоправдавшее иллюзий Учредительное собрание и его «главарей» — эсеров. Разочарование стало распространяться вглубь и вширь, переходя в возмущение и ненависть, а в конечном счете — в цинизм и нигилизм.

История сохранила потрясающий факт, как на фоне общего раздражения и растерянности видные представители правых течений публично отдавали предпочтение разогнавшим «Учредилку» перед теми, кого разогнали. Немногое спросится с бывшего толстовца, позднее монархиста, потом эксмонархиста и нераскаявшегося антисемита, Ив. Наживина, когда он утверждал «огромную, неоспоримую заслугу большевиков перед родиной» за разгон Учредительного собрания («Что же нам делать?». 1919). Но вот адмирал Колчак, «Верховный Правитель», и он на допросе заявил: «Разгон Учредительного собрания является их (большевиков) заслугой, — это надо поставить им в плюс» (Архив русской революции. Т. X. С. 250). И Наживин с Колчаком были не единственные, кто так думали.

С подобными настроениями приходилось вести борьбу одновременно с борьбой против главного врага — большевиков. С этой целью Бюро фракции с. р. решило приступить к изданию сборников — «Народовластие». Редактировать их — всего выпущено было в апреле—мае 1918 г. три сборника — поручено было А. А. Аргунову, М. В. Вишняку и Д. С. Розенблюму. На меня выпала обязанность развить взгляды нашего Бюро относительно Учредительного собрания, — что я и сделал в статьях «Судьбы Учредительного собрания» и «Задачи Учредительного собрания». Отбиваться при этом приходилось не только от крайних флангов, от большевиков и реакционеров-реставраторов, но и от исконных либералов.

Еженедельник «Накануне» с участием Бердяева, Брюсова, Белоруссова, Кизеветтера, Ключникова, Струве соперничал с торгово-промышленным «Утро» в изобличении «неисправимых фантазеров, ничего не забывших и ничему не научившихся», неспособных «расстаться со старыми фетишами, как дикарь со старым амулетом». Даже демократически интеллигентские «Русские ведомости» не отставали от общего хора и похода против Учредительного собрания, возглавленного эсерами. Избранный в Учредительное собрание мой бывший учитель проф. Новгородцев стал доказывать, что, хотя Учредительное собрание идея «великая и привлекательная», «возможность ее осуществления» «при наличных условиях» исключена: Учредительное собрание «не только эфемерно, но и мертворожденно». Проф. Кизеветтер высказывал убеждение, что идея Учредительного собрания «в гораздо большей мере кадетская, нежели социалистическая». Тем не менее избранное Учредительное собрание представлялось ему «ненужным». Недавно славивший и революцию, и Учредительное собрание проф. Устинов стал наукообразно утверждать, что вообще «народ осуществляет свою учредительную власть лишь медленной многолетней работой, а отнюдь не в едином Учредительном собрании», и — «только неисправимые партийные филистеры могут еще не сознавать, что в России нет и не было почвы для подлинного Учредительного собрания». Не прошло и двух лет, и тот же профессор стал восхвалять «организаторский гений тов. Ленина» и «спасительность» для предвидимого будущего «только советской власти».

Даже такой радикальный публицист, как А. В. Пешехонов, отдал дань господствовавшим настроениям. Стилизуя и преувеличивая действительные и мнимые дефекты Учредительного собрания, автор рисковал писать (в «Русском богатстве» № 1—3 за 1918 г.) о партии с. р., к которой сам принадлежал до 1906 г., что, если она стоит за Учредительное собрание, то только потому, что располагает в нем проч-

ным, *своим* большинством. Он, впрочем, прибавлял к этому: «Но ведь лучшего у нас нет и в ближайшее время быть не может. Нужно этим, как ни как представительным и всероссийским собранием, воспользоваться. . . но не для переустройства России по мысли и воле народной, для чего оно не годится, а для санкции государственной власти». Такая санкция «поможет упрочению этой власти и сделает для нее обязательным новое обращение к первоисточникам народной воли».

Этот вывод, в конце концов, был не так далек от того, как защищали «свое» Учредительное собрание и эсеры. Седьмой из упомянутых выше «Тезисов» гласил: «По возобновлении своих занятий У. с. должно сосредоточить свое внимание на деле защиты страны и восстановления ее политической и экономической независимости, согласно с этой основной задачей, и установлении государственной власти и разрушении тех задач социально-политического строительства, которые, по обстоятельствам срочности, требуют немедленного осуществления. Вместе с тем Учредительное собрание должно приложить все усилия к тому, чтобы в кратчайший срок был создан новый орган народного представительства, дабы народы России могли возможно скорее вновь выразить свою волю» [1].

В мае 1918 года Бюро фракции получило средства для издания ежедневной газеты, и выпуск сборников «Народовластие» был прекращен. Стала выходить в Москве газета «Возрождение» под редакцией Бунакова, Вишняка, Коварского и Питирима Сорокина. Когда Совнарком распорядился закрыть ее, вместо «Возрождения» стал выходить «Сын Отечества» под той же редакцией. Обе эти газеты были совсем уже не тем, чем был московский «Труд», который я оставил 14 месяцев раньше. Теперь были средства, и техника была поставлена образцово. Она находилась в руках Савелия Семеновича Раецкого, в прошлом редактора «Известий Военно-промышленного комитета» и заведующего Телеграфным Агентством при Временном правительстве. Очень энергичный и влюбленный в свое дело, он был фанатиком газетного ремесла. Чтобы достичь лучшего результата, Раецкий готов был пойти на многое. Не остановился он и перед самоуправством.

---

[1] Сейчас же после большевистского переворота, еще до выборов в Учредительное собрание, я выразил тот же взгляд в статье, помещенной в «Деле народа» 7 ноября 1917 года: «И, быть может, ближайшему несовершенному Учредительному собранию придется напречь всю силу своей воли и разумения прежде всего на создании сильной революционной власти, которая сумела бы довести страну до настоящего Учредительного собрания».

Случилось это при выпуске первого же номера «Возрождения». Номер был составлен и частично уже сверстан, когда, просматривая первый лист, выпускавший газету, Раецкий нашел номер бледным и серым — несоответствующим тому, чем орган членов Учредительного собрания, по его мнению, должен был бы быть. Предстоящий выход новой газеты был широко анонсирован, его ждали, но в указанный день «Возрождения» в газетных киосках не оказалось. Перед взволнованными редакторами и сотрудниками Раецкий чистосердечно признал, что он собственной, не принадлежавшей ему, властью задержал печатание и появление газеты в назначенный день.

Не все редакторы одинаково благодушно отнеслись к самовольному поступку заведующего техникой. Но повинную голову и меч не сечет. Газета начала выходить днем позже и, во всяком случае технически, была на большой высоте. И по содержанию газеты мы старались выдержать «высокий» стиль и придать ей надпартийное направление. Мы привлекли к сотрудничеству авторов с крупными именами. Шестов и Степун стали постоянными сотрудниками газеты, отзывавшейся не только на политические и экономические вопросы, но и на проблемы общей культуры.

Из 39-летнего далека может показаться непостижимым, как и почему большевики терпели рядом с собой явную «контрреволюцию». Их благородство было отчасти вынужденным. Забот у них был полон рот. И разогнав Учредительное собрание, они продолжали быть неуверенными в своем существовании. Распри и раздоры, возникшие среди большевиков в связи с подписанием «гнуснейшего», по выражению самого Ленина, брест-литовского мира с немцами, достигли таких форм, что на время отвлекли их от более острой борьбы с «социал-предателями». Борясь против Бухарина в своем Ц. К. и с левыми эсерами в Совнаркоме и ЦИКе Советов, Ленин тех месяцев еще не окончательно выбросил за борт начала личной свободы, свободы слова и печати. Он все еще кокетничал с принципами демократии — доказывал, что большевики пришли к власти не для того, чтобы надругаться и нарушить начала демократии, а чтобы их осуществить, закрепить, расширить и углубить. Этим можно объяснить, почему большевики до времени терпели эсеровскую печать, несмотря на ее боевой характер и широкую популярность. Но и такой терпимости скоро пришел конец.

После воспрещения «Возрождения» пришел день, когда власть решила прекратить всякое высказывание с нашей

стороны. И в «Сын Отечества» пришла бумага из соответствующего учреждения за подписью Валерия Брюсова — да, писателя и поэта Брюсова, — об окончательном закрытии нашего органа.

Подпись цензора поразила воображение сильнее самого запрета. Брюсов не первый в истории русской литературы совместил профессию писателя с ролью цензора. Но его предшественники на этом поприще и не претендовали быть строителями нового мира и творцами «нового человека». Наоборот, они считали себя охранителями прошлого и — старого. Декадент и мистик, идеолог искусства для искусства, Брюсов одним из первых перебежал в лагерь победителей и предоставил свое перо большевикам. И он быстро занял высокое положение при советском дворе. Когда умер Ленин, скончавшийся в том же 1924 году, Брюсов успел сочинить для реквиема Моцарта «кантату»:

Горе! Горе! Умер Ленин.
Вот лежит он скорбно тленен.
Вспоминайте горе снова. И т. д.

Большевики, естественно, простили Брюсову все прошлое: и происхождение «из зажиточной купеческой семьи», и былой «шовинизм» и «милитаризм», и даже его предсказание, что «грядущие гунны» несут с собой уничтожение всей современной культуры. В 1904—1905 гг., когда Брюсов писал свое стихотворение, ему, конечно, и в голову не могло прийти, что через 13 лет он сам окажется одним из таких «гуннов».

...О варвар! Кто из нас, владелец русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры? (Пушкин, 1822 г.).

Идейной подготовке к борьбе против большевиков был положен конец. Наступили сроки для перехода к другим формам борьбы.

Поиски подходящей территории для возобновления занятий Учредительного собрания продолжались, когда на Совете партии представитель саратовской организации с. р. А. И. Альтовский, один из 12 будущих эсеровских «смертников», сообщил, что поволжские крестьяне поднимаются против большевиков. Подробности привезли из Вольска поручик В. В. Соколов, член военной организации партии, и из Самары член Учредительного собрания Борис Фортунатов, — позднее убитый большевиками. В Саратове советскую власть свергли уральские казаки атамана Дутова. В ижевско-воткинском районе восстали местные рабочие. Эсеровский областной комитет Поволжья заключил соглашение

с уральским казачьим войском о замене в Поволжье и Приуралье советской власти властью Учредительного собрания[1].

Независимо от событий на Волге, но одновременно с ними, возникли нелады между большевистскими воинскими частями и чешскими легионерами, очутившимися в русском плену во время войны и теперь кружным путем, через Сибирь и Дальний Восток, пробивавшимися к себе на родину. Сидевший в Москве германский посол граф Мирбах настоял на том, чтобы советская власть остановила продвижение чехов — воспрепятствовала бы возможности пополнения легионерами антигерманских сил. Вооруженное столкновение между большевиками и чехами возникло в районе Челябинска-Пензы, по соседству с русскими очагами восстания против большевиков.

На Совете партии с. р. решено было отправиться в Поволжье, принять активное участие в разгорающейся гражданской войне против большевистской власти. Бюро эсеровской фракции У. с. предложило своим сочленам и другим членам Учредительного собрания в спешном порядке отправиться на ту сторону неустойчивого фронта, образовавшегося по линии Казани, Самары, Саратова. Появился большой спрос на географические карты. Стали разрабатывать планы перехода «границы».

Каждый действовал на свой риск и по собственному усмотрению. Уезжали чаще всего по двое, — чтобы увеличить шансы на то, что не затеряется окончательно след в случае поимки и гибели. Случались трагические неудачи. Борис Флекель, энергичный и неизменный секретарь петроградской организации с. р., был расстрелян при попытке перейти линию фронта. Той же участи подвергся позднее М. Л. Коган-Бернштейн при попытке перейти фронт в обратном направлении: несогласный с одобренной Ц. К. тактикой вооруженной борьбы с большевиками, член Ц. К. Коган-Бернштейн решил

---

[1] Соглашение исходило из того, что «насильническая и противонародная» власть Совета Народных Комиссаров «практически является союзницей Германии и отдала Россию в полное политическое и экономическое рабство немцам». В двенадцати последующих пунктах указывалось, что целью Соглашения было «уничтожение Советской власти и восстановление Учредительного собрания, а равно всех демократических организаций местного самоуправления», «возобновление вооруженной борьбы за независимость России, восстановление общего фронта с нашими союзниками».

В будущем руководство на той или иной территории, освобожденной от советской власти, должно было быть построено на паритетных началах между уральским казачеством и местной организацией партии с. р. «Обе стороны обязываются не прекращать военных действий до полной ликвидации Советской власти в России и восстановления действий Учредительного собрания... С момента восстановления Учредительного собрания обе стороны обязуются в своих военных действиях всецело подчиняться директивам Учредительного собрания».

вернуться на советскую сторону, но был схвачен большевиками и расстрелян. Чудом уцелел Зензинов, попавший в Казани в руки самого Лациса — главы местного ЧК по борьбе с контрреволюцией.

Разъехались и мы, не со всеми даже простившись, не зная, кто каким путем будет пробираться, и меньше всего, конечно, предвидя, что встретимся лишь через 9—10 месяцев и уже не в России, а в Париже, где «одной масти, но разных кистей», как писал в «юбилейные» дни Дон-Аминадо, станем сообща издавать «толстый журнал».

Здесь приходится вернуться хронологически несколько назад, чтобы сказать о том, что я знал о каждом из своих соредакторов до издания «Современных записок». Это не будет попыткой дать биографические очерки или характеристики «пятерых дерзнувших», как назвал нас И. П. Демидов в те же «юбилейные» дни. Это будет лишь сводкой неполных и случайных сведений о товарищах-друзьях и впечатлений от общения с ними за годы, иногда десятилетия, предшествовавшие изданию журнала. Не всех своих соредакторов знал я одинаково хорошо: одного знал всю жизнь, других меньше во времени и по существу.

Если при этом о себе я буду говорить подробнее, чем о других, причиной тому не только лучшее знакомство с «предметом», но и то, что книга эта — воспоминания и лишь в небольшой мере документированная история.

ГЛАВА III

Дерзнувшие до того, как они «дерзнули»: И. И. Фондаминский-Бунаков, В. В. Руднев, Н. Д. Авксентьев, А. И. Гуковский, М. В. Вишняк.

И. И. Фондаминский

Илюша, Илья, Илья Исидорович Фондаминский был моим долголетним и многие годы самым близким и дорогим для меня другом. И если дружба эта к концу нашей жизни несколько остыла, причиной тому, мне кажется, был не я — или, может быть, не только я.

Илюшку я знал с 9-летнего своего и 11-летнего его возраста. Увидел я его впервые в неуютной и переполненной «молельне» на Глебовском подворье в московском Зарядье. В ней вынуждены были совместно молиться евреи обоих не-

согласных между собой толков: хасидим («правоверные», экзальтированные мистики) и миснагдим («оппозиционеры»). В общий молитвенный дом загнали тех и других ограничительные меры генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и его ретивого обер-полицмейстера Власовского. По субботам и праздникам отцы приводили с собой и своих ребят.

Я сразу обратил внимание на черноглазого, чистенького, складного и привлекательного Илюшу. Он поразил мое детское воображение, и с годами впечатление не исчезло и не умалилось, а, наоборот, окрепло и усилилось. Я знал Фондаминского в течение полувека. В первой половине этого срока наши встречи и общение не раз прерывались на годы, но я никогда не терял из виду ни его, ни, потом, его жены Амалии, — всегда знал, где и как они жили, чем интересовались и занимались. С 1917 года по день нашей разлуки в конце мая 1940 года мы находились в постоянном, часто каждодневном общении друг с другом. Наши пути иногда перекрещивались — мы расходились, вновь сходились и опять разошлись — в самом конце нашей жизни в Париже.

Началось с соревнования, — оба хотели попасть в гимназические классы Лазаревского Института Восточных Языков. И обоим это не удалось, хотя оба на экзамене получили хорошие отметки, — Илюша лучшие, чем я. Он держал экзамен во второй класс, я в первый, а для ребят иудейского исповедания была всего одна вакансия. Нас обоих «обошел» и занял первое место некий Румер, державший экзамены в приготовительный класс. Мы попали в разные учебные заведения: Илюша в частную гимназию Креймана, я — в казенную 1-ю. В течение гимназических лет мы редко встречались зимой. Зато летом семья Фондаминских, как и наша, выезжала на дачу в Сокольники, и тут мы встречались часто: играли вместе в крокет или «горелки», бегали на «гигантских шагах», участвовали в пикниках на свежем воздухе, а позже по пятницам ходили на концерты в Сокольничьем кругу.

Илюша привлекал к себе всеобщие симпатии и выделялся во всем. Единственный сын в семье (старший брат, видный революционер, приговоренный в свое время к казни, скончался в Сибири в 1896 г.), он был окружен любовью и вниманием матери и четырех сестер. Его баловали, но он не был избалован. Он учился отлично, был любознателен и привлекал к себе манерами, изяществом фигуры, всей внешностью. Что бы он ни делал, он делал хорошо, а то и превосходно. Играл в теннис и в крокет, и на велосипеде катался, и танцевал, и шарады придумывал, и отгадывал их лучше других. У него был слух и приятный голос. И говорил он складно. Происходя из состоятельной семьи, он располагал лишними пятаками и гривенниками и был щедрее других. Им восхи-

щались девочки и барышни, к нему благоволили взрослые. В числе других его сверстников и я считал его всех краше и умней. Он мне очень нравился, и я его полюбил.

Когда детство сменилось отрочеством, наши пути разошлись фактически и по существу.

Вместе с Абрамом Гоцем Илья Фондаминский стал одним из зачинателей и руководителей кружка, который, в согласии с заветами старших братьев, Михаила Гоца и Матвея Фондаминского, постепенно превратился в кружок по подготовке к революционной деятельности. Я же в кружке товарищей по гимназии оказался скорее враждебен революции, во всяком случае ей чужд. В своем кружке мы тоже не прочь были переустроить мир, но не политическими средствами, а путем просвещения, уяснением себе и другим смысла жизни, самоусовершенствованием и моральным перевоспитанием окружающих. Никаких конфликтов между нами, когда мы с Илюшей изредка встречались, не возникало. Но не возникало и споров или обмена мнениями. Каждый был занят и всецело поглощен своим. Это продолжалось до тех пор, пока Фондаминский и ему близкие не почувствовали себя настолько окрепшими идейно, что стали ощущать потребность померяться силами с другими в расчете завербовать в свой лагерь прозелитов. Об этой идейной битве «русских с кабардинцами» я рассказал в своей книге «Дань прошлому». Здесь прибавлю, что впервые я увидел тут Фондаминского побежденным. Он не привык к этому, и остро — для всякого было очевидно — переживал поражение. Это было тем более несправедливо, что тот, кто одержал над ним верх, как выяснилось, увы, только позднее, был мистификатором и лицемером — «моральным Азефом».

С пятого года, когда, заключив специальный Gentlemen's agreement [1] с Фондаминским и Гоцем, я примкнул к партии с. р., мне приходилось общаться с Фондаминским уже по «партийной линии» — он был «комитетчик», я же только через полгода попал в тот же комитет московской организации п. с. р. Вместе мы провели дни московского восстания в декабре пятого года, подвергаясь одинаковому риску и опасностям. Оба были на 1-м съезде партии на Иматре. Тут пути наши разошлись географически: Фондаминский после ареста на крейсере «Память Азова» и драматического суда, кончившегося неожиданным оправданием [2], эмигрировал во Фран-

---

[1] Джентльменское соглашение (англ.).

[2] Трагическая смерть Фондаминского породила ряд никчемных легенд. Так В. С. Варшавский в «Незамеченном поколении» пишет: «Фондаминский отдал в партию (с. р.) полученное от отца миллионное наследство; был приговорен к смертной казни и при царской, и при советской власти» (287—288). И то, и другое неверно· Фондаминский не мог отдать партии миллионное наследство, потому что отец его никогда

цию, я же после ареста и бегства остался в России на нелегальном положении. Но связь наша и за годы первой эмиграции Фондаминского не оборвалась. Дважды за десять лет нашей разлуки побывал я в Париже и часто навещал Фондаминских — в эти годы самых близких мне людей.

Фондаминский с головой ушел тогда в партийные, сугубо конспиративные и засекреченные дела. Он привлекался к расследованию дела Азефа, к проверке благонадежности других заподозренных в провокации, к судам партийным и даже межпартийным (в частности к делу об удержании Лениным для большевистской фракции средств, принадлежавших Социал-демократической партии). Эти трагические дела отнимали у него много времени и душевных сил. Он считал невозможным от них уклоняться, — наоборот, считал своим морально-политическим долгом этим заниматься, так как был в числе тех немногих, кого не заподозривали в личных мотивах или пристрастии. Его уважали и ему доверяли. Я наблюдал его со стороны. Беседовать на эти темы не полагалось: это было бы неделикатно и нарушало бы элементарные требования конспирации. Говорить можно было только то, только тогда и только тому, что, когда и кому это было необходимо знать в интересах дела.

После Февральской революции Фондаминские, вместе с другими, вернулись в Россию, в Петроград. Когда и я там очутился, мы встречались почти всегда мимоходом, между дел, которых у каждого из нас было сверх головы. Фондаминский вошел в Центральный Комитет партии, где принадлежал к правому крылу, находившемуся в оппозиции к руководимому В. М. Черновым большинству. Эта оппозиция питалась неизжитыми разногласиями, возникшими во время войны: Фондаминский был патриотом-оборонцем без оговорок или условий. Он был избран товарищем председателя — Авксентьева — Совета крестьянских депутатов и усердно участвовал в его работах: выступал с докладами, руководил политикой, представлял Совет на разных собраниях и совещаниях. Но эта работа не поглощала всей энергии, излучавшейся его активной натурой. И после некоторых колебаний он согласился принять пост комиссара Черноморского флота для противоборства крепнувшему там влиянию большевиков.

не был миллионером. Я слышал, что от Фондаминского поступило в кассу партии до 30.000 рублей.

Что касается приговоров к смертной казни, то сенсационным было как раз обратное. Захваченный «на месте преступления», на крейсере «Память Азова», когда восстание уже кончилось, и дважды судимый в 1906 г. военным судом в Ревеле и Петербурге, Фондаминский оба раза непостижимым образом был оправдан царским судом. Советский же суд Фондаминского не судил — «врагом народа» он стал без судебного разбирательства.

Он приобрел во флоте многих приверженцев и личных «обожателей», но осилить напиравшую стихию ему не удалось. Его избрали членом Учредительного собрания от Черноморского флота, но это была Пиррова победа: верх взяла возглавлявшая большевистские ячейки в Севастополе некая Островская.

Наша близость, полная солидарность во взглядах и совместная работа изо дня в день началась после октябрьского переворота, когда Фондаминский вернулся в Петроград. С того времени в течение ряда лет мы действовали заодно, встречались по несколько раз в день во фракции членов Учредительного собрания эсеров, в Комиссии так называемого первого дня, где эсеры намечали программу и тактику открытия Учредительного собрания и т. д. В самом заседании Учредительного собрания Фондаминский появлялся на ораторской трибуне несколько раз с предложениями и репликами большевикам. В последний раз он появился в минуту крайнего возбуждения, царившего в собрании, и какой-то матрос, видимо, узнав в нем бывшего черноморского комиссара, без долгих размышлений взял винтовку на изготовку и направил ее на Фондаминского. Только исступленный окрик соседа, эсера из сектантов Бакуты (позднее обернувшегося большевистским сексотом): «Брат, опомнись!» — и удар по плечу остановили шалого матроса и предупредили катастрофу.

После разгона Учредительного собрания Фондаминский участвовал в разработке планов борьбы с захватчиками власти, участвовал в полулегальном 8-м Совете партии в Москве, в собраниях «Союза Возрождения». Я всегда обнаруживал свое полное совпадение в умонастроениях, взглядах и оценках с Фондаминским.

На длительном опыте мог я оценить дарование Фондаминского. Он был не только блестящий оратор и диалектик, умевший спорить и убеждать. Он был находчив и тороват на выдумку и инициативу. У него всегда бывала «идея», — может быть, и неверная, но часто оригинальная, такая, которая не приходила в голову другим. И он при этом всегда находил систему аргументов в защиту своей «идеи». Когда я говорил после него, я почти всегда поддерживал Фондаминского, приводя дополнительные доводы или опровержения. Мой «аккомпанемент» Фондаминскому стал настолько привычным, что и много лет спустя, когда на многое Фондаминский и я смотрели уже по-разному, мне не раз приходилось слышать в спорах с друзьями, что я нахожусь под влиянием Фондаминского и, «конечно», защищаю его взгляды. Меня это никогда и никак не ранило, потому что, усматривая превосходство Фондаминского над другими, я не видел ничего зазорного в том, чтобы следовать за ним.

Когда открылся волжский фронт борьбы Учредительного собрания с большевиками, я никак не мог решить, как ехать, куда и с кем. Мои колебания разрешились самым благоприятным образом. Ко мне обратился Фондаминский с предложением составить «пару» и отправиться сообща в рискованное путешествие. Я, конечно, с радостью согласился. Это устраивало меня во всех отношениях: выработка плана перехода «границы», или большевистского фронта, отделявшего нас от заволжских борцов, падала, естественно, на Фондаминского. Фондаминский был в отличных отношениях со многими, имел много личных друзей. Что он остановил свой выбор на мне, не могло не льстить: видимо, не только он мне был близок, ближе других, но и я ему.

«План» Фондаминского был прост. В десяти верстах от торгового села Макарьева, на реке Унже, стояла лесопилка свойственника Фондаминского. Эта лесопилка и была намечена нашим ближайшим этапом. Сравнительно невдалеке от этой лесной глуши проходил антибольшевистский фронт русско-английских воинских частей, и имелись шансы перебраться на ту сторону фронта, или — быть «захваченными» продвинувшимися вперед частями.

Фондаминский отрастил себе бороду и приобрел фуражку с продолговатым козырьком, который прикрывал верхнюю часть лица, но одновременно привлекал к себе внимание своей элегантностью. Паспорт ему дал старый его почитатель — можно сказать, обожатель — Р. С. Тумаркин. Меня снабдили фальшивым документом на вымышленное лицо. Началось путешествие благополучно: матросы, проверявшие документы и вещи, нас не задержали ни на ярославском вокзале в Москве, ни в Кинешме, где мы высадились. Однако, только мы сели на пароход и отчалили, мимо меня пронесся бегом по палубе памятный мне по заседанию Учредительного собрания мичман Ильин-Раскольников: это он оглашал декларацию большевистской фракции об уходе из Учредительного собрания. Хотя я сидел в зале Таврического дворца на подиуме справа от ораторской трибуны, я не был уверен, что и он запомнил меня. Во всяком случае, надо было немедленно предупредить Фондаминского, который, благоразумия ради, отсиживался в смежном с рестораном помещении. Не успел я поделиться с ним неприятной вестью, как дверь распахнулась и в нее вихрем влетел Раскольников. Не произнося ни слова, он уселся на подоконник и, мефистофельски скрестив руки, молча уставился взглядом на Фондаминского.

Я сидел рядом и переводил глаза с Фондаминского на Раскольникова и обратно. Раскольников был известен как один из руководителей «отложившегося» от России полуанархического-полубольшевистского Совета рабочих и сол-

датских депутатов в Кронштадте. Он мог запомнить Фондаминского по его выступлениям в Учредительном собрании. Он мог знать Фондаминского и как «коллегу» — как комиссар Балтийского флота комиссара Черноморского. Не поднимая глаз, а то отводя их в сторону, Фондаминский прикрывал верхнюю часть лица, снимая и снова надевая пенсне. Молчаливая дуэль длилась недолго. Раскольников вскочил с подоконника и ринулся в дверь.

Последствия казались очевидными и неминуемыми. Мы решились разойтись в разные стороны. Без слов обменялись крепким рукопожатием, пронизывающим взглядом. Я был уверен, что никогда больше не увижу Илюши.

По пароходу пронеслось волнение. Раздался громкий приказ: предъявить документы! Не оставалось сомнений: нас берут, ибо нетрудно установить, что наши документы фальшивые, не на наше имя: гражданская война в разгаре, — судьба наша ясна. Я предъявил свой документ, его тут же, к величайшему моему удивлению, вернули. Значит, дело не во мне, а в «Тумаркине»...

Пароход подходил к Юрьевцу, где нам предстояло пересесть с волжского парохода на меньший, поднимавшийся по Унже, впадавшей здесь в Волгу. Перед нами была безграничная, уходящая вдаль вода. Виден был лишь один берег и на нем бесконечные штабеля заготовленных дров. Я свесился с палубы, жадно выжидая, как поведут арестованного Фондаминского. Показалась его фигура, осторожно спускавшаяся по сходням. Но шел он один — без провожатых. Это было неожиданно, маловероятно, поразительно. Поток радости, безмерной, охватил меня, и я бросился со своей корзинкой вниз к пристани. За штабелями дров нашел Фондаминского, мечтательно прогуливавшегося. Он был ошеломлен сильнее меня и несколько экзальтирован. Озираясь по сторонам и всё еще не вполне веря в то, что его не задержали, он устремлял умиленный взгляд в потемневший свод неба и всё повторял:

— Непонятно. Совершенно непонятно. Настоящее чудо...

Мичман Раскольников представлял собою классический тип большевика — дерзкого до наглости и жестокого до беспощадности. Расправиться с нами или по меньшей мере задержать людей с подложными документами, очутившихся в верховьях Волги, когда по среднему ее течению проходил фронт гражданской войны, диктовал Раскольникову элементарный долг большевика. И он его нарушил явно и намеренно. Почему? В чем дело?

И позже возвращались мы с Фондаминским не раз к этому вопросу. В согласии с общим религиозным уклоном, обозначившимся у Фондаминского, он объяснял «чудо» тем, что и в большевике мог пробудиться образ человека и доброе

начало могло одержать верх над злом: «он нас пожалел». Мне такое объяснение и сейчас кажется искусственным. «Пожалев» нас, Раскольников продолжал и в последующие годы свирепствовать, насиловать и убивать, не давая пощады. И образумился он только тогда, когда беда стряслась над ним самим: после убийства Рейса в Швейцарии Раскольникова вызвали в Москву, и он, подобно другим, «выбрал свободу» — предпочел возвращению и неминуемой расправе положение невозвращенца. Свое и Фондаминского чудесное спасение я склонен был скорее отнести не на счет пробудившейся в Раскольникове человечности или этики, а, скорее, на счет «эстетики»: изящная и благородная фигура Фондаминского расположила к себе и озверевшего большевика.

Мы прожили на лесопилке несколько недель в ожидании, что фронт приблизится. Проводили мы время как могли. На прогулке беседовали на разные темы. Запомнился спор о «на чаях», которыми Фондаминский всегда задаривал — и задабривал — прислугу, швейцаров, лакеев в ресторанах. Он «принципиально» защищал это. Позднее я ставил это в связь с общим его отношением к людям. Он всегда любил людей и не только известных и выдающихся, перед которыми буквально преклонялся и подчеркивал свое преклонение. Он любил и простых, ничем не замечательных людей, которым старался помочь, и делал добро. Вместе с тем он был очень невысокого мнения о человеке вообще, о всех людях за ничтожными исключениями. Он считал дозволенным и нужным потакать людским слабостям, льстить и, в случае необходимости, даже обманывать ближнего, чтобы иметь больше шансов воздействовать на него в должном направлении и способствовать его благополучию, в котором тот иногда сам не отдавал себе правильного отчета.

Жизнь на лесопилке протекала мирно, но неспокойно. Фронт не приближался, а удалялся, и мы все больше отрывались от внешнего мира. Сведения из Москвы приходили редко и скупо. Даже о покушении Фанни Каплан на Ленина и ответном терроре советской власти мы узнали почти случайно — при особых обстоятельствах.

Приближался Судный день, чтимый даже не соблюдающими ритуала евреями. Для молитвенной службы требовалось присутствие не меньше десяти религиозно совершеннолетних, то есть старше 13 лет, иудеев. К нам с Фондаминским обратились из Макарьева с просьбой пополнить собой требуемый контингент молящихся. Фондаминский от приглашения уклонился. Я его принял и в положенный день, в сумерки, быстрым шагом направился вдоль по Унже в Макарьево.

Нужное количество евреев набралось. Самодельный кантор пропел речитативом «Кол Нидрэ». Все сошло, как полагалось, и молившиеся разошлись по домам. Я заночевал тут же, так как не имело смысла возвращаться на лесопилку, чтобы на следующий день быть снова в Макарьеве к утренней службе. Тут мне рассказали, что накануне с Макарьева взыскали дань ненасытному красному террору, наложенную на все города и села России за покушение на бесценную жизнь Ленина. Зиновьевская практика — уничтожение людей без суда и следствия — была распространена на всю страну в порядке отмщения и устрашения. Повсюду стали ловить и убивать противников или возможных противников власти. В Макарьеве не оказалось более подходящих для расстрела жертв, как давно покинувший службу пристав 65-ти лет и гимназист-восьмиклассник, считавшийся эсером. Их и прикончили.

Ночь я провел в той же комнате, что служила молельней, на двух сдвинутых креслах. Уснуть, конечно, не мог, — и не по физическому только неудобству. Не давали покоя тени неведомых мне старика и юноши, принявших смерть вместо других, — в частности вместо меня и Фондаминского. Будь макарьевские чекисты более опытны и ловки, они отыгрались бы на нас, а бывший пристав с гимназистом уцелели бы.

На утро моление возобновилось. А в самый торжественный момент обеденной службы ее внезапно прервали чьи-то удары рукой по молитвеннику. Некоторые из присутствовавших сняли свой «талес» (шаль), в который были облачены согласно ритуалу, и быстро вышли. «Кворум» молящихся был нарушен, но никто не обратил на это внимания. Оказалось, именно к этому моменту службы в Судный день местные большевики приурочили реквизицию складов и товаров у купцов-евреев. Последние были поставлены перед мучительной дилеммой: пытаться отстоять свое добро, земное, или, несмотря ни на что, продолжать возносить хвалу Господу Богу.

Подавленный физически и морально, с тяжелым чувством, возвращался я вечером тем же пешим трактом «домой», на лесопилку.

Пребывание на лесопилке затягивалось. Мы с Фондаминским много бродили по лесу, вели беседы, читали. Идеологии наши были разные, но политически мы чувствовали и думали одинаково. Мы жили как на бивуаках, готовые не сегодня-завтра двинуться в путь, и такой уклад постепенно превратился в рутину. Мы стали к ней привыкать, когда ранним утром на балконе заведующего лесопилкой появилась совершенно неожиданно моя жена. Взволнованная и изнемогая от усталости, она сообщила, что приехала по указанию и просьбе наших товарищей и друзей, которые нашли, что мы

попали в мышеловку: англо-русские войска не приближаются к Макарьеву, а отступают к Архангельску и, чтобы переправиться на восток, нам предстоит вернуться в Москву и попытаться пробраться кружным морским путем из Западной Европы.

В Москве Дм. Дм. Донской, член эсеровского Ц. К., позднее присужденный большевиками к смерти, вручил Фондаминскому и мне «документы» на имя четы Шапиро и Эпштейн, эвакуированных во время войны из Гродненской губернии, а ныне, по соглашению советской власти с Германией, возвращающихся на родину.

Вместе с другими, такими же, как и мы, «гродненцами», «ковенцами» и «виленцами» оказались мы в числе репатриируемых. Невооруженным глазом можно было разглядеть, что многие из таких репатриируемых не те, за кого их выдавали документы. Но большевики к этому времени еще не накопили достаточно полицейского опыта и были, сравнительно с последующими годами, довольно беспечны.

Нас погрузили в теплушки — «сорок человек, восемь лошадей» — в нескольких верстах от николаевского вокзала. Чекисты осмотрели вещи, проверили документы, но поезд не двигался с места. Паровоз не был прицеплен, и время отправления не было установлено. Некоторые отправились в город с риском, что поезд может уйти без них. Мы с Фондаминским оставались прикреплены к нашей теплушке. Навсегда осталось в памяти последнее свидание-прощание с отцом.

В огромном полупустом зале вокзала стоит небольшая фигурка человека в котелке с поседевшей курчавой бородкой. Я в последний, самый последний раз подбегаю к нему и горячо и нежно целую его руку много раз. Он пожимает мою, оставаясь неподвижным, боясь привлечь внимание сценой прощания и выдать меня и себя. Я ухожу, ускоряя шаги, и посылаю последний воздушный поцелуй. Поворот за угол, и фигура отца исчезает из поля зрения. Я никогда больше не увижу его, как не увижу Москвы. Оба образа сливались, когда в бессонные ночи в эмиграции я воскрешал их пред собой.

Теплушки медленно ползли в направлении к советогерманской пограничной линии. «Максим Горький» останавливался на всех полустанках, пока не докатился до Себежа. После новой и последней проверки документов, мы, казалось, очутились вне советских пределов и почувствовали себя уже в безопасности. Фондаминский стал невероятно волноваться, когда мы стали подъезжать к «той стороне», — занятой немцами. Я никогда не видал его в таком состоянии. Он несколько раз смотрел смерти в глаза, совсем, совсем близко и не терял присутствия духа, — чему в значительной мере оказывался дважды обязанным своим спасением. А тут ни-

какой непосредственной опасности не было, а он сидел подавленный и притихший, всячески стараясь придать себе неинтеллигентную внешность — сойти за ремесленника или торговца. Ничего из этого, конечно, не выходило. Его горящие глаза становились от волнения еще выразительнее и выдавали с головой. Поезд еле-еле продвигался вперед. Миновали шлагбаум и какие-то строения, довольно убогие. Показалась тощая фигура немецкого солдата в бескозырке, со штыком сбоку. Кто-то что-то крикнул. Солдат стал гримасничать и кого-то передразнивать.

— Если такое стало возможным при германской дисциплине — немецкой армии пришел конец, — сказал кто-то около меня. — Армия явно разложена...

Неожиданно раздался истерический крик — команда, отданная властным голосом:

— Zurück!.. Alle zurück!.. (Назад! Все назад!).

Не сразу можно было понять, что это значит. Вскоре выяснилось, что, по соглашению с немцами, железнодорожный состав должен был доставить не больше полутора тысяч человек. Советские головотяпы решили с этим не считаться, рассчитывая, что «сойдет». Однако, немцы и накануне разгрома оставались педантами и формалистами. Приказано было дать задний ход, и с тою же черепашьей скоростью мы поползли обратно. Отошедший и уже взыгравший было Фондаминский вновь впал в уныние и беспокойство. На советской стороне надо было прежде всего выяснить, кто попадает в первую очередь в стоявший на соседнем пути поезд меньшего состава. Гродненцам посчастливилось, и мы оказались в первой очереди. Но погрузиться в поезд было мукой. Корзины и чемоданы приходилось перетаскивать с одного конца станционной платформы на другой. Не было никого, кто мог бы нам помочь. Фондаминскому запрещено было поднимать тяжести. Наши миниатюрные жены менее всего были приспособлены к такой работе, а я всегда числился в слабосильной команде. С большим напряжением багаж все-таки был погружен. Поезд тронулся уже в законном составе, и немцы нас приняли.

Вместе доехали мы до Вильны и там расстались, чтобы через несколько месяцев, 31 декабря 1918 г., после поражения Германии и освобождения Украины от немцев, встретиться уже в Киеве и Одессе. В Одессе мы узнали, что план участия в борьбе против большевиков на фронте Учредительного собрания уже рухнул: 18 ноября казачьи атаманы арестовали в Омске левых членов так называемой Уфимской директории — Авксентьева, Зензинова, Аргунова и Роговского, — и верховный правитель адмирал Колчак возглавил новое правительство.

В Одессе Фондаминский был занят, главным образом, делами «Союза Возрождения», в котором переворот в пользу адм. Колчака одних очень устраивал, других — гораздо меньше или даже совсем не устраивал. Как представитель «Союза Возрождения», Фондаминский ездил из Одессы в Яссы. Я встречался с ним, но не слишком часто, будучи связан с работой бюро Земского и Городского Союзов, тоже перекочевавшего из Киева в Одессу. Спустя некоторое время бюро командировало меня в Симферополь за финансовой помощью к правительству С. Крыма, Винавера, Набокова, Никонова и других. За несколько дней, что я отсутствовал, произошла неожиданная и молниеносная эвакуация Одессы французскими и греческими воинскими частями. Фондаминские эвакуировались через о. Халки и Константинополь в Париж. Вскоре и мы с женой туда попали через Пирей, Афины, Марсель.

Был май 1919 года. Париж праздновал победу. 14 июля состоялся грандиозный парад победоносных армий на Елисейских полях. Чтобы видеть его, надо было обладать средствами — физическими или финансовыми. У меня не было ни тех, ни других. Мои силы и внимание ушли на приискание заработка и на борьбу с болезнью жены. С Фондаминскими мы встречались гораздо реже прежнего. Так продолжалось, примерно, год — до «эры» повседневной и неразлучной работы в «Современных записках».

В. В. Руднев

С Вадимом Викторовичем Рудневым впервые я встретился ранней весной 1905 г. в Москве. Состоялось сравнительно многолюдное нелегальное собрание московской организации эсеров, к которым незадолго до этого я примкнул. Руднев привлек к себе мое внимание своей внешностью и почтительным отношением к нему со стороны окружавших.

Молодой, подвижный, с продолговатым лысым черепом и крупным, крутым лбом, он очертанием головы и светлой бородкой клинышком чем-то напоминал Ленина, хотя общие черты его лица были много мягче, выразительнее и нисколько не походили на монгольские. Что еще бросалось в глаза, — это его синие-синие глаза и иногда обворожительная, почти детская улыбка.

По тому, как к товарищу Бабкину относились руководители эсеров, я мог понять, что он незаурядная личность. Но я никак не думал, что он такой же новичок в партии, как и

я. Вскоре по личному опыту я мог убедиться, что иссиня-детские глаза Руднева способны иногда приобретать серо-стальной отблеск и, суживаясь, пронизывать собеседника твердым и сверлящим взглядом. Убедился я на опыте и в том, что собою представляет Руднев как общественный и партийный работник. Он неизменно председательствовал на собраниях пропагандистов и на других партийных собраниях, на которых я присутствовал. И он не только председательствовал, а активно руководил работой, направлял, контролировал и зачастую распекал работников. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь был в претензии на тов. Бабкина. И не потому, конечно, чтобы тот был всегда прав или чтобы другие не были чувствительны к его замечаниям и поправкам. А потому, что все видели, как Руднев сам работает, — не щадя себя физически и морально и дополняя критику «самокритикой».

Мало кто знал, как не знал тогда и я, что, выбиваясь из сил на партийной нелегальной работе, Руднев одновременно переживал сложную личную драму: его будущая жена расходилась с первым мужем, земляком и другом Руднева, тоже врачом и эсером, Э. В. Шмидтом, с которым они ежедневно встречались по партийным делам.

Руднев был и оставался всю жизнь человеком долга, и то, что он считал долгом своим или окружающих, он проводил настойчиво, самозабвенно, порой неистово. Ему многое прощали потому, что видели, как строг и требователен он к самому себе. Он пользовался всеобщим уважением и авторитетом, но мало кто был с ним интимно близок: входя во все детали работы, Руднев сохранял определенную дистанцию между собой и другими. И я, часто общаясь с Рудневым на деловой почве, в течение десятилетия находился от него на почтительном расстоянии.

В конце лета 1905 г. Руднев и его будущая жена с мужем очутились все вместе в таганской тюрьме, из которой их освободил манифест 17-го октября. Мое нелегальное положение тоже кончилось, и общение с Рудневым возобновилось. Руднев стал приобретать более широкую известность как признанный руководитель московской организации с. р., на короткое время вырвавшихся из подполья на открытую политическую арену. Он был занят днями и ночами. Ему не давали ни отдыха, ни срока, всем было до него дело. Добивались от него решения и совета, и он вынужден был всех выслушивать и входить часто в малоизвестные ему вопросы и дела.

Руднев не был оратором. Слово давалось ему с трудом. Он и не любил публичных выступлений. Но когда приходилось выступать, его доклады были всегда содержательны и убедительны. Он не обходил острых вопросов и не уклонялся

от посильного на них ответа, который давал со всей присущей ему вдумчивостью и добросовестностью. Последнее подкупало, и выступления Руднева производили впечатление и на несогласных с ним. Еще менее охоч был Руднев к выступлениям в печати — до самого возникновения «Современных записок». Составить воззвание или написать листовку было для него очень трудным делом, и он почти всегда препоручал его другим, за собой оставляя и бережно отстаивая свое право просмотра написанного и контроля, — чтобы исправить, опустить или прибавить.

Вместе проводили мы дни и ночи во время декабрьского восстания в Москве, пока Руднева не выбила из строя случайная пуля, попавшая ему в мизинец правой руки, когда он шел по одному из переулков Тверской улицы. Рана была несерьезная, но две фаланги пришлось ампутировать, и это изобличало его причастность к восстанию, — что в те дни грозило смертью.

Мы встретились с ним в Финляндии на Иматре, куда оба (третьим был Фондаминский) попали в качестве делегатов московской организации на первый съезд партии с. р. Руднев обращал на себя всеобщее внимание: сам по себе и как делегат от «героической» Москвы, непосредственно пострадавший от восстания. Его немногочисленные выступления на съезде были не слишком ярки, но, как всегда, серьезны и продуманы. Они носили скорее левый отпечаток, в частности, в земельном вопросе: Руднев был сторонником призыва к крестьянскому восстанию немедленно, ближайшей же весной (1906 г.). Это не было мнением большинства съезда.

По возвращении — разными путями — в Москву, нам с Рудневым предстояло дать отчет избравшим нас членам московского комитета о том, что происходило на съезде. Найти помещение для нелегального собрания в Москве того времени было делом нелегким. На помощь пришла «товарищ» Зинаида Жученко-Гернгросс, давняя сотрудница Охранного отделения не из корысти, а по убеждению. Руднев благополучно закончил свой доклад, а я только успел подняться, чтобы приступить к своему, как в комнату ворвались запушенные снегом городовые с примкнутыми к винтовкам штыками. Впереди с никелированным револьвером в руках несся охранник, который, завидя перевязанную руку Руднева, торжествующе бросился к нему:

— А, раненый!..

Руднева отправили в таганскую тюрьму, нас — в арестное помещение при полицейской части. Мы были разлучены на 11 лет. Руднев снова был сослан в Сибирь (в первый раз он попал туда по студенческому делу в 1902 году, вместе с Церетели, Мееровичем, бр. Будилович и др.) — на сей раз в Якутскую область.

Отбыв 4-летний срок, Руднев отправился за границу, в Швейцарию, закончить начатое десятилетием раньше в Москве медицинское образование. Объявление войны застало его в Базеле. Он готовился к выпускным экзаменам. Война чрезвычайно обострила в Рудневе патриотическое чувство. Присущая ему скромность не располагала к тому, чтобы он писал о себе. Тем большего внимания заслуживает его статья «Двадцать лет тому назад», напечатанная в № 56 «Современных записок» в 1934 г. Здесь он рассказал о «двойственном следе», который оставила в его душе революционная деятельность 1905—1906 гг. «Правда, это были годы большого душевного подъема, идеальных устремлений, жизни в атмосфере революционного братства. Но была и обратная сторона, горькая и мучительная. Дело даже не в понесенном революцией 1905 года поражении. Тяжелее было сознание, что в эти годы не произошло у нас и настоящей встречи, взаимного понимания с народом, действительным, а не созданным интеллигентской выдумкой. А тут еще подоспела азефовская история. Перспектива вновь вернуться в отравленную атмосферу подполья казалась нестерпимой».

И во время войны с Японией Руднев, в отличие от многих эсеров и других, был патриотом, не считаясь с тем, что во главе страны стояла, по его словам, «ненавистная нам, антинародная власть». Новая война 1914 года в связи с разочарованием в былой революционной деятельности обострила в Рудневе патриотическое чувство и открыла возможность легальной работы в народе, для народа, с народом. Он был мыслями и планами в России, чувствовал себя чуждым эмигрантской психологии. В своем патриотизме Руднев превзошел даже ближайших своих друзей и патриотов-оборонцев Авксентьева и Фондаминского, — о чем не без внутреннего удовлетворения не забыл упомянуть и через 20 лет. «Мое место в час испытаний для моего народа там, в России, вместе с ним на предстоящем ему крестном пути», — говорил он себе. Поэтому «надо бросить все свои университетские планы и возвращаться на родину».

Идея родины была для Руднева первее и выше «заветов» социалистического интернационализма. Руднев с присущей ему совестливостью тут же допускал, что его «сознание» того времени в значительной мере определялось «бытием» легального человека, «не успевшего оторваться от непосредственного чувства русской стихии, в любое время имевшего возможность вернуться в Россию и могущего выбрать связанную с наименьшими компромиссами форму приятия войны (на врачебно-санитарном фронте). Может быть поэтому я мог легче... решать проблему для себя утвердительно: да, во имя защиты России от нападения внешнего врага *допу-*

стимо временное, на период войны, перемирие с врагом внутренним».

Но решение вернуться в Россию, чтобы зачислиться добровольцем для службы на фронте в качестве фельдшера или санитара, — как ратник ополчения Руднев не подлежал призыву и вызову из-за границы, — Руднев принял без хозяина. Поданное им прошение в российское посольство в Берне натолкнулось на отказ: военно-санитарное ведомство в Петербурге, «отдавая должное патриотическим побуждениям» Руднева, вежливо отклонило его предложение. «Поверить в искренность этих побуждений у революционера там, очевидно, никак не могли», — с горечью заключил Руднев. Все же, хоть и с запозданием, он выполнил свое намерение. Сдав докторские экзамены, Руднев вернулся в Россию и поступил врачом на госпитальное судно, плававшее по Волге.

Отныне патриотизм и оборончество стали излюбленными темами Руднева. Вместе с идеями образования широкого общественного фронта, эволюционного и реформистского социализма и положительной роли религиозного сознания — они составили тот комплекс идей, из которого Руднев исходил и к которым постоянно возвращался в своей последующей общественной, политической и литературной деятельности.

Февральские события 1917 года застали Руднева и меня в Москве. Бывшие до того в рассеянии эсеры инстинктивно потянулись друг к другу. И после десятилетней разлуки мы встретились с Рудневым вечером того дня, когда в Москву пришла весть о революции в Петрограде. Путем самозарождения возник комитет п. с. р., и его возглавил тот же тов. Бабкин, ставший доктором Рудневым. Вместе с другими погрузился он в партийную работу, стараясь, как в пятом году, присматривать за всем: как восстанавливаются утерянные связи с рабочими на фабриках и заводах, какой тактики держаться эсерам в кооперативных организациях, как реорганизовать городские и земские учреждения и т. д. Мне Руднев поручил «поставить» ежедневную газету. Это было несравненно легче сказать, чем сделать: газету приходилось создавать из ничего — не было ни копейки денег, ни типографии, ни бумаги, ни квалифицированных сотрудников. В «Дани прошлому» я рассказал, как в газете «Труд» я стал «и швец, и жнец, и в дуду игрец». Для уточнения прибавлю, что, не будь постоянного и настойчивого понукания со стороны Руднева, «Труд» не возник бы и в том несовершенном виде, в каком он существовал в течение первых недель.

В суматошные мартовские дни было не до личных встреч и бесед по душам. Обменивались не столько мнениями, сколько репликами на ходу и в заседании. С отъездом моим в Петроград мы с Рудневым оказались разделены и топографически. Меня не было в Москве, когда эсеры проводили

выборы в городскую думу, давшие им оглушительную победу и посадившие на кресло городского головы В. В. Руднева. Я посвятил этому небольшую статью в «Деле народа», поздравив его с великой честью, а Москву — с хорошим выбором. В очередной свой приезд по делам московского самоуправления в Петроград Руднев благодарил за статью, но, улыбаясь, тут же пожурил за то, что я выдал его возраст, — «хозяин» Москвы должен быть в летах. На радостях мы перешли с Вадимом на «ты» — это было в последний раз, когда близость оформилась для меня таким образом.

За время революции мне с Рудневым приходилось встречаться очень редко: на партийном съезде и государственном совещании в Москве, на демократическом совещании и, уже после большевистского переворота, на земско-городском «соборе» в Петрограде. Да и встречаясь, мы успевали обменяться лишь приветствиями, рукопожатиями, репликами. И Октябрь мы переживали раздельно. Руднев возглавил сопротивление захвату власти в Москве.

У меня нет собственных впечатлений об его деятельности в те дни. Приведу всего один эпизод, характеризующий Руднева как человека и как политика, со слов малорасположенного к эсерам и к Рудневу лично летописца. Эпизод произошел 28 октября 1917 года в помещении московской городской Думы. К Рудневу как городскому голове явилась делегация Военно-революционного комитета, большевики Ногин и Ломов. Сгрудившаяся около кабинета головы толпа стала недвусмысленно проявлять свои враждебные чувства к делегатам. Положение становилось угрожающим, и, чтобы предупредить худшее, Руднев выхватил у соседа револьвер и заявил, что тут же покончит с собой, если будет допущено какое-либо насилие над делегатами. Руднев не успокоился, пока не проводил посланных до занятой ВРК территории. (Мельгунов С. П. Как большевики захватили власть. С. 315).

Это было, может быть, типично для Февраля, но типично и для Руднева: самоубийство он предпочитал убиению других, особенно делегатов, хотя бы они были большевиками.

В Рудневе сочетались противоречивые черты. Он был порой до застенчивости скромен и совестлив и в то же время мог быть неуступчивым и авторитарным, упорно настаивать на своем и придирчиво следить за тем, чтобы то, что ему казалось нужным и правильным, исполнялось именно так, как он того желал и требовал.

Руднев был не единственный среди эсеров, исповедывавший православие и соблюдавший все предписанные церковью обряды. Но он один из немногих стал после революции как бы подчеркивать свою принадлежность и верность православной Церкви. Он неоднократно вспоминал о речи, произнесен-

ной им в качестве городского головы при открытии Собора в Москве 15 августа 1917 г. В православии Руднев видел не одно только выражение абсолютной истины, но и живую связь с русским народом, с верованиями и бытом масс, оторванность от которых Руднев ощутил еще в революцию пятого года и продолжал остро ощущать в годы эмиграции. Руднев глубоко чтил уходившее в заоблачные высоты богопознание Булгакова и Бердяева, с которыми поддерживал и личные связи, — Булгаков был его духовник и исповедник. Но для себя лично он считал обязательным — и достаточным — исповедание веры «по-бабьи», как он говорил, — как то делали отцы и деды и простой русский народ.

После одержанной большевиками победы в Москве Руднев перебрался в Петроград и здесь вскоре возглавил работу эсеров по подготовке открытия Всероссийского Учредительного собрания. Большинство фракции принадлежало к так называемому правому крылу: из руководящего 25-членного бюро, за исключением В. М. Чернова, редко посещавшего собрания фракции, и неизвестных мне по партийной ориентировке Романенко и Быкова, — все остальные принадлежали к т. наз. правым эсерам. Авторитет Руднева во фракции и в бюро стоял очень высоко. И Руднев был бессменным председателем на собраниях многолюдной фракции эсеров. Он активно участвовал и в работах различных комиссий.

Опасаясь прямого насилия со стороны большевиков, мы всячески убеждали Руднева отказаться от явки на заседание Учредительного собрания. Когда он наотрез отказался внять нашим уговорам, его избрали одним из той «пятерки», которой фракция поручила руководство в самом заседании Учредительного собрания. Появление Руднева вызвало яростное улюлюканье со стороны большевиков. Собрание то и дело прерывалось угрожающими выкриками: «рудневцы». Выкрик этот звучал не то как призыв к расправе, не то как напоминание об одержанной в Москве победе над «социал-предателями», осмелившимися восстать против «рабоче-крестьянской власти». Когда крики большевистских дикарей сделались нестерпимыми, Руднев уступил настояниям друзей и покинул Таврический дворец.

Большевистские ищейки с особенным рвением гонялись за Рудневым. Он тщательно поэтому скрывался и появлялся только на деловых собраниях «Союза Возрождения» или 8-го Совета партии. Когда постановлено было, чтобы эсеры, члены Учредительного собрания, направились за Волгу, Руднев на полгода исчез с моего горизонта. Однако и ему (в «паре» с Е. А. Сталинским) не удалось переправиться «на ту сторону». Встретились мы с ним уже в Одессе — тогда же, когда встретились с Фондаминским, накануне нового 1919 года.

Здесь Руднев, как бывший городской голова Москвы, возглавил Союз городов, который вместе с Земским Союзом, «Союзом Возрождения» и антибольшевистскими политическими партиями старался, как мог, наладить хозяйственную и политическую жизнь на свободном от советской диктатуры юге России. Это удавалось плохо — и объективно вряд ли могло удасться. Тем не менее Руднев не сдавался. Его снедала тревога за участь жены, взятой большевиками заложницей за него и находившейся в московской тюрьме. И все же каждый день Руднева можно было видеть на посту в бюро земств и городов, не считавшегося со своими личными моральными и физическими лишениями, — Одесса уже подмерзала и подголадывала. Он не переставал и других побуждал делать то, что можно было делать. Так продолжалось три месяца, когда Одесса внезапно была эвакуирована французами и греками и отдана большевикам. 5 апреля 1919 г. Руднев эвакуировался из Одессы вместе с Фондаминским, А. Н. Толстым, Алдановыми, Цетлиными и другими. Все они попали на о. Халки близ Константинополя, а оттуда через Марсель — в Париж.

Как и я, Руднев оказался в Париже в трудном положении. У нас обоих не было никаких средств, не было и перспектив получить заработок — в частности из-за недостаточного знания французского языка. И свой первый гонорар я получил из того же источника, что Руднев, — но узнал о том много позднее.

Д-р Н. С. Долгополов, депутат 2-й Государственной Думы эсеровской фракции, предложил мне собрать документы и составить записку о требованиях, которые различные национальности России предъявляли к заседавшей в ту пору Версальской конференции мира. Это было очень интересное и нужное задание[1]. Одновременно Долгополов поручил Рудневу, своему земляку и приятелю с гимназических лет, регулярно составлять по лондонскому «Таймс» сводки об отношении Англии к русским делам: к большевикам, антибольшевикам, «единой-неделимой» России, расчленению и т. д. Только позднее мне стало известно, что д-р Долгополов свои «заказы» раздавал не по своей инициативе, а по поручению правительства ген. Деникина, у которого одно время ведал здравоохранением.

[1] В миссиях и представительствах, часто самозванных, которые выпускали меморандумы с географическими картами и требованием признания за отдельными частями России сепаратного существования, я обыкновенно просил дать мне два экземпляра — второй для себя. Так собралось два с лишним десятка меморандумов, не лишенных историко-политического интереса и позднее приобретенных у меня Русским архивом в Праге. С передачей архива Советам набор этих меморандумов должен сейчас находиться в одном из книгохранилищ в Москве.

Вскоре Руднев получил более постоянный заработок. М. М. Винавер решил издать в Париже «Еврейскую трибуну» на русском языке и пригласил Руднева на должность секретаря [1]. Эту службу Руднев отказался оставить и тогда, когда возникли «Современные записки», мотивируя отказ тем, что предпочитает отдавать «Современным записками» время и силы в порядке общественного служения, а не по служебной обязанности.

Революционеров часто упрекали в безответственности. К Рудневу этот упрек не мог быть никак применен: он был постоянно озабочен справедливым решением личных и общественных проблем, пытливо допрашивая не только других, но и самого себя по всякому поводу. Все приобретало в его сознании значение проблемы потому, что в решение всякого вопроса он вносил элемент личной ответственности. Он не переставал взвешивать и колебаться, боялся принять решение не по недостатку мужества — мужества у него было предостаточно, — а из-за заботы о других и за порученное ему или возложенное им на себя дело. И настолько очевидной была *гипертрофия* ответственности, которой страдал Руднев, что и политические противники обвиняли его уже не в безответственности, а, наоборот, — в «боязни ответственности» и вытекавшей из нее нерешительности.

В сохранившемся у меня письме Руднев писал: «...*необходимость* вложиться в это дело целиком для моего разума уже совершенно ясна; *решение* же и напряжение *воли* — пока еще недостаточны; могу и остыть, опустить руки, — и нахожу опасным *длить* в себе это состояние колебания. Если решаться, надо решаться *скорее*, и отрезать своим сомнениям пути».

В. В. Руднев не был Гамлетом. Наоборот, он был волевым и нередко упорствующим. И если «румянец воли» его по временам увядал, происходило это не столько от «бледного луча размышлений» сколько от раздвоения совести, от моральных сомнений.

Н. Д. Авксентьев

С Николаем Дмитриевичем я познакомился много раньше, чем с Рудневым. Это случилось ранней осенью 1900 г. в Бер-

[1] Известному художественному критику, режиссеру и острослову Александру Койранскому принадлежит эпиграмма того времени:

Прорвалась древняя плотина,
Слилось, что розно было встарь:
Еврей толкует нам Плотина,
А «гой» в «Трибуне» секретарь.

Плотином занят тогда был Лев Шестов.

лине, куда я попал на несколько дней при возвращении из-за границы в Москву. Как и другие, я был в штатском платье, но мне предстояло очень скоро вновь облечься в постылую гимназическую форму. Познакомился я с Авксентьевым в русской столовке, где собиралась учившаяся в университете русская молодежь.

Авксентьев был как бы в фокусе окружавших его. Он обращал на себя внимание прежде всего внешностью: блондин с шапкой кудрявых волос, будущий поклонник Канта, «с душою прямо геттингентской», был в полном расцвете лет, уверенный в своих духовных силах. Он имел уже и некоторое имя и пользовался авторитетом, как недавний председатель московского союза студенческих землячеств, пострадавший за свои убеждения: за руководство студенческой забастовкой он был исключен из университета. К нему относились почтительно, смотрели на него снизу вверх. Соответственно держал себя и Авксентьев — глядел на окружавших сверху вниз. Тем меньше внимания он мог уделить незакончившему среднего образования гимназисту.

Из столовки всей компанией отправились мы на доклад некоего Гурвича (или Гуревича). Председательствовал на собрании Авксентьев — и уже с того времени привык я видеть его на председательском месте. Доклад был на специальную тему по философии и показался мне настолько скучным, что я покинул собрание, не дождавшись обмена мнениями.

Берлинская встреча была случайной и мимолетной. Не пришлось мне ближе сойтись с Авксентьевым и весной пятого года, когда, закончив образование в Галле, молодым доктором философии стал он появляться на полулегальных закрытых собраниях, устраиваемых московской организацией эсеров. Авксентьев читал доклады не на узко партийные, программные или тактические темы, а на общие — «идеологические» или «миросозерцательные». Как сейчас слышу излюбленные им начальные слова: «Петр Лаврович Лавров» и без напряженного поиска нужных слов и выражений плавно льется речь, сопровождаемая откидыванием налезавшей на глаза пряди волос. Авксентьев был темпераментным оратором французской школы: не избегал плеоназмов, повышения и понижения приятно звучавшего баритона и выразительной жестикуляции похлопывания по столу ладонью или даже кулаком. Вместе с тем он обладал хорошо сложенным мозговым аппаратом, острым аналитическим умом, безукоризненной логикой, превосходной памятью. Естественно, что пользовался он популярностью у своей аудитории и стал любимцем многих слушательниц.

Однако, к нам в Москву Авксентьев попадал лишь на короткое время — наездами. Его деятельность протекала

главным образом в Петербурге, где он ораторствовал на крупнейших заводах и в частных салонах и вскоре занял место товарища председателя Совета рабочих депутатов по представительству от партии с. р. (при председателе Хрусталеве-Носаре). Я не приходил в соприкосновение с Авксентьевым до 1909 и 1911 гг., когда на время приезжал в Париж, где Авксентьев осел уже прочно в качестве бежавшего из Сибири эмигранта. Здесь я встречался с Авксентьевым у наших общих друзей Фондаминских и ближе узнал его в беседах за чайным столом и за игрой в винт, к которой он относился серьезно, потому что играл умеючи, не то что некоторые из его партнеров, как жена Фондаминского или я. Слышал я и одну-другую лекцию по истории философии, которые Авксентьев читал в созданном русскими эмигрантами подобии Народного университета. Имел я дело с ним и по «партийной линии». Он был членом Центрального Комитета и одним из редакторов «Знамени труда», в котором и я сотрудничал.

Авксентьев был отличным оратором и с бóльшей охотой говорил, нежели писал. Но когда писал, он тщательно отделывал свои статьи. Он был одним из главных вдохновителей «Почина» и позднее «Призыва», в которых подвергались пересмотру устаревшие пункты некритического социализма в эсеровской программе и тактике. Как автор, Авксентьев активнее всего был во время первой мировой войны в «Призыве», где вместе с Плехановым, Фондаминским, Слетовым, Вороновым-Лебедевым и др. отстаивал идеи оборончества и патриотизма против скрытых и явных пораженцев. За полтора года выпущено было 60 номеров «Призыва» (последний номер вышел уже после революции — 31 марта 1917 г.), и перу Авксентьева принадлежало там свыше 40 статей.

С возвращением Авксентьева из эмиграции и с моим переездом в Петроград мы стали встречаться на общей работе — партийной и в бюро Исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов. Авксентьев председательствовал, а я входил в бюро рядовым членом. Именно здесь был разработан, в частности, «Наказ о земле», который, по циническому признанию Ленина и Троцкого, был заимствован ими у эсеров и демагогически использован после Октября для привлечения крестьян на сторону чуждых им марксистов-большевиков.

Когда Авксентьев был назначен министром внутренних дел, я встречал его редко — только на партийных собраниях, где Авксентьев выделялся в качестве лидера правого крыла эсеров и подвергался за то атаке со стороны левых и так называемого «левого центра», возглавленного В. М. Черновым. Постепенно имя Авксентьева сделалось неотделимым

от правых эсеров или эти последние стали неотделимы от Авксентьева.

Этот собирательный тип «правого эсера» имел свои положительные и отрицательные черты. Отрицательно его можно охарактеризовать как — не-монист, не-абсолютист, не-максималист, не-догматик, не-фанатик, верующий в свою непогрешимость, и не-эгоцентрик, ставящий себя или группу, к которой принадлежит идеологически, политически, профессионально, в центр мироздания. В положительной форме о правом эсере можно сказать, что он хотел быть реалистом и вместе с тем идеалистом, свободолюбцем и патриотом, признававшим и даже преклонявшимся перед многими достижениями других культур и народов, — социалистом-гуманистом и, по трагической необходимости, революционером. «Лишь как творцы можем мы уничтожать», — цитировал Авксентьев любимого им Ницше в своей диссертации «Кант и Ницше», вышедшей и на русском языке под названием «Сверхчеловек».

Все эти начала были дороги Авксентьеву, и всю свою сознательную жизнь он посвятил их усвоению, «проработке» и пропаганде.

Я стал встречаться с Авксентьевым ежедневно, а то и по несколько раз в день, когда его избрали председателем Совета Республики, так называемого Предпарламента, а меня секретарем этого недолговечного учреждения. Авксентьев председательствовал и на общих собраниях, и на собраниях старейшин, и в бюро. Он умел ставить вопросы, направлять и резюмировать прения, формулировать предложения. К нему относились с уважением представители всех партий, групп и организаций, если не считать, конечно, большевиков, которые тотчас после оглашения их декларации Троцким покинули Предпарламент. И товарищи председателя — Пешехонов от энесов, Набоков от к. д., Крохмаль от меньшевиков — ценили умение и такт председателя. Но Предпарламент был обреченным учреждением, фатально приближавшимся к своему концу, несмотря на всю развитую им деятельность по лучшим образцам западно-европейского парламентаризма.

Разгон Предпарламента входил в разработанную большевиками программу захвата власти и был приведен в исполнение в роковой для истории России день 25 октября. Мы встретились с Авксентьевым на следующий же день в Комитете спасения родины и революции. Авксентьев вынужден был вскоре скрыться с горизонта и уйти в подполье, так как большевики «пришили» ему призыв к восстанию юнкерских школ и усиленно разыскивали его. В декабре им это удалось. Авксентьева арестовали на квартире его знакомых — Денисевич, где его выдала не то прислуга, не то дочь хозяина Ия,

приобретшая впоследствии незавидную известность в качестве обольстительной чекистки[1]. С арестом Авксентьева эсеровская фракция членов Учредительного собрания и с нею Учредительное собрание лишились своего естественного и бесспорного кандидата в председатели.

Через несколько месяцев Авксентьева освободили из Петропавловской крепости — не без содействия так наз. левых эсеров, сотрудничавших тогда с большевиками. Он промелькнул на очередном Совете партии и направился, как и другие, за Волгу. Его «напарником», говоря советским языком, был его давний приятель Борис Николаевич Моисеенко, несколько месяцев спустя, 24 октября 1918 г., после пыток убитый колчаковскими офицерами в Омске. Авксентьев и Моисеенко обошли линию фронта гражданской войны с севера и после длительного и трудного путешествия по болотам и топям попали в Самару, потом в Челябинск, Уфу и Омск.

Как известно, Авксентьев был избран главой нового Всероссийского Временного правительства, так наз. Уфимской директории. Если это и давало удовлетворение личному честолюбию, политически и морально оно было связано с очень тяжелыми переживаниями. На Авксентьева ополчились и его всячески поносили и большевики, и враги справа, которые не могли ему простить — одни того, что он демократ, другие — что он левый, социалист и революционер. Да и в своей партии Авксентьев вызывал много нареканий и даже травлю со стороны тех, кого возмущало соглашательство с правыми и умеренными и кто предлагал отказаться от политики «обволакивания» чуждых демократии элементов и действовать решительно, в согласии с большинством Комитета членов Учредительного собрания.

Уфимское правительство вскоре было свергнуто в результате заговора нескольких министров (Вологодского, Колчака, Ив. Михайлова) и прямого насилия со стороны невежественной, пьяной и разнузданной атаманщины (полковники Красильников, Катанаев, Анненков, Волков), царившей тогда в Омске. Авксентьев с ближайшими своими товарищами (Зензиновым, Аргуновым, Роговским) были арестованы и только благодаря вмешательству союзников, собиравшихся днем позже официально признать правительство Авксентьева, избегли смерти. Провозглашенный в результате переворота Верховным правителем адм. Колчак поставил одним из условий освобождения Авксентьева и других — отказ от политической деятельности в будущем. Авксентьев отверг условия, заявив посреднику: «Передайте вашему адмиралу,

---

[1] В «Тюрьмах и ссылках» Р. Иванов-Разумник говорит: «В начале деятельности ЧК славилась женщина-провокаторша и следовательница-садистка Денисевич» (с. 368).

что он может делать со всеми нами, что хочет, но мы ни одного из этих условий не подпишем».

Заслуживает быть отмеченным, что уфимская и омская эпопеи не оставили в Авксентьеве чувства озлобления. Очень самолюбивый, Авксентьев не был злопамятен в политике и сравнительно легко примирился с нанесенной ему обидой, — он считал это как бы условием или неизбежным последствием политической «игры». И когда мы встретились в Париже в конце мая 1919 г., Авксентьев не примкнул к тем, кто высшую политическую мудрость видел в двойном отрицании — ни-ни: «ни Ленин — ни Колчак». Он по-прежнему видел в большевиках врага № 1 и полностью вложился в дело борьбы с ними.

В Париже заседала конференция мира. В Берне — бюро того, что осталось после военной катастрофы от Второго Социалистического Интернационала. Оставшиеся налицо члены Учредительного собрания эсеры решили обратиться в оба учреждения с своими записками, в которых изложить, в чем, по их мнению, заключаются интересы России и международного мира. В течение нескольких дней собирались мы на квартире Авксентьева (6 bis, Rue Campagne lère) в Латинском квартале, чтобы выработать соответствующие документы. Как всегда, председательствовал Авксентьев, и на него выпала нелегкая задача: к первоначальному проекту обращения к мирной конференции внесено было 97 поправок! .. После утомительного обсуждения этих поправок, составленное мною обращение к Интернационалу прошло уже гораздо легче — почти на рысях. Оба документа датированы 15 июня 1919 г.

Теперь мы стали встречаться с Авксентьевым очень часто — у друзей и на различных собраниях: в организованном нами Российском обществе защиты Лиги Наций, в Российской Лиге прав человека и гражданина, на партийных собраниях, на разных докладах. Авксентьев обычно избирался председателем. Мы сдружились, но не скажу, чтобы были интимно близки друг другу. Внешним выражением этого было то, что мы продолжали говорить друг другу «вы». И это несмотря на то, что и до нашей совместной работы в «Современных записках» я считал Авксентьева наиболее близким мне единомышленником — идеологически и политически — даже в пределах общей нам партии и фракции.

А. И. Гуковский

Александра Исаевича Гуковского я не знал так долго и так хорошо, как, думаю, знал других своих соредакторов.

Первое, мимолетное, знакомство состоялось в неповторимую пору 1-й Государственной Думы в Петербурге. Впервые стали тогда выходить легально эсеровские газеты, меняя лишь свое название, когда их одну за другой закрывала власть. Очутившись в Петербурге, я принес в «Дело народа» продукты своего творчества: «Сила власти и сила мнения» и аналогичные статьи на общие политико-правовые темы. Меня направили к А. И. Гуковскому, заведовавшему юридическим отделом.

Я встретил очень невысокого роста, прихрамывающего, коренастого, лет сорока мужчину с большим лысым лбом и выразительными глазами. Он был любезен и предупредителен, печатал все то немногое, что я сдавал, но никакого личного общения между нами не вышло. То ли он был чрезмерно загружен редакционной работой, то ли природная его замкнутость сказалась, то ли разница в возрасте давала себя знать, — но знакомство не оставило на мне никакого впечатления, кроме того, что я имел дело с человеком скромным, молчаливым и обязательным.

Позднее мне многократно приходилось слышать Александра Исаевича на эсеровских совещаниях и съездах. Он был в оппозиции справа к руководителям партии и подвергал их стратегию и тактику суровой критике. Пришлось отказаться от первоначального мнения, что Гуковский человек молчаливый. На собрании его трудно было остановить. Снова и снова поднималась его небольшая фигурка и простым языком, методически и спокойно, но упрямо развивал он свои доводы, стараясь отстоять то, что считал правом, своим личным правом или правом, вытекавшим из положения и требовавшим общего признания.

Со стороны — и, особенно, противникам — требования Гуковского к порядку, по личному вопросу, для внесения в протокол и проч. казались придирчивыми и мелочными, а сам он производил на многих впечатление педанта и формалиста, сутяги и «крючка», поднаторевшего в вопросах процедуры. В действительности же это была борьба за право, ставшая органической потребностью Гуковского. Он меньше всего был конформистом, но чужие взгляды и мнения он отвергал, опровергая их логическими доводами и взывая к разуму, а не к эмоциям. Поэтому он и спорил так неустанно, не боясь остаться в меньшинстве или признаться в собственной ошибке.

Юрист по образованию, профессии и, можно сказать, по призванию, Гуковский был народником, сторонником субъективного метода в социологии и, тем самым, противником исторического материализма и марксистского понимания классовой борьбы, которое пыталось простой естественно-исторический факт «возвести в какой-то регулятивный прин-

цип общественного поведения». Гуковский утверждал, что то, что принято было считать правовым нигилизмом у русского крестьянства, на самом деле было «пренебрежением не к праву как таковому, а к действовавшему закону». Отсюда и чуждость народа интересам существующего государства, опирающегося на «основанный на зле и лжи» закон.

В воспоминаниях В. М. Чернова говорится, что для А. И. Гуковского правовая идея была как бы «душой» всего социализма: «социализм без вскрытия его основной правовой идеи был для него неполным». Самый смысл русской революции Гуковский видел в том, чтобы «хартия личных прав и вольностей» в декларации французской революции была бы восполнена «хартией углубленного социального содержания» («Перед бурей». С. 264). В 1906 г. я не имел случая беседовать на эту тему с А. И. А когда мы стали встречаться изо дня в день в «Современных записках», романтическое отношение к революции ушло у Гуковского в безвозвратное прошлое. Он мучительно размышлял о «Русском бунте», бессмысленном и беспощадном, разыгравшемся в России, и так именно озаглавил свою последнюю работу, начатую незадолго до заболевания.

Жизнь Гуковского — типичная жизнь русского интеллигента конца XIX и начала XX века. В «Воспоминаниях» В. А. Маклакова, выпущенных издательством имени Чехова в 1954 г., имеется очень интересное описание встречи с А. И. Гуковским. Первая встреча произошла на Страстном бульваре в Москве 26 ноября 1887 г., когда старший годами студент-юрист 4-го курса Гуковский пытался вовлечь в «политику» своих более молодых коллег, в том числе Маклакова. Гуковский «сочинял все студенческие прокламации того времени» и просвещал «политически» Маклакова, давал ему читать нелегальную литературу, но всячески избегал его подвести.

Вскоре Гуковский был арестован и провел в заключении[1] три года. По освобождении он взялся за перевод книги Токвиля «Старый режим и революция» для издательства, затеянного Маклаковым и другими студентами под руководством

[1] В. А. Маклаков утверждает, что Гуковский был «посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость» и там «выбросился из окна и разбился». Это не могло случиться в Шлиссельбургской крепости: в списке сидельцев Шлиссельбурга имени Гуковского нет; на короткие сроки в Шлиссельбург не заточали; и выброситься из окна там было невозможно не только благодаря неотступному надзору стражи, но и из-за характера помещений, в которых содержали заключенных в конце прошлого столетия.

По моим сведениям, Гуковский покушался на самоубийство, находясь в Доме предварительного заключения: он бросился с галереи внутренней лестницы и при падении повредил ногу.

знаменитого Павла Виноградова (впоследствии сэр Поль Вайногредов). Перевод Гуковского «привел в восторг Виноградова; перевод был не только лучше других, но хорош абсолютно». Издатели послали переводчику следуемый гонорар — «пять рублей за лист». Но к этому времени Гуковский пришел к заключению, что сочинение Токвиля «отстало и распространять его вредно, поэтому он от перевода отказывается и полученные деньги возвращает назад». Виноградов написал Гуковскому, что сочинение Токвиля полезно, а Маклаков, — что Гуковский подводит издателей, так как его трудно заменить. Виноградову не удалось переубедить Гуковского, но ссылается Маклаков на письмо Гуковского, «так как подводить он нас не хотел, то перевод он все-таки кончит. Но не желая быть прикосновенным к сомнительному делу, он отказывался от получения какой бы то ни было награды за труд» (с. 66 и 71—72).

С образованием партии социалистов-революционеров Гуковский примкнул к ней и содействовал ей, главным образом, литературной работой. Он писал в «Русском богатстве», редактировал «Жизнь Юга», а когда возникла возможность хотя бы эфемерного существования эсеровских органов, был в числе их редакторов. После Февральской революции он был избран председателем Череповецкого Земского собрания, гласным новгородского губернского земства и позднее членом Учредительного собрания от новгородского избирательного округа. После разгона Учредительного собрания Гуковский принял участие в вооруженной борьбе против большевиков и управлял отделом юстиции в «Верховном управлении Северной области», возглавленном Н. В. Чайковским. Арестованный и отправленный вместе с другими членами «управления» на Соловки, он вскоре был освобожден и избран городским головой Архангельска. В октябре 1919 года произведено было покушение на жизнь А. И.: вечером к нему на квартиру явился неизвестный и выстрелил в него в упор. Позднее выяснилось, что это был «чаплинец» — сторонник капитана Чаплина, командовавшего северным фронтом до ген. Миллера и бывшего «душой» переворота.

А. И. долго находился между жизнью и смертью, — в конце концов, выжил, но рана в плече болезненно чувствовалась всю последующую жизнь. Очутившись в Париже, Гуковский принял вместе с другими участие в Совещании членов Учредительного собрания, в создании Российского общества в защиту Лиги Наций, в Российской Лиге прав человека и гражданина, во всех совещаниях и съездах партии с. р.

А. И. от природы был замкнутый человек. Свои сомнения и душевную боль он переживал сам с собой. Когда мы сошлись на редакционной работе в «Современных записках»,

ему минуло 55, и самый его возраст уже не располагал к чрезмерной близости и откровенности. И я, и мои соредакторы знали Гуковского меньше, чем мы знали друг друга.

М. В. Вишняк

О пятом редакторе все главное, может быть, с излишними подробностями, рассказано в книге «Дань прошлому», выпущенной издательством имени Чехова в 1954 г. и кончающейся началом 1918 г. — разгоном Учредительного собрания. К тому, что сказано выше в связи с рассказом о других редакторах «Современных записок», прибавлю следующее.

После разгона Учредительного собрания, вместе с многими другими, я оказался на положении нелегального, как подписавший вместе с председателем У. с. обращение к избирателям и народам России. Случайным образом попал я в руки большевикам и так же случайно, чтобы не сказать чудом, вырвался из их лап.

Это случилось на Петра и Павла, выпавших в 1918 г. на пятницу. Общественная жизнь в праздничный день затихала, и я решил воспользоваться досугом, уехать на три дня из московской сутолоки к сестре, врачу на Высоковской мануфактуре, близ Клина. Оставалось закончить неотложные дела, чтобы отправиться с женой на Николаевский вокзал. Одним из таких дел было возвращение рукописи с отзывом о ней, который у меня запросило эсеровское издательство. Рукопись надо было вернуть в книжный магазин «Колос», помещавшийся на Никитской, близ Чернышевского переулка. Был солнечный день, и радостно было на душе в предвидении трехдневной передышки после пережитого.

Отворив наружную, а потом и внутреннюю дверь магазина, я не обратил внимания на нескольких юнцов, в непринужденной позе расположившихся на прилавке. Не успел я, однако, переступить порог, как двое из них в похожих на гимназические курточках подскочили ко мне, и вежливехонько взяв под руки, размеренным шагом увлекли в соседнюю комнату. Там они опорожнили мои карманы, — в частности, изъяли удостоверение домового комитета на право отлучки из Москвы на три дня. С установлением моей личности все мечты об отъезде и отдыхе рушились. Предстояло заключение, а, может быть, и худшее. Но тягостнее всего я ощущал невозможность отдохнуть — вернее, передохнуть — хотя бы на три дня. Если бы мне предложили за три дня непотревоженного отдыха отдать три года жизни, я без колебаний согласился бы.

В большевистскую засаду попал я не один. До меня задержали члена эсеровского Ц. К. литератора-биолога В. В. Лункевича, боевика Сергея Моисеенко и других. Нам дозволено было свободно переходить из одной комнаты в другую. Я метался в поисках возможности улизнуть. Моисеенко окончательно меня обескуражил:

— Уже искал!.. Ничего нет! В окно не вылезешь, а выход всего один — в наружную дверь...

Я пал духом. Приткнувшись к стене близ входной двери, молча прислушивался я, как арестованные препирались с сидевшим на табурете с винтовкой в руках молодым чекистом. Ему доказывали, что он и его товарищи те же царские опричники, так же устраивают засады для ловли неблагонадежных и прочее. Чекист как мог отражал нападки, не слишком беспокоясь об убедительности своих доводов: он точно знал, что правда, вся правда, единая и единственная, на стороне пославших его. Это препирательство не только не увлекало — оно раздражало: казалось бессмысленным, никчемным, даже унизительным.

В разгар спора приоткрылась дверь и просунулась голова нищенки. Ее отогнали. Нелепая дискуссия продолжалась. Чекист начинал горячиться, перекладывая винтовку из одной руки в другую. Последующее случилось молниеносно, инстинктивно. Если бы я задумался на минуту, все произошло бы совсем иначе или вовсе не произошло бы.

Чья-то просунувшаяся снаружи рука — вероятно, новой нищенки — приотворила дверь, и прежде, чем я что-либо осознал или кто-нибудь заметил, я пригнулся, проскользнул под рукой и мигом очутился у наружной двери. Чекист с винтовкой продолжал защищать свою правду. Я очутился на улице без шляпы и, что было хуже, без копейки денег. Сердце усиленно билось. Я действовал машинально. Рядом с «Колосом», на самом углу Чернышевского переулка, оказалась колониальная лавка. Я забежал туда и попросил первое попавшееся на глаза... огурцы!.. Тут же «раздумал», спохватившись, что огурцы ни к чему и уплатить за них нечем. Продавцу я должен был показаться не в себе. Вышел я из лавки спокойно, но, завернув за угол, побежал по Чернышевскому переулку. По пути сообразил, что поблизости редакция «Русских ведомостей». Поднявшись на второй этаж, я попросил разрешения позвонить по телефону по срочному делу: надо было предупредить дома, что будут «гости» и необходимо принять заблаговременно меры к уничтожению компрометирующих бумаг.

Как уже было сказано, на волжский фронт я пробовал попасть вместе с Фондаминским, и нам это не удалось. При возвращении из Макарьева в Москву я снова был задержан большевиками в Кинешме. Пароход пристал поздним вече-

ром и на поднимавшихся по трапу пассажиров блюстители советского правопорядка наводили электрический фонарь. Они судили по внешности и отделяли «чистых» от «нечистых» или подозрительных. Жену пропустили, а мне крикнули «направо» и — повели.

Привели в небольшую комнату по соседству. Опросили: кто, откуда, куда, зачем? Подняли крышку корзинки и обнаружили географическую карту.

— А, карта! .. Для чего она у вас? ..

Я пояснил, что, как статистику-кооператору, мне предстояло объехать костромскую губернию. Раздались иронические, мало обнадеживающие восклицания. Атмосфера как будто сгущалась. Тем не менее меня отпустили. Этому трудно было поверить. За дверями я нашел жену, в тревоге кружившую около дома и близкую к отчаянию. Мы помчались на вокзал — подальше от злополучной пристани. Пред нами промелькнули красные фонари уходившего в Москву поезда. Это не умалило радости от неожиданно обретенной свободы. Еще одна случайность, завершившаяся благополучно, несмотря на все шансы кончиться иначе. Ночь на заплеванном вокзальном полу, устланном нами газетами, прошла незаметно.

О совместном с Фондаминским путешествии из Москвы в Вильно и последующей встрече в Киеве было рассказано выше. Здесь прибавлю, что до этой встречи пришлось пережить еще одну рискованную неприятность.

Чтобы попасть из Вильно в Киев, надо было пересечь новую «границу» — германо-украинскую в Гомеле. Многострадальная мать русских городов в годы гражданской войны пережила едва ли не больше других. Здесь чаще чем где-либо происходила «смена власти»: украинцы, большевики, немцы, украинцы с немцами, украинцы без немцев, опять большевики, деникинцы, снова большевики — российские, российско-украинские, поляки, большевики. В октябре 1918 г. Киев находился формально под властью генерала Скоропадского, провозглашенного гетманом Украины. Фактически же власть Скоропадского контролировали немцы, а опиралась она на российские, преимущественно юнкерские и офицерские формирования из добровольцев.

Политическое положение было спутанное. В Киев потянулась не только отощавшая на великороссийско-советских хлебах зажиточная буржуазия, — чтобы прежде всего отъесться. Съехались сюда и политические деятели в поисках безопасности для подготовки или продолжения борьбы против захватчиков власти в центральной России. В наличности были представители всех политических группировок, — не исключая и большевиков, временно укрывшихся в подполье. Скоропадский не поощрял антибольшевистской активности

россиян, но и не возбранял ее. Выходило бесконечное множество разных изданий — от желтых и юмористических до «Киевской мысли», увядавшей, но все же не утратившей пыла и не сдававшей своих демократических позиций. С Фондаминским навестили мы «Киевскую мысль» и познакомились с прославившимся позднее Давидом Заславским. Он очень мрачно смотрел на будущее России и свое собственное. Но ехать с нами на восток для продолжения борьбы с большевиками Заславский решительно отказался:

— Нет, никуда не поеду! А если придут большевики, уйду от политики в нору — переключусь на культурную работу. Буду учить русской грамоте. . .

Не пресекая антибольшевисткой деятельности, правительство Скоропадского вместе с тем очень косо смотрело на всех левых, — особенно на социалистов, если те ориентировались не на украинцев и немцев, а на Россию и Запад. Едва ли не главным лицом, направлявшим внутреннюю политику Скоропадского, был Игорь Александрович Кистяковский — мой профессор по гражданскому процессу в Москве, лекции которого мало кто из студентов посещал, и который сам наукой интересовался лишь во вторую очередь: к Кистяковскому перешла клиентелла С. А. Муромцева, когда тот ушел с головой в политику. Кистяковский больше был заинтересован в своих гражданских делах, нежели в науке. Киевлянин по происхождению, он в Москве держался кадетской среды и либеральных взглядов. Ко времени образования правительства Скоропадского, в котором Кистяковский занял пост министра внутренних дел, он проникся крайне реакционными взглядами. С его братом, известным философом права Богданом Александровичем, я находился в добрых отношениях еще по Москве. И при посещении его в Киеве услышал:

— Знаете, у Игоря упрощенная философия управления и власти. Он на меня напустился: ты спрашиваешь, что такое управление?! Если лошадь закинулась и не слушается, ее берут под уздцы и — по глазам, по глазам! . . А ты о какой-то проблеме властвования распространяешься. Все это чепуха! . .

В Киеве мы жили в ожидании, когда откроется путь на Одессу, где большевиков сменили украинцы-партизаны. Мы пробовали съорганизовать более широкое объединение для борьбы с большевиками. На одно из собраний, созданных с этой целью, явились представители рабочих профессиональных союзов, земских и городских учреждений и члены Всероссийского Бюро земств и городов, оказавшиеся в Киеве. По должности члена Земско-Городского бюро участвовал в этом собрании и я. Собрание было выслежено полицией, которая явилась и арестовала всех участников. Поздней ночью повели нас пешком через весь город в тюрьму. Вели враз-

брод и во тьме. Я наткнулся на громадный столб, служивший для вывешивания плакатов и объявлений, и мог, как мне казалось, без труда скрыться. Но я не поддался искушению: нас, человек 15, арестовали совершенно зря — мы не только не совершили ничего предосудительного, но его и не замышляли. Арест не мог затянуться надолго, тогда как пребывание на нелегальном положении в незнакомом городе должно было быть чрезвычайно тягостным. Обрывки этого рода соображений промелькнули в сознании, и, обойдя столб, я присоединился к тем, кого подгоняла стража. Нас привели в знаменитую Лукьяновку.

Это была одна из крупнейших тюрем царского времени, известная суровым режимом и смелым побегом социал-демократов-«искровцев», среди которых был прославившийся через несколько десятков лет наркоминдел Максим Литвинов. В огромной камере уже находились заключенные до нас. С нами помещение заполнилось, но не до отказа. Каждый располагал своей койкой. Они стояли в два ряда, оставляя свободным проход к двери. Надзор был строгий. Караул несли не украинцы, а русские. Иногда в камеру заглядывало начальство — офицеры. В длинных, кавалерийского покроя шинелях из солдатского сукна, с револьверами на кожаных поясах, хлыстами в руках и солдатскими Георгиями на груди. Начальство переступало порог, бросало недобрый взгляд, останавливая его на некоторых из нас, и, перекинувшись друг с другом неслышными замечаниями, исчезало.

Заключение длилось несколько недель. Днем время проходило как обычно в общей тюремной камере: суматошно, шумно, от чаю до обеда с короткой общей прогулкой и опять до чаю. Вечером, перед тем как улечься спать, начинались дебаты. Постоянной темой, вызывавшей страсти, был вопрос об интервенции, о ее принципиальной допустимости и целях, которые при интервенции преследовали и могли преследовать западные демократии — в первую очередь Франция и Англия.

Стоя во весь рост на койке в ночной рубахе — о пижамах тогда не помышляли, — в числе незначительного меньшинства доказывал и я со ссылками на прошлое французской и английской демократии и на самое существо демократии, что она не может не покоиться на международной солидарности, что политика Франции *не может* быть направлена против России и интересов российской демократии и, потому, ее выступление против советской власти, согласованное с российской демократией, есть факт положительный, заслуживающий признания и одобрения.

События показали, что я ошибался. Интервенция союзников почти всегда была запоздалой и недостаточной, преследуя не общедемократические цели, а свои, узконациональные, а то и партийно-политические. Недопустимость вмешатель-

ства с «принципиальной» точки зрения особенно усердно защищали перекинувшиеся вскоре к большевикам «украинский» бундист Рафес и Чемеринский, которые примирились с интервенцией, когда ее стали практиковать сами большевики.

Затянувшееся пребывание в Лукьяновке было не только томительно, оно было и опасно. Визиты заглядывавших в камеру офицеров ничего хорошего не предвещали. Но самое «сидение» не было мучительным. Хуже приходилось нашим близким. Жена вставала до рассвета, чтобы добраться до тюрьмы и доставить передачу к установленному часу. Трамвай бездействовал, и дорога отнимала часа два. Столько же времени требовалось на возвращение обратно. Приходилось нести не только съестное, но и постельные принадлежности. Не всем это было под силу и, особенно, — у ворот тюрьмы выдержать натиск толпы, преимущественно женщин, приносивших передачи своим близким, уголовным. Каждый пробивался вперед, соблюдая и не соблюдая очереди. Поднимался шум, перебранка, толкотня, иногда драка. Озверевшая баба однажды откусила у другой палец...

Среди арестованных вместе со мной были будущий «плановик», меньшевик А. М. Гинзбург; бывший при временном правительстве товарищем министра социального обеспечения доктор Богуцкий и другие. Жена Богуцкого добилась личного приема у министра внутренних дел Кистяковского. Она пыталась узнать, в чем нас обвиняют и почему не выпускают? Она рассказывала, что прием был совершенно неожиданный. Кистяковский рвал и метал, стучал по столу кулаком и кричал:

— Я их всех расстреляю!.. И Богуцкого, и Вишняка!..

С д-ром Богуцким я никак не был связан и познакомился с этим скромным и молчаливым человеком лишь в тюрьме. Мы оба провинились перед Кистяковским, по-видимому, в том, что не считали осмысленным бить закинувшуюся лошадь «по глазам, по глазам». Как бы то ни было, проходила неделя за неделей, но никого из нас не вызывали на допрос. Мы уже знали, что дни гогенцолернской Германии сочтены. Немцы еще делали вид, что ничего не случилось, но фактически готовились «смотать удочки» и эвакуироваться. Был риск, как бы в момент очередной смены власти власть ликвидируемая не ликвидировала своих жертв. Этого не произошло.

И в один прекрасный для нас день нам заявили, что мы свободны, и ворота тюрьмы так же послушно растворились перед нами, как шестью неделями раньше затворились за нами. Освободили нас благодаря столь же непредвиденному обстоятельству, как и арестовали. Подходившие к Киеву украинские сечевики с желтоблакитными знаменами побудили в спешном порядке убраться из Киева немцев, прихвативших при этом и своих ставленников. Не то самого гет-

мана, не то его министра внутренних дел, безопасности ради, уложили заживо в гроб и вынесли: «Судьба играет человеком» — «сегодня я, а завтра ты»...

Вечером того же дня собралась киевская городская Дума, и нас пригласили на заседание в качестве живой иллюстрации к негодному, скорее павшему, нежели свергнутому режиму. Но новая власть, Украинская директория, возглавлявшаяся Петлюрой и Винниченко, преследовала чуждые нам цели. И мы продолжали держать мысленно путь на восток, в Заволжье, где образовался фронт Учредительного собрания. Правда, этот фронт 18 ноября 1918 г. сменился другим фронтом — «Верховного правителя» адмирала Колчака. Но об этом нам стало известно много позже, и мы по-прежнему спешили скорее пробиться к морю, в Одессу.

Эта возможность открылась лишь в самом конце декабря 1918 г. благодаря личным связям Петра Моисеевича Рутенберга, бывшего в корниловские дни генерал-губернатором Петрограда. Он добыл разрешение на выезд — вернее, на «вывоз» — в предоставленном ему вагоне направлявшихся вместе с ним в Одессу. Вместе с Рутенбергом отправились Фондаминские, Гоц, П. П. Юренев, Н. В. Макеев, мы с женой и другие.

Железнодорожное полотно, как и все службы и станции между Киевом и Одессой, тщательно охранялись железнодорожными и полицейскими чинами Украинской директории. Во время остановки на станции в Фастове я по обыкновению прогуливался по платформе, когда неожиданно ощутил толчок. Не могу утверждать, что толкнули меня умышленно, но инстинктивно — или рефлекторно — я огрызнулся и, конечно, по-русски. Щирый и здоровенный украинец смерил меня взглядом сверху вниз и позвал стражника. Опять меня «повели» и привели в подобие убого обставленной канцелярии. За столом сидели две фигуры, обратившиеся ко мне на украинском языке. Я не понимал, чего хотят от меня, но на всякий случай предъявил удостоверение личности, выданное мне в Киеве. Толкнувший меня субъект стал что-то горячо доказывать. К счастью, это произошло еще в самом начале «петлюровщины». Позднее, когда человека «забирали», особенно если он был еврей, он исчезал бесследно: не всегда даже узнавали, когда, где и в связи с чем он исчезал. Меня отпустили, и я благополучно вернулся к своим.

Поезд остановился верстах в десяти от Одессы. Здесь железнодорожное движение кончалось, и сообщение с городом поддерживалось на лошадях — на пролетках и подводах. В Одессе, как и в Киеве, власть то и дело сменялась. И всякая власть оказывалась бессильной справиться с партизанами и хулиганами, ютившимися в предместьях и державшими в страхе всю округу. Мы с женой наняли подводу,

погрузили вещи, взгромоздились на них и двинулись в путь. Проехали около половины пути, когда обнаружили, что самая большая и наиболее ценная корзина с бельем и платьем исчезла. Артисты своего дела так ловко ее стянули, что мы, «шляпы», тут же сидевшие на подводе, этого даже не заметили. В поисках утраченного я бросился было в соседние безлюдные переулки, изрытые желтым песком, но вскоре вернулся обратно. Поиски, конечно, и не могли дать результата, а всякая встреча с местными завсегдатаями могла грозить серьезными последствиями. До Одессы мы добрались, растеряв половину своего имущества и без копейки денег.

Одесса только что установила у себя демократическую власть, но жила в неуверенности относительно ближайшего своего будущего. Жизнь была сумеречная. Не хватало света (электричества), воды, хлеба. Жили, изо дня в день недоедая, подмерзая и подкарауливая, когда появится вода в водопроводе, или запасаясь ею в соседних кварталах. В Одессе собралось много видных представителей политических партий, общественных организаций, земств, городов, кооперативов. К выходившим двум газетам, более «левым» «Одесским новостям» Хейфеца и «Одесскому листку» Штерна, вскоре прибавился двухнедельник «Грядущий день» под редакцией сотрудников былого петроградского «Дня» — С. О. Загорского и В. А. Канторовича. В двухнедельнике, кроме редакторов, стали писать Мякотин, Пешехонов, Потресов и другие. Писал там и я.

В конце марта 1919 г. бюро земств и городов командировало меня в Симферополь к Крымскому краевому правительству за финансовой помощью. Мне удалось выполнить миссию и получить 25 тысяч рублей казначейскими «сериями» буквально за несколько часов до перехода власти в Симферополе к большевикам. Население было охвачено паникой: бежали кто как мог, унося скарб на плечах, в детских колясках, на дрожках и телегах, — точно грозило нашествие варваров. А чернь на окраинах, не ведая собственной судьбы, издевалась над беспомощностью спасающих свои животы беглецов.

Севастополь оглушил сообщением, что Одессу, которую я оставил всего 5 суток назад и куда спешил вернуться, уже эвакуировали: ушли французские и греческие части и одновременно вынуждены были покинуть город те, кому приход большевиков сулил неминуемую гибель. Я решил эвакуироваться из Крыма и обратился с соответствующей просьбой не по «партийной линии» к входившему в состав крымского правительства малознакомому мне эсеру д-ру Никонову, а к кадету Набокову, с которым многократно встречался в 1917 г. в различных комбинациях: в Предпарламенте, в Таврическом дворце, в Смольном после ареста большевиками

членов Всероссийской Комиссии по выборам в Учредительное собрание и т. д. Набоков снесся с коллегами-министрами и разъяснил, что транспортные возможности крайне ограничены и эсерам предоставлено на пароходе всего одно место, которое по всей справедливости принадлежит Д. Страхову, известному в Крыму противнику большевизма, находившемуся под непосредственной угрозой большевистской расправы.

Отказ не подлежал обжалованию, и я не то что примирился с ним, но стал немедленно перестраиваться психологически и технически на то, что придется оказаться под властью большевиков. Душу и внешность свои я изменить, конечно, был не в состоянии, но третью акциденцию, унаследованный от царских времен паспорт, переменить было нетрудно. Я уже превратился в Марка Левина, когда счастье вновь повернулось в мою сторону совершенно случайно и неожиданно.

Мы с женой совершали прощальную прогулку со Страховым, которому на следующее утро предстояло сесть на «Трапезонд», уходивший под греческим флагом в Пирей. С нами был Николай Алексеевич Ульянов, геолог и эсер, примчавшийся из эмиграции после Февральской революции и избранный одним из членов московской городской управы, когда ее возглавил Руднев. Теперь Ульянов стремился обратно в Лозанну к своей работе в университете. Судьба каждого из нас была смутна и безрадостна, и прогулка наша была невеселая. Мы повстречались со знакомым Страхова, который с ним раскланялся и остановился для разговора. Мы прошли вперед, но оба собеседника нас скоро нагнали. Незнакомец, в несколько повышенном настроении, был член городской управы, грек по происхождению. Услышав от Страхова, что мы не имеем возможности уехать с ним вместе, так как у нас нет требуемой для посадки на «Трапезонд» визы, наш новый знакомый пришел в возбуждение:

— То есть как нет визы?! Греческой визы? .. Я добуду ее немедленно. Ваши паспорта! ..

И, на самом деле, не прошло и часа, как паспорта наши украсились поставленными греческим консулом печатью и визой. А утром следующего дня мы уже устроились на «Трапезонде», когда министры Крымского правительства с семьями: Винаверы, Набоковы, Никоновы и др. стали грузиться на «наш» пароход. При этом вышло осложнение: союзное, фактически французское, командование решительно потребовало, чтобы министры отчитались перед ним и передали денежные средства прежде, чем покинуть Севастополь, и министрам пришлось оставить «Трапезонд» и уехать тремя днями позже на меньшем судне — «Надежда».

12 апреля мы отплыли из Одессы и, не заходя в Константинополь, высадились через несколько суток в Пирее, чтобы направиться в Афины. Возникла трудная задача — найти кров за недорогую плату. Наши «квартирьеры» — Ульянов и Страхов — долго не могли ничего найти, пока им не «повезло». Они сняли две комнаты в тихом доме за невысокую плату, и мы тотчас же туда водворились в ожидании виз во Францию. Только через несколько лет уже в Париже Н. А. Ульянов раскрыл секрет, долго остававшийся для нас необъяснимым: почему в нашем тихом доме бывало так шумно по ночам? Оказалось, наши комнаты составляли флигель веселого дома...

Виз мы ждали несколько недель. И за это время осмотрели все, что можно было осмотреть, не выезжая из Афин, — на поездки у нас не было средств. Много раз поднимались на Парфенон и однажды были свидетелями необыкновенной сцены. Была ясная лунная ночь. В высоком и глубоком темном небе ярко сияли звезды. Светотень придавала непривычный, таинственный вид колоннам. И вдруг на сцене древнегреческого мира раздалась могучая русская песнь. Среди немногих посетителей ночного Парфенона, вместе с семьей Набоковых, была Нина Кошиц...

В начале мая пришла долгожданная виза, и мы поплыли в Марсель. Оттуда — в Париж. Там уже находились Авксентьев, прибывший из Сибири через Америку, Руднев и Фондаминский, эвакуировавшиеся из Одессы через Константинополь, и Гуковский — из Архангельска. Так собрались «пятеро дерзнувших».

Чем вызвано было их «дерзание», на что было направлено и в чем нашло выражение?

ГЛАВА IV

Возникновение журнала.— Политическая обстановка, задание, программа.— Редакторы.— Ф. А. Степун — заведующий литературно-художественным отделом.— Смерть А. И. Гуковского.

К половине 1920 г. в эмиграции — в частности, в Париже — оказались многие видные эсеры[1]. Среди них были и

[1] Социал-демократы меньшевики в своем большинстве не приняли участия в вооруженной борьбе против захвативших власть большевиков и еще пользовались в то время советской легальностью. В эмиграцию они попали лишь в 1922 г.

недавние члены Временного правительства. В том числе — А. Ф. Керенский.

Благодаря личным связям и авторитету А. Керенскому удалось добиться у Томаса Масарика и Эдуарда Бенеша, президента и министра иностранных дел Чехословацкой республики, обещания оказать материальное содействие делу русской свободы и культуры. Этот дружественный акт был тем более великодушен, что, в отличие от последующей чешской «акции» по отношению к русским и украинским эмигрантам, он не был связан с обязательством пребывания в Чехословакии лиц и учреждений, которым оказывалась помощь.

Закончив переговоры в Праге, Керенский в начале июля 1920 г. созвал в Париже совещание ближайших единомышленников, — по преимуществу эсеров, около 30 человек, среди которых были и один-другой эс-дек и эн-эс. Собрание в течение нескольких дней обсуждало общее политическое положение и вытекавшие из него для русской демократической эмиграции задачи.

При наличности многих разногласий все одинаково сознавали, что в создавшейся обстановке многое в политической работе приходится начинать, если не с «азов», то сызнова. И прежде всего — уяснить себе и другим причины катастрофы и крушения русской демократии. Естественно, что в этом плане пропаганда — не в американском, уничижительном смысле этого слова — выдвинулась на первое место. Решено было, поэтому, наряду с ежедневной газетой (будущая «Воля России» в Праге и «Дни» в Берлине и Париже) и издательством книг, брошюр и листовок, приступить к изданию и «толстого журнала», традиционного для русского интеллигентского сознания.

Собравшиеся разделились на группы. Каждой из них дано было свое задание — на началах полной автономии. Журнал был поручен первоначально — М. В. Вишняку, К. Р. Кочаровскому и Е. А. Сталинскому. Но Кочаровский был далеко, в Италии, вне пределов непосредственной досягаемости. С другой стороны, А. И. Гуковский заявил, что предпочитает работу в журнале всякой другой. Такое же заявление в частном порядке сделал и В. В. Руднев, намеченный было ответственным руководителем по изданию листовок, брошюр и книг. Сталинский без возражений принял предложение перейти в редакцию газеты, и первоначальное ядро будущего журнала составилось из Вишняка, Гуковского и Руднева.

На первом же собрании редакционной «тройки» мы все ощутили крайнюю слабость своих сил и признали себя недостаточно подготовленными к осуществлению возложенного на нас большого и ответственного дела. Решили, поэтому, прежде всего прибегнуть к помощи наших испытанных дру-

зей и единомышленников. Таковыми мы с Рудневым считали Авксентьева и Фондаминского. Гуковский также относился к ним обоим с большим уважением и симпатией. Втроем отправились мы приглашать наших друзей войти в редакцию, чтобы совместно впрячься в общее дело.

С Авксентьевым разговор был чрезвычайно краткий. Дружески аффектируя свою признательность за «честь», он тут же согласился войти в редакцию и всячески помочь. Сложнее обстояло дело с Фондаминским. Он наотрез отказался войти в «партийный» журнал и «партийную» редакцию. Другое дело, если бы журнал был межпартийным и редакция коалиционной! .. Вот как «Грядущая Россия»! ..

Два томика «Грядущей России» вышли в 1919—1920 гг. под редакцией М. А. Алданова, проф. В. Анри, А. Н. Толстого и Н. В. Чайковского. Средства на издание добыл Толстой у мецената-промышленника Денисова, — позднее отплатив ему за то карикатурным изображением в одном из своих романов. Денисову надоело субсидировать — сравнительно щедро — «Грядущую Россию», и в начале 1920 г. она приказала долго жить.

Но образ ее продолжал жить в сознании Фондаминского, — среди других авторов поместившего там пространную статью о «Союзническом мире»[1]. И. И. решительно отказывался от участия в чисто эсеровской редакции. Он приводил доводы и общего, и личного порядка — аргументировал не только от своих взглядов, но и от того впечатления, которое произведет однопартийный состав редакции на читательскую аудиторию и на писателей, к которым обратится редакция за сотрудничеством.

— Никто к нам не пойдет! .. У нас нет ни авторитета, ни опыта! .. Ничего из этого не выйдет, не может выйти! ..

Нельзя сказать, чтобы мы целиком отвергали все эти доводы. Кое в чем мы сами сомневались и вообще были не вполне уверены в успехе своего начинания. Но мы не придавали решающего значения трудностям и препятствиям. Не переоценивая собственных сил, все же мы не расценивали положения так безнадежно, как это склонен был в данном случае делать оптимист по натуре и убеждению Фондаминский.

В конце концов, в порядке чуть ли не личной уступки и одолжения друзьям Фондаминский все-таки согласился войти в журнал и делу помочь. В порядке же уступки его настроениям, не вовсе чуждым, как сказано, и другим, решено было

---

[1] Превосходная по форме, статья эта и сейчас может служить классическим образцом того, что по-английски именуется «wishful thinking», т. е. никакими фактами неоправдываемого представления о желательном или о том, что могло бы быть, но, увы, ни в какой мере не было.

не подчеркивать и не афишировать своей руководящей роли в журнале. Решено было поставить, вместо обычного, но в данном случае могущего отпугнуть: «Под редакцией», — менее претенциозное и меньше возражений вызывающее: «При ближайшем участии», за которым следовали фамилии пяти эсеров.

Повторяю, мы все отлично понимали, что настроения Фондаминского не были результатом личного его каприза. И мы не замедлили убедиться в том, что эти настроения присущи многим, даже сочувствовавшим нам и лично, и политически. Признавая себя недостаточно компетентными в области художественной литературы и критики, мы предложили М. А. Алданову, нашему общему приятелю и редактору недавно закрывшейся «Грядущей России», взять на себя заведование литературно-художественным отделом. Невзирая на свое стесненное материальное положение и политическую к нам близость, — Алданов считался энесом, — он вежливо отклонил предложение: сочувствуя делу, он все же предпочитал подождать и посмотреть, что из эсеровского начинания получится, — какова будет «физиономия» журнала.

Мы начали журнал собственными силами. Нашим консультантом по стихотворному отделу — сначала негласным, а потом и гласным — согласился быть наш общий друг М. О. Цетлин.

Вторая половина июля — глухое лето, мертвый сезон в Париже, самое неподходящее время для подготовки выпуска нового журнала. Пользуясь досугом, мы с Рудневым — оба без службы и обязательной работы — провели несколько недель на берегу Атлантического океана, в Ронс-ле-Бен, недалеко от Руаяна. Мы не переставали обмениваться мнениями о будущем журнале: об общем и о частностях — о «программе» журнала и его объеме, о сотрудниках, которых надо залучить, о технике печатания, выпуска, распространения.

По возвращении в Париж приступили к подготовительной работе. Организационно-техническая сторона легла главным образом на Руднева. Это определилось само собой: Руднев пользовался известностью как организатор не только в партийной среде. И он с большим увлечением и энергией взялся за дело: собирал сметы набора и печати, выбирал бумагу и шрифты, цвет обложки, рамочку и т. д. На редакционных собраниях сообща принимались все решения — и технического характера. Установили тираж первой книжки в две тысячи экземпляров, а там «видно будет».

Но как назвать журнал?

Название никак не давалось. Какое ни предлагали — каждый из нас и те, кого мы в частном порядке консультировали, — всякое вызывало сомнения и возражения: ничего не говорит — бесцветно и шаблонно; или, наоборот, — слишком о многом говорит и ко многому обязывает. В конце концов, остановились на подсказанном со стороны довольно все же рискованном сочетании двух знаменитейших названий. Т. И. Полнер предложил назвать новый журнал *«Современные записки»* в память или в честь *«Современника»* и *«Отечественных записок»*. Не без внутреннего сопротивления, за отсутствием более счастливого названия, на этом и порешили [1].

«Современные записки» создавались после поражения русской революции и сил, вступивших на путь вооруженной борьбы с большевиками. Последние торжествовали на всех фронтах. В прошлое ушли не только демократические правительства: уфимская директория с Авксентьевым во главе, северное управление, возглавлявшееся Чайковским, и крымское, возглавлявшееся С. С. Крымом. Поражение потерпели и те, кто сменили их в уверенности, что демократы-«полубольшевики» бессильны в борьбе с большевиками: адмирал Колчак, генералы Миллер, Деникин, Врангель. Первая книга «Современных записок» заканчивалась печатанием как раз в те дни, когда последние пароходы, шхуны, парусники, ялики — армада ген. Врангеля — покидали Крым, увозя в изгнание армию с ее воинской дисциплиной и соответствующей психологией.

Преобладающим типом в новой эмиграции оказался профессиональный «боец» — участник мировой и гражданской войны на множестве фронтов. Но наряду с громадой разного звания воинских чинов — от «иногородних» казаков и до титулованных генштабистов — в эмиграции очутились и весьма им далекие по своему штатскому облику, происхождению, укладу жизни, материальному положению и политическим устремлениям. В эмиграцию ушли и истинно русские патриоты, и «не знающий отечества» капитал, запасливо заручившийся, наряду с отечественным паспортом, и паспортом румынским, польским или грузинским. Здесь оказались и просто плававшие и путешествующие, застигнутые в Европе неожиданно разразившейся войной. Очутились в эмиграции и те, кто физиологически «не стерпели мертвого духа», советской «мертвой человечины», по выражению замечательной

---

[1] Наши «Современные записки» имели своего предшественника. Когда в начале 1906 г. был приостановлен цензурой на короткое время журнал «Русское богатство», вместо него стали выходить «Современные записки». А когда возобновленное в мае того же года «Русское богатство» было вновь приостановлено в сентябре 1914 г., его сменили «Русские записки», выходившие уже до самой Февральской революции 1917 г.

сказки-миниатюры, написанной Замятиным в 1922 г. Сюда же переместились и центры политической эмиграции в собственном смысле слова: кто находился в эмиграции в пору самодержавия и кого сделала эмигрантами диктатура большевиков.

Этот неполный перечень элементов, из которых сложилась зарубежная Россия после первой мировой войны, свидетельствует о пестром составе эмигрантской массы — измученной и озлобленной перенесенными физическими, материальными и моральными лишениями и невзгодами. Много раз пытались подсчитать русскую эмиграцию после первой войны. Ее исчисляли миллионами — в полтора, два и даже четыре миллиона, что было несомненным преувеличением, — и сотнями тысяч, в 700—800 тысяч, что было гораздо ближе к действительности. Безотносительно к численности, качественно эмиграция представляла собой хаотическое смешение племен, наречий, состояний и — политических верований. Общественность была распылена, и общественного мнения, можно сказать, не было. Не всегда можно было отличить отсебятину досужего самозванца или политического одиночки из былых «правителей» от голоса обывательской массы или ответственных руководителей. После пережитой катастрофы люди разочаровались и утратили веру во все и во всех, каждый становился своим собственным лидером, чтобы позднее стать собственным своим историком.

Это не попытка дать исторический фон или описать «базис», на котором, как его «надстройка», создались «Современные записки». Это лишь напоминание об общей обстановке, в которой возник журнал, и о той среде, с которой он был вынужден считаться, если хотел жить и иметь влияние. Необходимо с самого начала и со всей определенностью подчеркнуть, что «Современные записки» складывались далеко не всегда и далеко не во всем согласно плану и желаниям. Многое получалось в итоге сознательных усилий. Но кое-что получалось и непреднамеренно — в результате практической нужды, от книги к книге, в процессе редакционной работы. Подобно системе британского парламентаризма, многое произошло «само собой», в силу непредвиденных и часто случайных обстоятельств. Так возникла материальная возможность издавать толстый журнал, и так определился личный состав его редакции и сотрудников.

Предстояло оформить задачи «Современных записок» и публично заявить о том, к чему они стремятся — наметить «программу» или «направление». Проект такого заявления вызвался составить Руднев, прежде не проявлявший особой склонности к литературной работе. Его предложение было неожиданным. Неожиданным было и то, как хорошо он справился с задачей. После тщательного обсуждения и не-

многочисленных поправок намеченный им проект был единодушно одобрен. И первая книжка «Современных записок» открывается двухстраничным заявлением «От редакции», которое, на мой взгляд, и сейчас, через 37 лет, выдерживает испытание временем.

Интересующиеся могут проверить это впечатление, прочтя заявление полностью. Здесь же я ограничусь рядом извлечений, чтобы ознакомить с общей всем членам редакции политической и идеологической настроенностью в момент, когда журнал зачинался. Это существенно для понимания как последующих наших расхождений в идеологии и редакционной политике, так и для учета «эволюции» журнала, если говорить о таковой. Забегая вперед, прибавлю, что в последующем я не раз благодарил судьбу, что не был автором нашего общего редакционного Credo: тем самым моя ссылка на него, как на обязательный для всех нас текст «конституции», приобретала большую убедительность и неоспоримость.

В заявлении говорилось, что журнал посвящен «прежде всего интересам культуры», что ему «суждено выходить в особо тяжких для русской общественности условиях: в самой России свободному, независимому слову нет места, а здесь, на чужбине, сосредоточено большое количество культурных сил, насильственно оторванных от своего народа, от действенного служения ему. Это обстоятельство делает особенно ответственным положение единственного сейчас большого русского ежемесячника за границей. «Современные записки» открывают поэтому широко свои страницы, — устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке, — для всего, что в области художественного ли творчества, научного исследования или искания общественного идеала, представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры. Редакция полагает, что границы суждения авторов должны быть особенно широки теперь, когда нет ни одной идеологии, которая не нуждалась бы в критической проверке при свете совершающихся грозных мировых событий».

Вместе с тем редакция подчеркивает, что, будучи непартийным органом, «Современные записки» намерены «проводить ту демократическую программу, которая, как итог освободительного движения XIX и начала XX века, была провозглашена и воспринята народами России в мартовские дни 1917 года. Единство России на основе федерации входящих в ее состав народов; Учредительное собрание; республиканский образ правления; гарантии политических и гражданских свобод; всеобщее избирательное право в органы народного представительства и местного самоуправления; передача земли трудящимся на ней; всесторонняя охрана труда

и его прав в промышленности — таковы основные элементы программы, за которыми, по глубокому убеждению редакции, продолжает стоять подавляющее большинство населения России.

Тяжкий опыт истекшего трехлетия способен лишь укрепить убеждение в необходимости демократического обновления России. Не цель, но средства, ведущие к ней, должны подвергнуться критическому пересмотру, после того как, в результате большевистского переворота, на пути к этому обновлению стали такие новые препятствия, как государственный и хозяйственный распад, международная изоляция, рост внутренней реакции и пр. ... Лаконические и потому упрощенные формулы в отношении сложных и больных вопросов скорее вредны, чем полезны. Тем не менее редакция считала необходимым установить «основную свою точку зрения, что воссоздание России несовместимо с существованием советской власти; что оно возможно лишь в меру самодеятельности внутренних сил самого русского народа и что разрешение этой задачи, непосильной ни для одной партии или класса в отдельности, требует объединения усилий всех, искренне порвавших со старым строем и ставших на сторону революции 1917 года».

В заключение говорилось, что журнал не стремится стать «боевым политическим органом, неизбежно заостряющим свои лозунги и способным объединить лишь тесную группу единомышленников». Редакция обещала, что «Современные записки» будут «органом независимого и непредвзятого суждения о всех явлениях современности с точки зрения широких, очерченных выше начал».

Это было в ноябре 1920 года.

* * *

Когда ставшие революционерами волею самодержавной власти оказались волею большевистской диктатуры в эмиграции — вне возможности заниматься активной политикой, — они устремились к тому, к чему влекли их образование и духовные интересы: к столу, перу, книге и письму. Постепенно стали оформляться функции каждого из членов редакции. Они распределились по естественному влечению и профессиональным навыкам. Затрачиваемый труд признавался общественной службой и должен был быть безвозмездным (по Гнейсту), разве только человек отдавал свое время и труд журналу, не имея иных средств существования — личных средств или заработка на стороне.

Фондаминский, как сказано, сначала не соглашался войти в редакционную коллегию журнала, но, войдя, тотчас же стал его наиболее пламенным и восторженным пропаганди-

стом. Это отвечало его характеру и натуре: всем, чем он ни занимался, он занимался с воодушевлением. С кем бы ни встречался, он прежде всего и больше всего говорил о «Современных записках». Он сделался, можно сказать, «одержим» интересами журнала. «Современные записки» стали для него как бы целью в себе и высшей ценностью: *ради* «Современных записок» и в *интересах* «Современных записок» Фондаминский дозволял себе и другим то, что в других случаях считал недозволенным. В течение первых лет существования «Современных записок» журнал был главной заботой, чтобы не сказать средоточием жизни и мысли Фондаминского.

В его задание входило держать связь с сотрудниками, согласившимися участвовать в журнале, и с авторами, в сотрудничестве которых «Современные записки» были заинтересованы, но которые относились недоверчиво, а то и враждебно к начинанию «этих эсеров», «погубивших Россию», «двоюродных братьев большевиков» и т. п. Фондаминский был лично связан с рядом выдающихся писателей, раньше или позже оказавшихся в эмиграции. С З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским он был интимно близок, даже на «ты», еще с эмиграции царского времени. С Алексеем Толстым, Н. Н. Крандиевской и М. А. Алдановым он сблизился во время совместной эвакуации из Одессы и путешествия морем в Константинополь и Марсель. Он подружился и с И. А. Буниным, когда тот появился в Париже и стал снимать на лето ту же виллу в Грассе, на юге Франции, где из года в год проводили зиму и весну Фондаминские. Сблизился он также с будущим «американским писателем» В. В. Набоковым-Сириным.

Фондаминский придавал исключительное значение привлечению в журнал «знаменитостей» — беллетристов, поэтов, ученых с именем. Это соответствовало его новому умонастроению, когда былое увлечение политикой и революцией сменилось таким же увлечением культурой, наукой, потом религией и переоценкой их роли в переустройстве общественной жизни. Перед составившими себе имя в литературе, науке, искусстве Фондаминский буквально благоговел, стушевывался и пасовал. Это помогало ему успешно справляться с поставленным ему заданием. Способствовали тому и другие природные свойства Фондаминского: его искренность и обаятельность, чисто юношеское бескорыстное воодушевление, убежденность и убедительность, которые действовали и на скептического или недоверчивого собеседника. Фондаминский знал, что очарование великая сила и что «шармируя» можно часто добиться того, чего никакими другими средствами не достичь. Недаром англосаксы утверждают, что больше мух ловятся на мед, чем на уксус!..

Так или иначе — личным ли обаянием или рассчитанным воздействием на честолюбие и другие черты характера собеседника, но Фондаминскому почти всегда удавалось заполучить нужных и желательных «Современным запискам» авторов. А задача эта была нелегкая особенно в первое время и, главным образом, для отдела художественной прозы. Бунина, Мережковских, Шмелева, Бор. Зайцева, Андрея Белого, Осоргина, Куприна и других выдающихся писателей в эмиграции еще не было, когда создавались «Современные записки». Не было и Алданова-беллетриста: «Святая Елена, маленький остров», которой он дебютировал как романист, появилась в 3-й и 4-й книжках «Современных записок», и только после этого Алданов стал постепенно выходить на путь признанного и плодовитого русского беллетриста. Из видных и талантливых писателей в эмиграции 1920 г. налицо был один только А. Н. Толстой, который начал печатать роман «Хождение по мукам» в «Грядущей России» и оборвал роман, когда на второй книжке «Грядущая Россия» прекратила существование.

Фондаминскому пришла в голову счастливая идея попросить у Толстого продолжение романа с тем, что «Современные записки» перепечатают начало и уплатят гонорар за перепечатанное. Соблазн был слишком велик для Толстого, и он не устоял. В первой же книжке «Современных записок» появилось продолжение «Хождения по мукам», начало коего читатель мог прочесть в конце той же книги. Роман этот был главным литературно-художественным козырем в первых семи книгах журнала — до самого того времени, когда неожиданно для всех Толстой сменил вехи и откочевал к большевикам. В советской России Толстой закончил «Хождение по мукам» уже в другом, советском ключе, развернув его в «трилогию», полную клеветы и грязи по адресу лиц и групп, с которыми был связан в эмиграции.

В 70 книгах «Современных записок» были напечатаны произведения 42 беллетристов, романистов и драматургов — разных литературных школ и разного характера и степени дарования. Рядом со «стариками» и мастерами художественного творчества, были и «молодые», вернее, начинающие, иногда совершенно беспомощные не только литературно, но и грамматически. Каждый из этих последних имел своего литературного «патрона», которому предварительно читал свое произведение, а то и давал на исправление. Чаще всего за такого рода помощью начинающие обращались к Мих. Андр. Осоргину. Бывали беллетристы, которых приходилось править не одному члену редакции, и все же оставались погрешности против русского языка, за которые жестоко доставалось и автору, и редакторам от критиков и рецензентов.

В первых книгах журнала, помимо Толстого и Алданова, появились: Софья Федорченко («Сказки»), Зензинов («Русское Устье» и «Нена»), Гребенщиков («Чураевы»), Минцлов («За мертвыми душами»), Семен Юшкевич. Это было лучшее, что имелось тогда в эмиграции. Но его было все же недостаточно для того, чтобы сосредоточить на «Современных записках» внимание широких кругов читателей. Беллетристический отдел «Современных записок», можно сказать, расцвел лишь с появлением в эмиграции высланных из России писателей, равно как и тех, кому удалось добровольно уехать или бежать.

За время пребывания Андрея Белого за границей он давал в каждую книгу «Современных записок» — с 11-й (середина 1922 г.) по 17-ю — какое-нибудь произведение. В 12-й книге промелькнул рассказ Замятина. С 14-й, т. е. с 1923 г., стали печататься Зайцев и Шмелев; с 15-й — Мережковский; с 20-й (1924 г.) — Бунин; с 27-й — Осоргин; с 30-й — Сирин.

Много легче было с самого начала со стихотворным отделом. В первых книгах появились: Бальмонт, Цветаева, Крандиевская, Амари, С. Маковский, Макс. Волошин, Сирин, Тэффи. С 10-й книги стали печататься стихотворения Гиппиус и Вячеслава Иванова, с 13-й — Ходасевича, с 18-й — Бунина. И отдел «культуры», под которым разумелись общие вопросы философии, науки, истории и права, было сравнительно легко обслужить с самого же начала.

К нам сразу же пошли ученые и общественники, не связанные с партийными группировками или отколовшиеся от партии: Л. И. Шестов, М. И. Ростовцев, Б. Э. Нольде, С. А. Корф, А. А. Чупров, Т. И. Полнер, С. И. Метальников, В. А. Оболенский, Андрей Левинсон, Б. Ф. Шлецер, Г. Л. Ловицкий. «Лиха беда» была начать, а там пример оказался заразителен. И когда в 1922—1923 гг. советская власть удалила из России ненужных и неугодных власти ученых и писателей, почти все они, невзирая на различие во взглядах, стали сотрудниками «Современных записок». А. А. Кизеветтер и Н. А. Бердяев, Е. Д. Кускова и Н. О. Лосский, М. А. Осоргин и С. П. Мельгунов раньше или позже поделились в «Современных записках» своим восприятием России и Европы в свете советского опыта. Тем самым частично восстанавливалось и прямое осведомление читателей журнала о том, что происходило в России, под самыми различными углами зрения. Одни из вновь прибывших, как Кизеветтер и Осоргин, стали писать у нас из книги в книгу, сделавшись как бы неотъемлемым элементом «Современных записок». Другие только промелькнули раз-другой на страницах журнала, чтобы навсегда исчезнуть — уйти в другие издания или в свой собственный журнал.

Обслужить общественно-политический отдел было в известном смысле тоже нетрудно, поскольку каждый из нас был к этим вопросам так или иначе причастен.

Мы получили разное образование: Авксентьев и Фондаминский изучали философию, Руднев медицину, Гуковский и я — право. Но всю сознательную жизнь все мы одинаково интересовались, главным образом, общественно-политическими делами и проблемами. Ни один из нас не был профессиональным журналистом. Но каждый, если не считать Руднева и Фондаминского, в большей или меньшей мере участвовал в периодической печати. И в «Современных записках» мы писали на разные темы — экономические, правовые, философские, религиозные, не избегая и отвлеченных размышлений, — но они всегда бывали связаны с политикой.

Особое положение, как автор, занял Фондаминский, сосредоточившийся на одной определенной теме как бы несколько в стороне от политики. Параллельно с организаторской работой — позднее он любил называть себя французским термином «inspirateur» (вдохновитель), — Фондаминский занялся философско-историческим исследованием «Путей России»: пройденный в прошлом путь должен был осмыслить и осветить настоящее и будущее России. Он начал работу, не отдавая себе ясного отчета, во что она выльется, — без определенного плана и без приблизительного даже учета ее размеров. Фондаминский успел написать и опубликовать 17 очерков, из которых некоторые превышали все допустимые даже в толстом журнале размеры: в 32-й книге, например, очерк занял 62 страницы! Эта работа представляла собой попытку типологически, по-шпенглеровски, но в прямое противоречие с выводами Шпенглера, истолковать путь России, как путь Востока прежде всего.

Н. Д. Авксентьев участвовал в редактировании «Современных записок» лишь в самое первое время. Затем он стал принимать участие в заседаниях редакции лишь в исключительных случаях — по специальному приглашению. Но он всегда оставался ценным «мужем совета» и не отказывался никогда «представлять» журнал — выступать от его имени и по поручению редакции с речью на юбилейном торжестве и на траурной церемонии или в печати с соответствующей статьей, приветствием или некрологом. Опубликованные в «Современных записках» за подписью «Редакция» приветствия И. А. Бунину по случаю увенчания его нобелевской премией и Томасу Масарику к его 80-летию, как и статьи, посвященные памяти А. И. Гуковского, кн. Г. Е. Львова и Н. В. Чайковского, принадлежат перу Авксентьева. Писал он и за собственной подписью всегда на политические темы — чаще по просьбе коллег, нежели по собственной инициативе: «Patriotica», «Сложение сил», «Итоги», «Перспек-

тивы», «Признание или непризнание», «К 85-летию Е. К. Брешковской», «Масарик — философ демократии» — таковы были темы статей Авксентьева.

В. В. Руднев очень активно — порою даже ревниво — относился к своим редакторским правам и обязанностям. Как автор начинающий, он был сначала не уверен в себе. Но постепенно стал решительнее и от изложения и обозрения чужих взглядов перешел к высказыванию и защите своих. Он писал на самые разнообразные темы: от социально-экономических (рабочее законодательство, промышленное развитие, будущность буржуазии, русская деревня, помещичье землевладение, землепользование общинное и единоличное, коллективизация) до публицистических, религиозных и даже литературоведческих. Широта интересов заслуживала, конечно, всяческого признания и шла только на пользу журналу, хотя разнообразие тем мешало автору специализироваться на определенных вопросах. Писания Руднева не были ярки, но они всегда были обстоятельны и «честны» — с собой и с читателем. Он подвергал добросовестнейшему разбору все мыслимые ответы на поставленный вопрос прежде, чем предложить свой, — если таковой имелся.

Когда создавались «Современные записки», предполагалось, что главной публицистической силой будут Гуковский и я. Мы с самого начала старались привлечь к журналу родственных и близких нам по политическим устремлениям сотрудников. Такими были: А. С. Орлов, экономист и кооператор, мой близкий друг еще с гимназических времен; талантливый и плодовитый С. О. Португейз (Ст. Иванович, он же В. И. Талин); С. И. Гессен, много писавший на разные темы и проведший через «Современные записки» недостаточно оцененную книгу «Проблема правового социализма»; Г. Д. Гурвич — 20-х и 30-х годов, когда он еще не проявлял сочувственного отношения к советской власти; С. О. Загорский и другие. Все они были очень ценными сотрудниками, но все-таки несколько со стороны. Это означало, в частности, что они охотно писали о том, что их интересовало и когда их что-либо интересовало, а не о том и не тогда, что и когда редакция находила нужным в интересах читателя и журнала. Эта задача, поэтому, ложилась в первую очередь на Гуковского и меня. Нам предстояло и развить подробнее намеченную журналом общественно-политическую программу.

А. И. Гуковский был известен как опытный публицист, писавший в «Русском богатстве» и ряде провинциальных изданий и редактировавший эсеровские газеты, сверкавшие дарованиями в пору первой Государственной Думы. За мной было свыше 15 лет сотрудничества в различного рода изданиях — партийных, общих и юридических. Но, если не счи-

тать 1917—1918 гг., я всегда и всюду бывал скорее «гастролером», а не регулярным сотрудником.

Только мы с Гуковским получали вознаграждение из средств журнала, и потому на нас легли обязанности и технического порядка. Гуковский взял на себя кассу и счетоводство, я — сношения с сотрудниками и выпуск журнала. Так как «Современные записки» были журналом, а не сборником статей или литературным альманахом, нужно было организовать отделы внутреннего и внешнего обозрения. Гуковский предложил написать статью по иностранной политике и, со 2-й книги начиная, написал под псевдонимом А. Северова пять статей о кризисе международного социализма, Венском интернационале, внутриклассовой борьбе, парадоксе «единого фронта». Последняя его статья «Критика демократии» подписана его настоящим именем и появилась в 13-й книге. Он писал простым, хорошим, иногда даже ярким языком, но, к сожалению, как автор, дал журналу гораздо меньше того, чего от него ждали и на что был способен.

Когда Гуковский наметил для себя вопросы внешней политики, на мою долю пришлись вопросы внутренней политики или так называемое внутреннее обозрение. Гуковский подсказал мне общий заголовок — «На Родине». Главная трудность заключалась в том, что в отличие от других обозревателей я был географически оторван от среды и обстановки, которую должен был политически обозревать. К тому же случайны и недостаточны были и все другие источники осведомления о том, что происходит на родине. Приходилось также учитывать, что журнал только в первые полгода выходил аккуратно каждый месяц. Потом журнал стал выходить раз в три, а то и в четыре месяца, — и того позднее доходил до читателей, разбросанных буквально почти по всему земному шару.

Отсюда «текущий момент» или быстро преходящие факты могли служить для «обозрения» скорее отправным пунктом, *поводом* или иллюстрацией к обсуждению и освещению *проблем*, если не вечных, то все же выдерживающих продолжительные сроки. Этот метод — или тактику — я усвоил инстинктивно, ощупью в процессе самой работы. Я считался — и сам себя считал — более опытным автором, чем мои коллеги по редакции. Тем не менее я всегда оставался неуверен, справлюсь ли с поставленным себе заданием. Когда на редакционном собрании намечалось содержание ближайшей книги и я предлагал свою тему, я постоянно предупреждал, что, может быть, ничего и не получится. При этом неизменно мне оказывал моральную поддержку и прямое поощрение Фондаминский. Не соглашаясь с моей теоретической, а то и с политической установкой, он подшучивал над

моей неуверенностью и подбивал писать и писать — возможно больше и лучше, углубляя тему. Моя оговорка, что, может быть, ничего не выйдет, настолько приелась, что надо мной подтрунивали:

— Ну, конечно, без этого ты не можешь!.. Слышали уже...

Руднев, которому писания доставались с трудом, урезонивал:

— Что тебе стоит — поставишь перо (машинки у меня еще не было), оно само и пойдет!..

Но я не шутил и не боялся «сглазить», — а искренне сомневался каждый раз в исходе. Тем не менее в каждой из первых 68 книг «Современных записок» (за исключением 47-й) появлялась одна или даже несколько моих статей (71), не считая рецензий (32), некрологов (4), подписанных моим именем или инициалами[1]. Главной, хотя, конечно, не единственной темой «обозрений» была, само собой разумеется, Россия — царская, советская и та, которая противостояла ей в моем сознании, Россия свободолюбивая и демократическая. Главной мишенью, или «врагом № 1» был и оставался для меня все 20 лет большевизм и большевики. О чем бы я ни писал, а писал я, как сказано, о многом и разном, я всегда возвращался к этому первичному злу, которое отравляло и отравляет политическую атмосферу во всем мире. Смертная казнь в советской России, суд над 12 смертниками-эсерами, голод, кронштадтское восстание, конференции в Рапалло и Генуе, международное признание большевистской власти за законную власть, допущение в Лигу Наций и т. д. и т. д. — были прямым образом связаны с большевизмом. Но параллельно с этим — «Национальный большевизм» и единство России, политика и миросозерцание, кризисы власти и демократия в Европе, корпоративная система и советская, оправдание равенства, гитлеризм и т. д. и т. д.[2] в положительной или отрицательной форме были направлены против того же главного врага.

---

[1] Статья «Из бессарабских впечатлений» в 30-й книге «Современных записок» за тремя звездочками принадлежит тоже мне. «Звездочки» объясняются тем, что румынские власти не давали визы русским, особенно с так называемым нансеновским паспортом. Специальные препятствия ставились для въезда в Бессарабию. Визу удалось добыть для меня б. генеральному секретарю президента французской республики Мильерана Евгению Юльевичу Пти благодаря личным связям с румынским послом. Так как «впечатления» мои от Бессарабии были весьма неблагоприятны для румынских властей, я укрылся за тремя звездочками, чтобы не выдать и, тем самым, не поставить в неловкое положение оказавшего мне любезность Е. Ю. Пти.

[2] В конце 26-й книги «Современных записок» дан Указатель всего напечатанного к тому времени т. е. за первые пять лет. Указатель дан и в конце 50-й книги, но уже без перечня рецензий. Позднее друзья в Шанхае выпустили отдельным изданием полный Указатель напечатан-

Приходилось одновременно вести и отражать атаки на нескольких фронтах: против скрытых большевиков и перекликавшихся с ними реакционеров-монархистов, против евразийцев и младороссов, против сменивших вехи вправо или влево, против забывших свое собственное прошлое левых эсеров и либералов, против «друго-врагов» среди меньшевиков и в нашей собственной среде.

При всей готовности редакции предоставить страницы «Современных записок» всем признанным и имеющих быть признанными в будущем литературно-художественным дарованиям, соответствующий отдел журнала нельзя было считать организованным — он шел «самотеком». Было естественно объяснять это тем, что ни один редактор не был ни беллетристом, ни литературным критиком. Отказ Алданова взять на себя заведование отделом только отсрочил разрешение вопроса. И когда среди других высланных советской властью за границей очутился Федор Августович Степун, Фондаминский выдвинул его кандидатуру. Они знали друг друга еще со студенческих лет по Гейдельбергу, где вместе учились у Виндельбандта, Куно Фишера, Тоде.

Желая помочь и журналу, и своему приятелю, Фондаминский предложил поручить Степуну заведование литературно-художественным отделом. Предложение было единодушно принято и, вскоре после своего дебюта в «Современных записках» в качестве автора получивших широкую известность «Мыслей о России» (они печатались в 9 книгах) и «Философского романа в письмах» — «Николая Переслегина», Степун ближе других подошел к журналу. За сравнительно скромное вознаграждение Степун, оставаясь в Дрездене, где он получил кафедру социологии, стал нашим консультантом и экспертом по всем вопросам художественной литературы. Но решающее последнее слово редакция оставила за собой.

Когда говорят о Степуне, первое, что приходит на ум, вероятно, каждому, кто его хоть сколько-нибудь знает, это — *блестящий*: блестящий лектор, блестящий публицист, блестящий критик, блестящий собеседник. Он много знал и о многом размышлял и 35 лет тому назад. Философ по образованию, режиссер, оратор, causeur по профессии, артист по призванию — он был разносторонен. Элемент игры и театра, импровизации, вдохновения и выдумки чувствовался во всем, о чем бы он ни говорил или писал. Он был всегда интересен и занимателен. Свои публичные выступления он не только подготовлял, но и тщательно их разучивал, чтобы лучше подать аудитории. И «заключения», которые заведующий ли-

ного в 65 книгах «Современных записок» за 1920—1937 гг. В нем всего несколько мелких пропусков и неточностей.

тературно-художественным отделом давал по всем посылавшимся ему рукописям, были всегда подробно аргументированы, живы, часто блестящи. К мнению и отзывам Степуна редакция всегда прислушивалась внимательно, принимала их к руководству и чаще всего к исполнению. Но иногда мы с ним не соглашались, а то и расходились. Безоговорочную поддержку Степун неизменно встречал лишь со стороны Фондаминского, который пасовал перед блеском и дарованием Степуна.

Приходится, однако, признать, что и Степуну не удалось организовать или поставить литературно-художественный отдел, который продолжал жить своей жизнью, — может быть, потому, что его руководитель был географически отдален от редакции и журнала.

«Современные записки» обвиняли в том, что журнал не печатал — или недостаточно печатал — молодых авторов, не поощрял новых талантов, не готовил смены своему поколению. Обвинение, конечно, в первую очередь выдвигали и поддерживали пострадавшие, и оно на десятки лет пережило «Современные записки». В вышедшем недавно «Незамеченном поколении» В. С. Варшавский, не выделяя из других изданий «Современные записки», поставил всем «отцам-общественникам» в счет высказанное в 1930 г. П. Н. Милюковым мнение о предпочтительности здорового реализма пред романтизмом и символизмом. Упрощая взгляды Милюкова, автор приписал и всем другим, будто они советовали молодым «исправиться, вернуться в социальную действительность и описывать ее в духе „здорового реализма“». От имени своего поколения Варшавский заявил: «Мы видели, что „в общем мире“ для нас не было места и, кроме унижения и невыносимого одиночества, нас там ничего не ждало».

Это все — огромное преувеличение, ни в какой мере не применимое к «Современным запискам», и не только к «Современным запискам» 30-х годов, как признают и те, кто отмечают (например, Глеб Струве) предпочтение «старикам», оказывавшееся «Современными записками» первоначально, в 20-х годах. Объяснение и, думается, оправдание нашей редакционной политики простое: *печатные возможности русской эмиграции 20—30-х годов не поспевали за литературной продукцией.* К «Современным запискам» предъявляли свои претензии не только «молодые» авторы, но и «старые». Достаточно назвать Мережковских и Бальмонта, у которых «мания величия» временами оборачивалась, как ей и полагалось, «манией преследования», Ремизова, Шмелева, Шестова и др.

Ученые, философы, публицисты одинаково жаловались, что их отделам журнал уделяет недостаточно внимания — вернее, места — по сравнению с другими отраслями куль-

туры. Даже родственные художественная проза и поэзия ревновали друг к другу, ссылаясь на то, что «противная сторона» находится на положении более благоприятствуемой. Предпосылкой к этим претензиям, обыкновенно не высказываемой вслух истцами, было все то же: ну, чего ждать от политиков?.. Что они знают, понимают в поэзии, литературе, науке?!. Так рассуждали поэты, беллетристы, публицисты, принадлежавшие даже к тем же «школам» или направлениям, но часто не признававшие друг друга. Гиппиус, например, не ценила стихов Цветаевой, а Цветаева оставалась холодной к художественному творчеству Льва Толстого («неизмеримо больше Толстого люблю Гете»), не говоря уже о Достоевском, который ей «в жизни как-то не понадобился». Но обе они, как ясно будет из дальнейшего, одинаково резко осуждали «Современные записки» и редакторов журнала.

Выходя 3-4 раза в год, «Современные записки» не могли, конечно, объять необъятное — удовлетворить всех полностью. Как правило, произведения «молодых» нам казались недоработанными. Тем не менее все более или менее талантливое «Современные записки» старались печатать, не справляясь о возрасте или литературном стаже автора. Не говоря уже о Набокове-Сирине, чьи романы, почти все, появились раньше всего на страницах «Современных записок», у нас печатались Берберова, Газданов, Юрий Данилов[1] (Е. Скобцова, она же монахиня Мария), Евангулов, Зуров, Иванников, Кнут, Г. Кузнецова, Ладинский, Песков, Поплавский, Д. Скобцов-Кондратьев, Темирязев (художник Ю. Анненков), В. Федоров, Фельзен, Яновский, — часто после того, правда, как они дебютировали в других изданиях.

При невозможности в полной мере удовлетворить всех авторов неизбежен был отбор, — неизбежно было и недовольство молодых и старых, беллетристов, философов, публицистов, поэтов. Недовольство это можно иллюстрировать фактом, о котором напоминает Глеб Струве в своем «Опыте исторического обзора зарубежной литературы». В журнале «Воля России» «молодые» пользовались бóльшим гостеприимством, нежели в «Современных записках». И в 1928 г. «Воля России» организовала конкурс на лучший рассказ из эмигрантской жизни размером не свыше полутора печатных листов. На конкурс прислано было 94 рассказа. Первой премии никто не был удостоен. И только двое, Варшавский и Федоров, «удержались после того на виду в литературе», — резюмирует Глеб Струве.

---

[1] Псевдоним, очевидно, семейного происхождения: имя сына матери Марии было Юрий, а по отцу Данилович. Арестованный немцами вместе с матерью 8 февраля 1943 г., 17-летний Юра исчез бесследно.

В силу ряда причин «Воля России» была либеральнее по отношению к «молодым», чем «Современные записки». Это, однако, не уберегло и ее от тех же обвинений, которые направлялись — в частности, самой «Волей России» — против «Современных записок». Совсем недавно, один из наиболее аррогантных представителей якобы «незамеченного поколения», В. С. Яновский направил свой гнев и негодование как раз в адрес «Воли России» за то, что «нас печатали, — но не любили, не признавали, не уважали, и кусков от разных казенных пирогов нам не уделяли» («Новое Русское Слово» от 2.X.55). «Мы», по Яновскому, это — Сирин, Зуров, Фельзен, Шаршун, Варшавский и, конечно, сам Яновский. Оказывается, сидевшие в эмигрантских редакциях «честные и непримиримые враги сволочной, большевистской идеологии в области политики, экономики, науки... но только не в искусстве», обязаны были, по Яновскому, не только печатать «сюрреалистов», но и любить их.

Говоря о недовольстве «Современными записками», пережившем самый журнал, приходится отметить и неправильные представления «молодых» о том, кому они были обязаны тем, что «Современные записки» их печатали. Так Ю. Терапиано, стихи коего не раз появлялись в «Современных записках», утверждает в своей книге «Встречи», будто доступ молодым поэтам в «Современные записки» «открыли Ходасевич вместе с Гиппиус». Это тоже неверно — во всяком случае упрощено и преувеличено. Члены редакции были «открыты» влиянию со стороны, — в частности, со стороны авторитетных в художественных оценках авторов. Воздействию со стороны подвергались, конечно, и заведовавшие стихотворным отделом М. О. Цетлин и литературно-художественным Ф. А. Степун. Но на редакции лежала и осталась ответственность за «открытие», как и «закрытие», страниц журнала «молодым» и «старым» в поэзии и прозе.

«Молодые» имели постоянного и принципиального защитника их интересов в лице Ф. А. Степуна, который не уставал жаловаться на то, что в «Современных записках» повторяются все те же авторы. Его «идеалом» было бы, чтобы в каждой книжке появлялось хотя бы одно новое имя. «Омоложение» и «обновление» журнала Степун готов был купить хотя бы ценой понижения «качества» печатаемого. И вот на это редакция — вся целиком, единодушно — никак не соглашалась.

* * *

В течение первого же года существования «Современных записок» стало очевидным, что выходить ежемесячно нам не под силу. Не только редакции бывало трудно книжку со-

ставить, но и внешние условия тому мало благоприятствовали. Послевоенная разруха расстроила транспорт, умножила число таможенных барьеров, установила валютную чересполосицу и привела к тому, что при ежемесячном выпуске одна книжка иногда настигала другую до того, как книжник успевал разослать клиентам предыдущую и расплатиться за нее. Распространение журнала среди эмигрантов в послевоенную пору происходило замедленным темпом. Мы убедились в этом на опыте. И меньше чем через год — с 7-й книжки — с обложки «Современных записок» уже исчезло обозначение «ежемесячный». За второй год издания выпущено было всего 5 книг, а там по 4 и даже всего по 3 книги в год. «Современные записки» превратились в трехмесячник, потом в четырехмесячник, а в последние 1938 и 1939 гг. удалось выпустить всего по 2 книги в год; в начале 1940 г. вышла заключительная 70-я книга. Правда, более редкий выход «Современных записок» компенсировался их объемом: книги достигали 500 и даже 600 с лишним страниц.

Препятствием к более частому выпуску журнала были и затруднения финансового характера. Дотация в обещанных размерах выплачивалась аккуратно лишь первые шесть месяцев. Затем начались задержки и отсрочки с сокращениями, следовавшими одно за другим. На самоокупаемость журнала рассчитывать не приходилось: журнал по его реальной стоимости большинству эмиграции был недоступен, оно было недостаточно состоятельно. Мы прибегали к разным средствам. Обращались к помощи друзей в Праге, русских и чешских. Пробовали разные формы коммерческой техники, чтобы увеличить подписку и оптовую продажу. Это удавалось плохо. Надо признать, что технически распространение и продажа были поставлены неудовлетворительно. Это должно было быть отнесено, помимо общих условий, на счет нашего собственного неумения и непрактичности. Но не в меньшей мере здесь имела место недостаточная добросовестность некоторых книгопродавцев в Европе и Америке. Не раз бывало, что, уплатив по первому счету, книгопродавец давал заказ на следующие книги журнала, но по ним уже не рассчитывался.

С общим повышением стоимости жизни положение осложнялось. Сотрудники по всей справедливости требовали увеличения гонорара. Мы пробовали установить дифференциальный гонорар — в зависимости от валюты страны, в которой автор проживал: более низкие ставки для стран с низкой валютой, как Германия, Балтика, Балканы, и более высокие для стран с высокой валютой, как Англия, Швейцария, Америка. Кроме неприятностей и обид эта попытка почти ничего не дала, и мы вернулись к прежней практике — оплате гонорара независимо от местопребывания автора.

Повышение стоимости бумаги и типографских расходов грозило разрушением нашей материальной базы. И в поисках, одновременно с увеличением приходной статьи, уменьшения расходной мы приняли две меры. Во-первых, сократили вознаграждение, которое получали Гуковский и я (с тысячи франков в месяц до четырехсот) и, во-вторых, перенесли печатание журнала из дорогого Парижа в дешевый из-за инфляции Берлин. Туда же согласился переехать Гуковский, письменную связь с которым должен был поддерживать я. Берлин был в это время первым этапом на пути высланных и добровольно бежавших из советской России ученых и писателей — будущих сотрудников «Современных записок». В Берлине печатались в 1922—1923 гг. семь книг журнала — с 9-й по 16-ю. Когда же германская марка была ревалоризирована и расходы по печатанию в Берлине сравнялись с расходами в Париже, «Современные записки» вернулись в Париж.

Вернулся в Париж и А. И. Гуковский. Но еще менее активным, чем был прежде. Он вовсе перестал писать в журнале и вскоре — летом 1924 г. — занемог. Врачебное наблюдение и уход как будто восстановили его душевное равновесие, и месяца через три по выходе из лечебницы он приступил к исполнению своих обязанностей в «Современных записках». Но не надолго. 17 января 1925 г. выстрелом из револьвера А. И. положил конец своей трудной жизни. В письме, оставленном детям, он писал: «Пережитая душевная болезнь окончательно подорвала мои силы. Я в здравом уме, но недавнее возбуждение сменилось тяжкой подавленностью духа». И еще — «не стало упругости, нет веры в себя, одна гордость, но нет силы жить».

Вместе с портретом Алесандра Исаевича помещен в 23-й книге «Современных записок» некролог, написанный Авксентьевым, который давал общую характеристику Гуковского, как политического деятеля и человека. Здесь говорилось: «Глубокая правдивость, глубокая интеллектуальная честность были его отличительными чертами. И в большом, и в малом этот человек никогда не был неискренен и неправдив. Поэтому, чрезвычайно терпимый к людям, он не выносил, не прощал одного: неискренности, лукавства, интеллектуального или морального лицемерия... Сдержанный и замкнутый, Александр Исаевич нелегко шел на интимную близость с людьми. Он в себе и с собою переживал свою душевную боль, свои сомнения, свои упования. Но он любил людей — не человечество вообще, — а конкретных людей. При всей сдержанности его отношение к людям было запечатлено той „глубокой, но стыдливой сердечностью“, которая, по его мнению, характеризует русский народ».

20 января 1925 г. А. И. Гуковского похоронили на кладбище Ivry-Parisien, где погребены многие русские изгнанники.

Нас осталось четверо.

ГЛАВА V

Отделы литературно-художественный и общественно-политический.— Конфликты с сотрудниками; между сотрудниками; с внешним миром.— И. А. Бунин и З. Н. Гиппиус; кн. Святополк-Мирский и В. Ф. Ходасевич; «Версты» и «Современные записки».

Мы не обманывались в том, что популярность «Современных записок» может создать только литературно-художественный отдел, а никак не общественно-политический. Демократия в эмиграционном сознании была не в чести — считалась скомпрометированной и в лучшем случае спорной величиной. Факт ее неудачи в России служил для многих неопровержимым свидетельством против нее. И на Западе демократия была не слишком совершенной и недостаточно привлекательной во многих отношениях. Отсюда эмигрантские умы и сердца влеклись к «родным осинам» — к разным видам автократии: к легитимному самодержавию, «природному царю», к видоизмененным формам диктатуры, к «бытовой демократии». Художественная же литература говорила сама за себя и, хотя тоже подверженная различной оценке в зависимости от художественного развития и вкуса, тем не менее представлялась более *объективной.*

Нашей политикой в области литературы было печатать все яркое и талантливое, даже когда оно исходило от уже признанных и «старых» авторов. Отсюда через «Современные записки» прошло все, что можно было получить от Бунина за время существования журнала и что фактически составляло наиболее значительное и ценное в его творчестве за эти годы. «Несрочная весна», «Преображение», «Митина любовь», «Цикады», «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар», «О Толстом», «Божье древо», «Жизнь Арсеньева»[1] и другие произведения печатались в двадцати книгах журнала. Печатали мы и других «классиков» рус-

---

[1] За «Жизнь Арсеньева» Бунину была присуждена премия Нобеля. «Митина любовь», «Дело корнета Елагина», «Солнечный удар», «О Толстом», «Божье Древо» перепечатывались — и не раз, в 1927, 1928, 1954 и 1955 гг.— советскими издательствами, несмотря на то, что И. А. Бунин каждое произведение сопровождал предостережением: «Перепечатки воспрещаются. Все права сохранены».

ской литературы, или «стариков», как Мережковского, Ал. Н. Толстого, Шмелева, Ремизова, Зайцева, Андрея Белого[1], Куприна, Леонида Андреева, Замятина, Осоргина, Чирикова, Юшкевича.

Впервые были напечатаны в «Современных записках» привезенные из России «Листки из записной книжки» и «Путевые записки» Льва Толстого, равно как и неопубликованные варианты его «Казаков» (книги 18, 26 и 36). Были у нас опубликованы и «Шесть писем» В. Г. Короленко к Луначарскому, которые последний, вопреки принятому перед Короленко обязательству, так и не осмелился напечатать в советской печати. Напечатаны были и «Наблюдения, размышления, заметки» Короленко (книги 9 и 11—14).

Когда в «Современных записках» появились воспоминания о Л. Н. Толстом и еще неопубликованные его произведения, пришла из Москвы просьба от Дома имени Толстого присылать *все*, связанное с Толстым, но *только* это, — не все книги «Современных записок» целиком. Мы, конечно, удовлетворили эту просьбу.

Пришло из Москвы и другое письмо. «Журнал по делам национальностей» предложил «Современным запискам» обмен изданиями: за три экземпляра «Современных записок» предлагалось высылать журналы «По делам национальностей», по сельскому хозяйству и еще какой-то третий. Я немедленно ответил согласием и выслал три экземпляра очередной книги «Современных записок». Но Москва быстро раздумала, и книги вернулись с границы с печатью: «Не дозволены в пределы Советского Союза». И «Журнал по делам национальностей» перестали высылать. Но все двадцать лет Москва приобретала «Современные записки». Иногда покупала по 25 экземпляров, — очевидно, для привилегированных учреждений или доверенных вельмож. В самом начале 20-х годов А. А. Кизеветтеру удавалось изредка получать книжку журнала из тайников Румянцевской библиотеки.

Уже достигнутое признание — или возраст — не были, конечно, условием к тому, чтобы быть напечатанным в «Современных записках». До «Современных записок» Алданов не напечатал ни одного беллетристического произведения. В «Современных записках» прошли с некоторыми купюрами

[1] По возвращении в СССР Белый наговорил много злого и несправедливого об эмиграции и, в частности, о братьях-писателях в эмиграции. Это, однако, не спасло его самого от надругательства со стороны предержащей власти, которая и посмертно характеризовала его «представителем мракобесия и ренегатства в политике и искусстве» («Правда» от 18 июля 1947 г.).

обе его тетралогии — из эпохи французской революции («Девятое Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров») и русской революции («Ключ», «Бегство», «Пещера», «Начало конца»). Алданов был одним из наиболее плодовитых беллетристов, и его романы особенно охотно переводились на иностранные языки. Переведены были и напечатанные в «Современных записках» произведения Бунина, Мережковского, Зайцева, Ремизова, Осоргина, Шмелева — и не только на европейские языки, а и на японский.

Если Алданова, как и Гребенщикова, Степуна, Матусевича и других можно было причислить к «среднему» возрасту, то Набоков-Сирин, бесспорно, принадлежал к молодому поколению. И в «Современных записках» прошли наиболее значительные его произведения: «Защита Лужина», «Пильграм», «Подвиг», «Camera Obscura», «Отчаяние», «Приглашение на казнь», «Дар», — как бы ни относиться к той или другой из этих вещей. Сирин был самый выдающийся, но далеко не единственный из молодых беллетристов или впервые пробовавших свои силы на беллетристическом поприще, которые появились на страницах «Современных записок». Для начинающих авторов помещение их произведения в «Современных записках» считалось как бы аттестатом на литературную, художественную или публицистическую зрелость.

Среди молодых или начинающих беллетристов одни были более даровиты, другие менее, одни оказались случайными писателями, для других писательство стало профессией. Журнал был в постоянных поисках новых талантов и всячески старался следовать обещанию давать место *всему*, что представляло художественную ценность безотносительно к политическим взглядам авторов. Остракизму за это никто не подвергался.

И вскоре редакцию перестали уже заподазривать в партийности, а стали упрекать и винить, в печати и в частных беседах, за противоположное: за чрезмерную терпимость и «эклектизм», что якобы свидетельствовало о безразличии и равнодушии к художественным стилям и формам, — свидетельствовало о подчинении уже не культуры политике, а политики культуре. В этом была правда в той мере, в какой никто из редакторов и редакция в целом не претендовали на роль arbiter elegantiarum, или судьи в художественной области. «Широта» наша вытекала не из безразличия, а была намеренной, входила элементом в общую редакционную политику: место и время обязывали, как нам казалось, расширить свободу суждений даже в политической области и тем более в художественной.

Особенно «широки» были «Современные записки» в отношении поэтов. Перечень имен о том убедительно свидетельствует: Адамович, Амари, Вад. Андреев, Базилевская, Е. Бакунина, Бальмонт, Н. Белоцветов, Берберова, А. Блох, Раиса Блох, Браславский, Булич, Бунин, Волошин, Ганский, А. Герцык, Е. Гессен, Гингер, Гиппиус, Голенищев-Кутузов, Головина, Горлин, Злобин, Вячеслав Иванов, Георгий Иванов, Иваск, Кельберин, Кискевич, Кнут, Крандиевская, Г. Кузнецова, Кузьмина-Караваева, монахиня Мария, Ладинский, Н. Ландау, В. Лебедев, Мамченко, Маковский, Ю. Мандельштам, Мейер, Кирилл Набоков, В. Набоков-Сирин, Нарциссов, Несмелов, Одоевцева, Остроумова, Н. Оцуп, Пиотровский, В. Познер (будущий коммунист), Поплавский, Прегель, Присманова, Раевский, Ратгауз, Б. Семенов, А. Семенов-Тянь-Шанский, Влад. Смоленский, Сологуб, Соловьева (Аллегро), Софиев, Ставров, Г. Струве, М. Струве, Таубер, Терапиано, Федоров, Франкфурт, Тхоржевский, Тэффи, Ходасевич, Цветаева, Чегринцева, Червинская, Шах, Шаховская, В. Шишков, Штейгер, Эйснер.

В отделе литературной критики, философии, права, социальных вопросов, воспоминаний, кроме названных уже авторов, были напечатаны статьи: д-ра И. Альтшулера, Бема, Берлина, Бердяева, Билибина, Бицилли, Брайкевича, Брешковской, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, о. С. Булгакова, Вакара, проф. Виноградова, кн. С. Волконского, Вышеславцева, Н. Ге, Герцена, Гершензона, Гефдинга, Гольденвейзера, Л. Гофмана, Гошиллера, Грузенберга, Грюнвальда, Гуля, Гулькевича, ген. Ю. Данилова, Делевского, Демидова, Джанумовой, Дионео, кн. Петра Долгорукова, Евреинова, Ельцовой, Ельяшевича, Жаботинского, К. Зайцева, Зернова, В. Зеньковского, К. Иванова, Изюмова, Карсавина, Карташева, Карцевского, Керенского, Кологривова, Кона, А. Койранского, Кочаровского, Кобякова, Корфа, Крофты, Кульмана, Курдюмова, Кусковой, Лазарева, И. Левина, Ленского, А. Леонтьева, Лосского, Луганова, С. Лурье, Лифаря, Макеева, Маклакова, Максимовича, А. Мандельштама, Маркова, С. Маслова, Т. Масарика, Мельгунова, Минского, Мирного, Муратова, Мельниковой-Папоушковой, Милюкова, Миркина-Гецевича, А. Мейендорфа, Михельсона, Мочульского, Мякотина, Б. Николаевского, Новика (Г. Хохлов), Одинца, Петрищева, Пешехонова, Постникова, Поля, Пумпянского, Родичева, Неманова, Николаева, М. Новикова, Пильского, Полякова-Литовцева, Репина, Ю. Рапопорта, Рябушинского, Сабанеева, Савельева, С. Д. Сазонова, Ю. Сазоновой, Слонима, Б. Соколова, И. Солоневича, Пит. Сорокина, Сотова, Тимашева, А. Л. Толстой, А. Толстой-Поповой, О. Трубецкой, Тюрина, Н. Ульянова, Фельтгейм, А. Флоровского, Г. Флоровского, Хераскова, Цилиги, Чернавиной, Чижевского, Шац-

кого, М. Шварца, Шкляевой, С. Штейна, кн. С. Щербатова, Юрьевского.

Если чье-либо имя и упущено, и приведенных достаточно, чтобы получить представление о культурно-общественном «фронте» журнала.

Постепенно мы очутились в привилегированном положении: мы уже не брали с благодарностью все, что нам предлагали, а *выбирали* — авторов и произведения. Не всегда выбор оказывался удачным, но и неудачный выбор имел свое объяснение, если не оправдание. Во многих авторах мы ошиблись. Но кто мог предугадать будущее и, в частности, предвидеть, что одни воспылают нежными чувствами, а то и формально перекинутся к большевикам, а другие — к наци. Нередко выбор ставил редакцию лицом к лицу с авторами, которые считали свое творчество выше какой-либо критики и, во всяком случае, не подлежащим критике со стороны руководителей журнала.

* * *

Все люди в какой-то мере самолюбивы, честолюбивы, мнительны, капризны и требовательны. Писателям, с повышенной чувствительностью ко всяким «флюидам», эти черты присущи тем в большей мере, чем выше их ранг. Особенно чувствительны они к оценке их дарований и отзывам об их произведениях. Претендуя на бережное и даже исключительное к себе внимание, многие при этом довольно ревниво следили за вниманием, оказанным соседу по журналу, коллеге по литературному творчеству.

Претензии отдельных авторов к «Современным запискам» бывали серьезные и мелочные, — по крайней мере, для постороннего взгляда. Чего только они не касались! Размеров гонорара и аванса; количества предоставляемых автору страниц; объема, отведенного произведению; места, на котором оно опубликовано; даже шрифта, которым напечатано. Не всегда претензия или недовольство проявлялись вовне. Но и не «взыскательный художник» исходил из убеждения, что он «сам свой высший суд, всех строже оценить» умеет он «свой труд», тем более, что «судьи кто»?.. «Пять эсеров»?!.

К. Д. Бальмонт был одним из основоположников символизма. В свое время он пользовался чрезвычайной популярностью и был властителем не одних только юных душ и сердец. Но к 20-м годам текущего столетия все это отошло в прошлое. Сам Бальмонт с этим не мог, конечно, ни согласиться, ни примириться. Он пришел объясниться, — вернее, потребовал от меня объяснения, как могло случиться, что знаменитого и прославленного Поэта (так Бальмонт всегда

именовал себя в третьем лице) заставили сократить статью («Воля как основа творчества»), тогда как для никому не нужной статьи редактора (Руднева «Около Земли») нашлось почти в два раза больше места?

Ну, что можно было сказать в свое оправдание, не растравляя раны автора? Нельзя же было сослаться на то, что политическая статья малоизвестного редактора представлялась руководителям журнала более нужной, чем статья знаменитого в прошлом, а теперь только перепевавшего себя поэта. Бальмонт не только не согласился бы с этим, он просто этого не понял бы.

В том же 1924 г. Бальмонт предложил нам только что написанную поэму грозы «В голубых долинах». В препроводительном письме говорилось, что «ее космический революционизм будет близок редакции журнала». Вопреки ожиданию автора, этого не случилось, и поэма не была принята к напечатанию в «Современных записках». Но другие стихотворения К. Д. Бальмонта время от времени в журнале появлялись.

Авторы, как правило, предлагали «Современным запискам» то, что *им* было близко и дорого, и не всегда бывали склонны считаться с тем, что «Современные записки» не философский или научный журнал, а литературный и общественно-политический. Лев Шестов был ценнейшим сотрудником журнала. Оригинальный мыслитель — философ, отрицавший систематическую философию, — он не выжидал, как другие, как отнесется к нашему начинанию респектабельная эмигрантская общественность, а раньше других пришел в «Современные записки». Мы охотно и часто печатали его: из первых 25 книг в 13 имеются пространные статьи Шестова на философские темы. Но все его философские работы журнал, к сожалению, не мог вместить. Редакция была озабочена сохранением равновесия с другими отделами журнала и предоставлением места и другим авторам.

В итоге, на мое имя, как редактора, выполнявшего секретарские обязанности, пришло за подписью Шестова письмо от 24 января 1926 г. — без обращения, — в котором автор выражал крайнее возмущение, что его статья, вопреки обещанию, вторично отложена: «Вам, очевидно, уже давно хочется выжить (меня) из „Современных записок". Так или иначе — хотя Вы хозяин, а я работник, — но ведь и в буржуазных государствах работники — свободные люди. И потому — больше сотрудничать в „Современных записках" я не буду».

Я был лично в наилучших отношениях со Львом Исаковичем. Но оставить «инвективу» без ответа я счел невозмож-

ным — ниже достоинства своего и «Современных записок», — и, не скрою, ответ мой вызвал сильные нарекания со стороны общих Шестову и мне знакомых. Впрочем, разрыв наших дипломатических отношений затянулся ненадолго. Сотрудничество Шестова было прервано не больше, чем на три книги журнала. И позднее в «Современных записках» появились его статьи «Умозрение и апокалипсис» (Религиозная философия Влад. Соловьева), «О втором измерении мышления» и, уже незадолго до смерти Шестова, — «Ясная Поляна и Астапово» (61-я книга).

Одним из бичей «Современных записок» было то, что журнал не был в состоянии оплачивать полностью труд — труд авторов и труд типографии. Редакции приходилось считаться и часто уступать встречным к ней требованиям. Она не всегда могла получить от автора то, что, по мнению редакции, нужно было журналу и читателям, и в те именно сроки, когда это было необходимо. Редакция вынуждалась удовлетворять и требования типографии, которая, предоставив «Современным запискам» ряд льгот, настаивала, чтобы материал для набора сдавался и корректура возвращалась в определенные сроки. На этой почве произошло непредвиденное.

И. А. Бунин, как известно, с почти болезненной щепетильностью относился ко всякому печатаемому им слову, порядку расположения слов, пунктуации и т. п. До последней минуты перед выпуском книги не переставал он посылать в ускоренном порядке письма («пневматички») или телеграммы со слезной мольбой «непременно», «обязательно» опустить или вставить такое-то слово или изменить знак препинания. «Заклинаю Вас — дайте мне корректуру еще раз!! Это совершенно необходимо!! Иначе сойду с ума, что напутаю что-нибудь». Или — «давать рукопись „в окончательном виде“ невозможно. Многое уясняется только в корректуре. *Если хотите меня печатать*, терпите. Чудовищно, непостижимо, но факт: Толстой потребовал от «Сев. вестника» *сто* корректур «Хозяина и работника». Во сколько раз я хуже Толстого? В десять? Значит — пожалуйте *10* корректур. А я прошу всего *две*!!». — «Ради Бога, не торопите меня с присылкой рукописи. Чем больше пролежит она у меня, тем будет лучше для всех: для типографии, для меня, для потомства, для славы эмиграции». И так почти каждый раз.

Случилось, что Бунин сверх обычного задержался с правкой рукописи — продолжения уже начатой вещи. Между тем типография торопила с версткой и предлагала начать с уже выправленного рассказа Бор. Зайцева. Учитывая психологию и нрав Бунина, я отправился позондировать почву и выяснить, как он отнесется, если книга журнала начнется не

с него. Реакция — не по моему адресу — последовала немедленно и в такой бурной форме, что и четверть века спустя я не рискую воспроизвести ее. И это по адресу писателя, который в 1929 г. был одним из наиболее близких и долголетних друзей Бунина. Нечего говорить, что я тут же капитулировал. Типографии пришлось ждать, и очередная книжка журнала вышла с запозданием.

Если «соревнование» могло принимать такие формы между писателями, принадлежащими к одному и тому же литературному направлению, лично близкими друг другу и при отсутствии спора о литературном первенстве и превосходстве, легко себе представить, что получалось, когда положение бывало иным. Редакция, помимо своей воли, нередко оказывалась втянутой в «соревнование» и конфликты, возникавшие *вне* «Современных записок». Это бывало в политической области, но случалось и в области литературы.

Бунин и Мережковский были признанными корифеями русской литературы. Их авторитет был неоспорим, и известность — всероссийская. Мережковский был известен и за границей. Они, естественно, заняли первые места в эмиграции, играли оба первую скрипку, но имели разное окружение и резонанс. Талант и мастерство Бунина как художника были вне спора в России и в эмиграции задолго до увенчания его нобелевской премией. Но у Бунина никогда не было собственной «школы» или организации его почитателей. Он относился к подобной затее отрицательно и даже насмешливо, как ко всему неестественному и нарочитому. Опубликованные в 1952 г. «Воспоминания» И. А. Бунина свидетельствуют, что до самой кончины сохранил он свое страстное, нетерпимое и несправедливое отрицание художников и мастеров слова небунинского толка — декадентов и символистов: Бальмонта, Брюсова, Блока, Белого и Сологуба, не говоря уже о Есенине, Клюеве, Маяковском. Бунин преклонялся пред Толстым, любил Чехова, ценил Куприна и оставался более чем равнодушным к Достоевскому.

Мережковские же, наоборот, сами были «идеологами» и творцами декадентства и символизма, предпочитали Достоевского Толстому и считали себя духовно связанными с Владимиром Соловьевым и Розановым. Мережковский не только учительствовал, он и пророчествовал. И не всегда попадал он при этом впросак, как это случилось при его увлечениях, в борьбе против «Антихриста», сначала Пилсудским, потом Муссолини и, наконец, Гитлером. Поразительно, до чего точно предсказал Мережковский после революции 1905 г. то, что случилось много позднее и обнаружилось с полной

очевидностью уже после смерти Мережковского[1]. Но и в эмиграции 1920-х и 1930-х гг. Мережковский и Мережковская-Гиппиус не довольствовались своими литературными и поэтическими достижениями. Они претендовали на большее: на *водительство*, литературно-художественное, религиозно-философское, общественно-политическое.

В России дружившие с левыми, социалистами и даже большевиками, Бунин и Мережковские в эмиграции одинаково ориентировались на правые круги русской общественности. Бунин выступил со своими «Окаянными днями», признав своим политическим руководителем редактора «Возрождения» П. Б. Струве. Положение и самочувствие Мережковских, при столь же страстном антибольшевизме, было много сложнее. В Париж Мережковские попали не сразу, а пробыв некоторое время в Варшаве, где узрели в маршале Пилсудском тройственный лик совершенства — воплощенную мудрость, подвиг, красоту и даже «дух Божий». Опубликованная к этому времени «Черная книга» З. Н. Гиппиус (в «Русской мысли» того же Струве) свидетельствовала о предельном возмущении поэтессы не только большевиками, но и правыми эсерами, левыми кадетами и «всякими евреями и еврейками».

Естественно, что от Мережковских отвернулись в первое время даже их бывшие друзья. И не только радикальные,

[1] «С русской революцией рано или поздно придется столкнуться Европе, не тому или другому европейскому народу, а именно Европе, как целому,— с русской революцией или русской анархией... Во всяком случае, уже и теперь ясно, что это — игра опасная не только для нас, русских, но и для вас, европейцев... Мы горим, в этом нет сомнения; но что мы одни будем гореть и вас не подожжем, так же ли это несомненно?.. Мы похожи на вас, как левая рука похожа на правую; правая не совпадает с левой в одной и той же плоскости: надо перевернуть одну, чтобы они совпали. Что у вас, то и у нас, но обратно; мы — вы наизнанку... говоря языком Ницше — в вас Аполлон, в нас — Дионис; ваш гений — мера, наш — чрезмерность. Вы умеете останавливаться вовремя; доходя до стены, обходите или возвращаетесь; мы разбиваем себе голову об стену. Нас трудно сдвинуть, но, раз мы сдвинулись, нам нет удержу — мы не идем, а бежим, не бежим, а летим, не летим, а падаем, и притом «вверх пятами», по выражению Достоевского... Вы трезвые, мы пьяные; вы — разумные, мы — исступленные; вы — справедливые, мы — беззаконные».

И дальше: «Мы — ваша опасность, ваша язва, жало сатаны или Бога, данное вам в плоть. Вы еще от нас пострадаете, но, в последнем счете, к общему благу, потому что мы друг другу нужны, как левая рука нужна правой... Русская революция так же абсолютна, как отрицаемое ею самодержавие. Ее сознательный эмпирический предел — социализм; бессознательный, мистический — безгосударственная религиозная общественность. Еще Бакунин предчувствовал, что окончательная революция будет не народною, а всемирною. Русская революция — всемирная. Когда вы, европейцы, это поймете, то броситесь тушить пожар. Но берегитесь: не вы нас потушите, а мы зажжем вас».— Предисловие Д. С. Мережковского к книге «Le Tear et la Révolution». Paris. 1907. Полное собрание сочинений. Изд. М. О. Вольфа. Т. X. С. 157—161.

но и умеренные, либеральные круги отнеслись к ним с недоверием и опаской. Милюков не сразу согласился дать место на столбцах «Последних новостей» своей бывшей сотруднице в петербургской «Речи». И когда Гиппиус стала там печататься, она недолго удержалась, а вынуждена была перекочевать в «Возрождение» Струве — Гукасова.

И в «Современных записках» Мережковские стали печататься не сразу. Им помогло настойчивое представительство их давнего и верного друга Фондаминского и, главное, обязательство, взятое на себя редакцией заявлением, что беспартийные «Современные записки» открыты для всего, что «представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры». Мережковского с его 24 томами сочинений (в сытинском издании 1914 г.) выключить из русской культуры было невозможно. То же относилось и к Гиппиус — поэту, драматургу, романисту, литературному критику. Приходилось, поэтому, закрывать глаза на публицистические провалы и политические грехи супружеской пары.

Началось с «чистой поэзии»: в 10-й книге «Современных записок» появились политически «невинные» стихи Гиппиус, и они появлялись и в дальнейшем — в 14 книгах. В 15-й книге начала печататься «Тайная мудрость Востока» (Вавилон) Мережковского. И с той поры редкая книга «Современных записок» не включала в себя произведений Гиппиус или Мережковского, а то и обоих. Почти все произведения Мережковского тех лет, правда, не целиком прошли через «Современные записки». В 18 книгах появились, помимо «Тайной мудрости Востока», «Рождение Богов» («Тутанхамон на Крите»), «Мессия», «Наполеон-человек», «Атлантида», «Отчего погибла Атлантида», «Назаретские будни», «Царство Божие», «Коммунизм Божественный».

Этот перечень показывает, насколько неосновательна и несправедлива была жалоба Гиппиус в ее посмертной книге «Д. С. Мережковский» (1943—1944): «Мы были так же нежелательны и неприемлемы для эмигрантской прессы, как юный Мережковский для тогдашней прессы русской. Д. С. почти ничего (!) не печатал в эмигрантских журналах и газетах, а писал очень много... Я тоже издала две книги в Праге, одну в Берлине, одну в Белграде, а как журналист — давно перестала существовать» (с. 106). В этой тираде верно лишь то, что написанное Мережковским в эмиграции по своему объему значительно превышало литературные возможности и средства, которыми эмиграция располагала. Но свою роль играло, конечно, и то, что не все, что писали Мережковский и Гиппиус, было приемлемо для органов, в которых они сотрудничали.

По мнению некоторых критиков-почитателей Мережковского, написанное им в эмиграции является вершиной его

творчества. Редакция «Современных записок» держалась другого, чтобы не сказать обратного, мнения. И если журнал печатал произведения Мережковского сравнительно часто и, во всяком случае, чаще, чем того хотелось бы редакции, это происходило не только из пиетета к былому Мережковскому, но и из практических соображений: редакция опасалась потерять нужного и ценного сотрудника журнала — Мережковскую-Гиппиус. Это был не единственный случай, когда, дорожа сотрудничеством одного из супругов, журнал считал себя вынужденным печатать и другого — или другую. То был один из многих компромиссов, на который мы шли с открытыми глазами, отчетливо это сознавая. Вместе с тем редакция обязывала своего посредника по сношению с Мережковскими Фондаминского напрячь все дипломатическое искусство к тому, чтобы, не слишком задевая самолюбия Мережковского, свести к минимуму публикацию его бесконечных, все тех же религиозно-философских антитез и мнимо исторических параллелей.

Иначе обстояло дело с Гиппиус. Ее писания представляли живой интерес. Темы, которые она брала, почти всегда бывали актуальны. Даже о прошлом она писала, связывая его с современным и злободневным. И стилист она была отменный — писала отличным, образным языком. Острие ее пера направлялось и против отвлеченных идей, ею оспариваемых, и против тех, кто эти идеи олицетворял или защищал. Гиппиус сначала сотрудничала как поэт и рецензент. Но вскоре перешла к статьям на литературные, публицистические и философские темы. Напечатаны были дважды и ее «Литературные записи» за подписью Антона Крайнего, но на этом «Записи» Крайнего и кончились.

Бунин и Мережковские расходились не только в литературно-художественных вкусах и оценках. И лично они не слишком долюбливали друг друга. Бунин не принимал «мережковщины», как не принимал декадентства и всякой «чертовщины». А Мережковские платили Бунину тем, что считали его — и называли — описателем, в отличие от подлинных писателей, которые не могут не быть и мыслителями, и (как Мережковские) о чем бы ни писали, не могут не касаться миров иных, смысла человеческой истории, мироздания, Бога. Бунин, конечно, огромный художник и мастер слова, у него превосходная память, слуховая и зрительная, но в поле его зрения и творчества лишь сущее: природа, зверь, любовь, смерть, — описание без попытки осмыслить описываемое, без сведéния к единству начал и концов.

И случилось так, что, когда Бунин написал «Митину любовь», Гиппиус предложила дать о ней не простую рецен-

зию, а более пространный очерк общего характера на тему «Искусство и любовь». Это показалось очень заманчивым, и редакция предложение приняла. Гиппиус написала очень интересно: говорила о Бунине, как «воистину короле изобразительности», и проводила параллель между ним, Гете и Шарлем Деренном, — между «Митиной любовью», «Страданиями молодого Вертера» и «Габи, любовь моя». Вместе с тем Гиппиус отказывала герою Бунина в праве назвать свое чувство любовью, или «Эросом с его веянием нездешней радости». Чувство Мити в изображении Бунина критик сближал с «гримасничающим Вожделением с белыми глазами». Это было в общей линии оценки Мережковскими творчества Бунина.

Лавировать между Буниным и Мережковскими было одним из многих заданий, которые выполнял в «Современных записках» Фондаминский, — задание трудное, деликатное, неприятное. Фондаминский, как уже упоминалось, десятилетиями был связан с Мережковскими и лично, и духовно: под прямым влиянием Мережковских складывалась и его религиозная настроенность. И, учитывая свою близость к Мережковским, Фондаминский-редактор меньше «церемонился» с ними, чем с Буниным, от которого был гораздо дальше, но сотрудничеством коего он, как и вся редакция, чрезвычайно дорожил. Без Бунина, по его мнению, беллетристический отдел журнала не имел бы достаточной ценности, не мог бы, пожалуй, даже существовать, — и потому за Буниным он ухаживал усерднее, чем за кем-либо.

Зная болезненную чувствительность Бунина к отзывам о его творчестве, особенно со стороны критика, к которому он относился не слишком доброжелательно, Фондаминский счел за благо для журнала прежде, чем печатать очерк Гиппиус, показать его Бунину. Предусмотрительность его оказалась оправданной. Бунин вышел из себя — без достаточных оснований, на посторонний взгляд, — и фактически наложил запрет («вето») на появление в «Современных записках» очерка Гиппиус. Запрету этому, не к чести нашей будет сказано, подчинилась и редакция, и сама Гиппиус. Оправдываясь перед своим другом, Зинаидой Николаевной, Фондаминский надумал целую теорию о том, что «элементарная вежливость» будто бы требовала показать Бунину отзыв *до* его появления в печати. Гиппиус возмущалась, справедливо указывая, что, когда в «Современных записках» появился отзыв Б. Ф. Шлецера о Мережковском, последнему этот отзыв не был предварительно показан. Своим чувствам Гиппиус давала выход в частных разговорах и письмах.

В письме ко мне от 2 мая 1925 г. З. Н. писала: «...Значит ладно, давайте мириться. Je n'en demande pas mieux. Беда в том, что я при моей объективности и терпении, ни

с кем не ссорюсь и только огорчаюсь, когда ссорятся со мной. Впрочем, нет: иногда я, в первую минуту, могу даже рассердиться; но это продолжается до второй минуты. С ее наступлением я уже не „сержусь“: уступаю, если я объективно не права; уступаю, если я права, но противник мой не дорос до объективности; не уступаю, когда дело не личное; но во всех случаях остаюсь при — улыбке».

Такое идиллическое отношение не соответствовало действительности и явно противоречило дальнейшему объяснению, почему в данном случае автор все-таки рассердился. «Моя статья, во-первых, *не* о Бунине, который там лишь в конце, рядом с Гете и Деренном; во-вторых — она *не* критика художественная (что я подчеркиваю); в третьих — это вовсе не критика, а лишь экспозиция точки зрения Вл. Соловьева, которую я никому не навязываю, и думаю, что этот рассказ может быть интересен; в четвертых — это не рецензия, а *серьезная* статья, которая именно Бунину может быть интересна, т. к. именно этими вещами он не занимается (заниматься не хочет или не может). Поэтому я и рассердилась. Но затем, с объективной точки зрения, рассудила: если редакция поняла, что в первый раз поступила против правил „элементарной вежливости“ и теперь „дует на воду“, то это она в процессе самовоспитания и никто не виноват, что попались мы с Вл. Соловьевым, точку зрения которого, конечно, Ив. Ал. пропустить не сможет. Как ни далеки его взгляды от взглядов редакции вообще, но и за Вл. Соловьева редакция горой не стоит... Ну, а от запрещения Ив. А-м Соловьева, ни он, ни я особенно не пострадаем. В другом месте расскажем, кому интересно»[1].

Гиппиус было нелегко сотрудничать в «Современных записках», руководимых, по ее убеждению, пристрастными и неоправдавшими ее ожиданий «партийцами», к тому же недостаточно компетентными в близких ей литературно-художественных вопросах. Но и нам было нелегко с Гиппиус, высокомерной небожительницей, подозрительно мнительной, язвительной, придирчивой и обидчивой иногда без достаточных оснований. Ее затаенной мечтой было мало-помалу *выправить* литературно-художественный и политический курс «Современных записок» и незаметно для редакции или вопреки ей постепенно направить журнал по желательному ей руслу. Отсюда и постоянные конфликты и стычки.

---

[1] Этим «другим местом» оказалась газета Милюкова «Последние новости». В ней 18 и 25 июня и 2 июля 1925 г. были напечатаны три пространных фельетона З. Н. Гиппиус под заглавием «О Любви» и подзаголовками: «Любовь и Мысль» (первый фельетон) и «Любовь и Красота» (два последних).— Эти фельетоны были перепечатаны в сокращенном виде под заглавием «Искусство и Любовь» в 1-й книге альманаха «Опыты», вышедшей в Нью-Йорке в 1953 г.

Упомянутый эпизод, как и многие другие, разыгрались за редакционным «занавесом» и стал достоянием сравнительно немногих непосредственно заинтересованных лиц. Но бывали недоразумения, которые вынесены были в печать и подверглись публичному обсуждению. Повод к тому дала, по явному недосмотру редакции, та же Гиппиус своей «Литературной записью», напечатанной за подписью Антон Крайний в 18-й книге. А. Крайний критически отозвался почти о всех писателях, находившихся в эмиграции, и совершенно неуважительно, можно сказать, нелитературно — о Максиме Горьком, который тоже находился за границей, в Сорренто. Еще пять лет должно было пройти прежде, чем он вернулся в Россию и, обозрев Беломорский канал, печатно восхвалил мучеников-чекистов, «осужденных историей убивать одних для свободы других».

Антон Крайний писал: «Ив. Бунин — без сомнения, первый, в современности, художник-беллетрист. Очень много у него и честности писательской, и целомудрия, и самого тонкого вкуса... Он дает куски жизни, и не только не дает *смысла* ее (кто мог его дать?), но он — в своих произведениях — и сам доселе не искал его и почти не позволял искать другим».

«Вот молодой писатель Алданов... Впечатление какой-то разряженности от алдановской беллетристики... прорывается тенденциозность иронически легкая, не глубокая, примитивная... В слишком европейце Алданове есть жидковатость».

«Слишком русский Шмелев так густ, что ложка стоит, а глотать — иной раз и подавишься. Чувства меры не имеет никакого... слова не поспевают — даже не за мыслями его, а за стихийным потоков чувств... Искусство имеет свой закон... кто не хочет подчиняться этому закону — тот может быть чем угодно: пророком, святым... но только не художником».

«Со Шмелева требуется одно, а вот с Бориса Зайцева, например, совсем другое... Неужели не обратится примиренность его — в непримиренность, и не откроет ему *человека*, безмерность горя, которое уже нельзя „благословить"? У Зайцева „женственный махоизм"».

«Любезные французы даже не подозревают, что если Бунин чистейшего огня рубин, то Гребенщиков — дай Бог, с речного берега камушек; что до́ма, на родной шахматной доске, Бунин стоял рядом с ферзем, а Гребенщикова на этой доске, пожалуй, и вовсе не было».

Воздав «всем сестрам по серьгам», Антон Крайний обвинил и осудил Горького уже не в литературных терминах, а политических: в том, что он помогал большевикам в «изъятии» всяческих ценностей. Под «всяческими» ценностями можно было подразумевать не только духовные, но

и материальные ценности, — что придавало политическому осуждению уже и уголовный привкус. Такое истолкование не заставило себя долго ждать.

На Антона Крайнего и редакцию »Современных записок» посыпались упреки и нападки с разных сторон. Они не были лишены оснований. Милюков осуждал за контрабандный провоз политики под флагом культуры. Писатель Семен Юшкевич — за то, что «Современные записки» превратились в «литературный Ноев ковчег». В былое время, «где печатался Горький или Бунин, там невозможен был Антон Крайний. И обратно», — напоминал Юшкевич, упуская из виду, что с тех приснопамятных времен изменилось многое, в частности, и то, что с 1917 г. «невозможен был» Бунин и там, где печатался Горький.

Пройти мимо этих нареканий «Современные записки» не могли, так как и они были ответственны и призваны к ответу за допущенный промах. И по поручению редакции за моей подписью было опубликовано в газете Милюкова «Последние новости» объяснение-самооправдание-сожаление по поводу допущенного «недосмотра». В том же номере газеты были напечатаны «Необходимые поправки» Антона Крайнего и более или менее примирительное послесловие Милюкова («Посл. нов.» от 31 января и 1 и 6 февраля 1924 г.). Этим инцидент был вовне, если не исчерпан, но приглушен. В ближайшей книжке «Современных записок» появилась вторая «Запись» Антона Крайнего. Она была и последней. А. Крайний перекочевал в отдел библиографии, да и там был не частым гостем.

З. Н. Гиппиус сурово осуждала нас за то, что мы стали «каяться и стукать лбом перед Юшкевичами», которых «покаяниями все равно не умилостивить». Тем не менее никаких «оргвыводов», говоря советским языком, из этого испортившего немало крови всем нам эпизода она, к удовлетворению редакции, не сделала.

Не менее неприятной была и другая история, связанная с напечатанием в 29-й книге «Современных записок» статьи В. Ф. Ходасевича о новом литературном сборнике или альманахе «Версты». Эта история тоже получила огласку в печати — началась и кончилась на страницах «Современных записок». О ней приходится сказать несколько подробнее.

Среди сотрудников «Современных записок» был князь С. Д. Святополк-Мирский, в прошлом гвардейский офицер, а в эмиграции преподаватель русской литературы в лондонском университете и литературный критик. Бывая в Париже, он заходил иногда ко мне в помещение редакции со статьей или рецензией, посвященными Брюсову, Блоку, Федину, Пастернаку, Мандельштаму, Бабелю, Марине Цветаевой. Все

его писания были интересны и печатались из книги в книгу в 22—27 томах «Современных записок».

Очень высокого роста и лысый, с проступавшими обильно даже в зимнюю пору каплями пота на крутом лбу, скорее интеллигент с бородкой, нежели «белая косточка», князь был не слишком разговорчив и ни разу не коснулся острых или даже спорных тем. Тем неожиданнее было для меня самое появление «Верст» под редакцией Святополка-Мирского, П. П. Сувчинского, С. Я. Эфрона и при ближайшем участии А. М. Ремизова, М. И. Цветаевой и Льва Шестова. Еще более неожиданной была задирчивая критика «Современных записок» со стороны их недавнего сотрудника, ныне редактора «Верст». Необъяснимым был резкий сдвиг в психологии за сравнительно короткий срок.

«Версты» открывались с заявления, что «по самой природе своей они стоят вне актуального, злободневного подхода к политическим, экономическим и социальным вопросам». В дальнейшем же они подвергали жестокой *политической* критике «правых эсеров» за то, что те — «консерваторы неосуществленных идеалов, консерваторы того, что само никогда не имело вещественного бытия, консерваторы революционного порыва, вдруг застывшего *движения*». А их орган «Современные записки» — «орган русского либерального движения (ясно, что „Вишняк“, а не „Струве“, имеет право на это имя)».

Такая, в устах критика слева, дисквалификация служила присказкой. «Сказка» же сводилась к критике, вернее к опорочению, почти всех наиболее видных писателей, сотрудничавших в «Современных записках». Необходимо было, однако, пояснить, почему авторы, участвовавшие в «Современных записках» с самого их возникновения, а теперь ближайшие соучастники «Верст», почему они такой дисквалификации, как другие, не подлежат.

Для этого Святополк-Мирский придумал, что в «Современных записках» имелось особое «ядро» сотрудников, исполненное «ненависти, более или менее брезгливой, ко всему новому» и следовавшее политике журнала в области литературы — «чистой, почти беспримесной установке на прошлое» с «инерцией дореволюционной России». Рядом с «ядром» существовала в журнале «периферия». К ней принадлежали Ремизов, Цветаева и Шестов, тогда как к «ядру» — или козлищам — Святополк-Мирский отнес Мережковских, Бунина, Алданова, Ходасевича, Зайцева и, «персонально», а не по существу, близких к ним Степуна и Бальмонта.

Вслед за этим следовала «персональная» характеристика.

Бальмонт — «птица небесная, или ребенок». Степун «гораздо более змий (по мудрости), чем остальные сотрудники

„Современных записок“... в великолепном богатстве его почти барочной мысли есть тонкое дыхание тлена». «Истерический хаос Мережковского». «Принципиальная (и природная) уездность Бунина». «Чрезмерная ссохнутость и морщинистость Ходасевича... маленького Баратынского из Подполья, любимого поэта всех тех, кто не любит поэзии». «Воздушная (розовая) пухлость Зайцева». И т. д. и т. п.

Чтобы соблюсти хотя бы видимость беспристрастия, критик тут и там бросал по комплименту Бунину и Гиппиус и за «Современными записками» признал, что их «заслуги перед русской литературой, конечно, велики... роль их почтенна. Задачу свою, как они ее видят, редакторы исполняют честно и удачно, и имена их имеют право на соседство в русской памяти с именами почтенных либерально-консервативных редакторов прошлого — Плетнева, Стасюлевича и Гольцева». В устах редактора «Верст» это сближение имело, конечно, уничижительный смысл.

Статья Святополка-Мирского меня и поразила, и возмутила. И не меня одного, конечно. При очередном посещении Ходасевича, когда зашла речь о «Верстах», он предложил отозваться на критику Святополка-Мирского на страницах «Современных записок». Я тут же охотно согласился на это, во-первых, потому, что ценил все, что Ходасевич давал журналу, и, во-вторых, потому, что предпочитал, чтобы «Верстам» дал отпор не редактор и политик, а профессиональный литератор и сотрудник «Современных записок».

В. Ходасевич написал очень яркий и язвительный очерк, который я одобрил и, так как типография торопила со сдачей материала, отправил немедленно в набор. С Рудневым было условлено, что он ознакомится со статьей уже в гранках. Когда же Руднев прочел гранки, он пришел в ужас. Зазвонил телефон из Земгора (Земско-Городского Комитета), где работал и служил Руднев, ко мне в редакцию и от меня в типографию; начались объяснения сначала на расстоянии, потом с глазу на глаз, наконец, в заседании редакции.

Руднев настаивал, что статья не может пойти. Я же указывал, что связан словом перед автором, действовал в пределах своих полномочий и, в довершение, не вижу в статье ничего криминального. Фондаминский не проявлял в данном случае активности. Соглашение состоялось на том, что к Ходасевичу обратится Руднев и постарается его убедить в том, что ряд выражений необходимо смягчить или вовсе опустить. К моему удивлению, Ходасевич уступил и сделал ряд купюр. Однако, и то, что осталось после смягчения и купюр, было достаточно, чтобы вызвать бурную реакцию протеста и опровержения со стороны редакции «Верст» и непосредственно задетого их сотрудника.

Перечитывая сейчас статью Ходасевича, должен признать, что он оказался неправ в ряде утверждений и истолкований. Неправильным было его толкование новой экономической политики (НЭП) Советов, как и мнение, будто «Версты» продукт НЭПа. Произвольным было и предположение, что один из редакторов «Верст», Сувчинский, «ожидает, что „тяга к национальному делу" выльется у „мировой социалистической" (революции) в славный еврейский погром». Наконец, сотрудник «Верст» Артур Лурье, хоть и руководил в свое время музыкальным отделом народного комиссариата просвещения (МУЗО), все же «настоящим коммунистом» не был, как не был и в «Верстах» «не то хозяйским глазом, не то свадебным генералом».

За всем тем во многом — и в главном — Ходасевич оказался прав. Он правильно уличил Святополка-Мирского, что тот на протяжении сравнительно короткого времени резко расходился сам с собой в оценке некоторых писателей. Давно ли обзывал он Марину Цветаеву «безнадежно распущенной москвичкой», стихи которой недостойны того, чтобы быть включенными в составленную Святополком-Мирским антологию «Русской лирики». А сейчас Цветаева признана им великой поэтессой, быть современником коей честь. То же произошло и с его отношением к Ходасевичу. «Версты» глумились над ним, но незадолго до этого тот же Святополк-Мирский писал, что стихи Ходасевича «никогда не разочаровывают» и, «если бы у нас была академия, никто не был бы более достоин войти в нее, чем Владислав Ходасевич»[1].

Художественная интуиция или прозорливость не обманули Ходасевича, когда он подчеркивал тяготение руководителей «Верст» к большевикам — тяготение идейное: «прочь от проклятой Европы, ненавистной России Петра и Пушкина, от ненавистной интеллигенции», как фомулировал Ходасевич поэзию «Верст», — и тяготение личное.

Это, однако, не помешало тому, что в конце очередной, 30-й, книги «Современных записок» появились одно за другим три заявления. А. Лурье выступил с протестом против сделанных г. Ходасевичем утверждений и заявил, что его отношение к «Верстам» определяется «ни чем иным, как общим моральным сочувствием направлению журнала»;

---

[1] Несколько позднее, в июле 1929 г, в отзыве о 39-й книге «Современных записок», помещенном в «Евразии», Святополк-Мирский писал: «Конечно, Ходасевич настоящий писатель, по уму и литературному умению превосходящий всех представленных в этом номере сотрудников эмигрантского журнала. Но какая утонченная извращенность, граничащая с садизмом, нужна была, чтобы самому мертвому и «трупному» из всех когда-нибудь живших писателей выбрать своей жертвой насквозь живого и здорового Державина».

в коммунистической же партии он никогда не состоял. Редакция «Верст», со своей стороны, протестовала против «недопустимых подозрений» относительно ее «общественно-политической независимости» и будто бы «погромного антисемитизма». Заявляя об «объективно неправильном изложении фактов», «Версты» апеллировали к «традициям русской публицистики большого стиля, представителем которого привыкли считать «Современные записки». Наконец, редакция «Современных записок» заявляла, что она «никаких обвинений специфического, указываемого в письме характера не поддерживала и не поддерживает». Тем не менее, она «не может не видеть в отдельных высказываниях „Верст" проявление того упадочно-примиренческого отношения к большевикам, идейную борьбу с которым наш журнал считает и своим литературным правом, и своим общественным долгом».

На этом конфликт между «Современными записками» и «Верстами» кончился. С выпуском третьей книжки издание «Верст» прекратилось, а литературная и политическая деятельность всех трех редакторов завершилась через несколько лет трагически. Все они всё решительнее и активнее поворачивались лицом к большевикам: Сувчинский более прикрыто, а Эфрон и Святополк-Мирский совершенно открыто. Эфрон[1] оказался причастен к организованному советской властью убийству агента разведки Игнаца Рейса, когда тот отказался вернуться в Москву по приказу начальства. А Святополк-Мирский, получив при содействии Горького разрешение на возвращение в Россию, превратился там в «Мирского» и не раз вынуждался публично каяться в прегрешениях против марксизма. При жизни его покровителя, Горького, Мирского еще терпели. Но когда Горький умер, Мирский был арестован за переписку с родными и друзьями в Европе и сослан на Колыму. В бухте Ногаево он и умер в 1939 или 1940 г., — как сообщил другой сосланный туда же литератор-пушкинист Юлий Оксман[2].

---

[1] За инициалами «С. Э.» напечатана в «Современных записках» в 1924 г. статья Эфрона «О добровольчестве» (книга 21-я). Статья попала к нам через посредство Степуна, бывшего приятелем Эфрона и его жены, М. И. Цветаевой.

[2] См.: Иванов-Разумник Р. Писательские судьбы. Нью-Йорк: Изд. Литературного фонда, 1951. С. 22.

Бывший эмиссар Коминтерна Филипп Спарт, позднее раскаявшийся и ставший противником коммунизма, пишет, что своим почти религиозным восприятием Ленина он обязан кн. Д. Мирскому, «блестящему писателю, обратившемуся к коммунизму в лондонском изгнании» и считавшему, что «личность Ленина, отраженная в собрании его сочинений, была магнитом, притянувшим его к себе» («Blowing up India». P. 21. 1955).

Ближайшие участники «Верст» вскоре вернулись в «Современные записки»: Шестов и Цветаева раньше, Ремизов позднее. Последний не хотел ссориться ни с «Верстами», ни с «Современными записками». Передо мной письмо А. М. Ремизова от 27 ноября 1926 г., написанное красными чернилами и с обычными для него загогулинами и росчерками. В нем автор «покорнейше» просит, в случае непомещения в ближайшей книге «Современных записок» опровержений «Верст», не отказать сделать примечание к его рассказу «Северные Афины» о том, что рукопись была им сдана *до* появления в «Современных записках» отзыва о «Верстах». Так как опровержения были помещены, надобность в примечании к рассказу Ремизова отпала.

Рукопись этой книги была уже сдана в набор, когда появились в печати «Письма Марины Цветаевой к Ю. П. Иваску (1933—1937)». В письме от 4 апреля 1933 г. М. И. Цветаева жаловалась на свое одиночество, предельную бедность и, попутно, — что ее не признают, «просто — не знают»: в Россию ее стихи не доходят, а в эмиграции «сначала (сгоряча) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения». Она обречена на «окончательное изгнание отовсюду, кроме эсеровской „Воли России“». Там «не уставали печатать — месяцами! — самые непонятные для себя вещи... Но „Воля России“ — ныне кончена. Остаются „Числа“, *не* выносящие меня, „Новый град“ — любящий, но печатающий только статьи, и — будь они прокляты! — „Современные записки“, где дело обстоит так: „У нас стихи, вообще, на задворках. Мы хотим, чтобы на 6 стр. — 12 поэтов (слова литер. редактора Руднева, — мне, *при свидетелях*)“. И такие послания: „М. И., пришлите нам, пожалуйста, стихов, но только *подходящих* для нашего читателя. Вы уже знаете...“. Большей частью я не знаю (знать не хочу!) и ничего не посылаю, ибо за 16 строк — 16 франков, а больше не берут и не дают. Просто — не стоит: марки на пересылку дороже! Нищеты, в которой я живу, Вы себе представить не можете» и т. д.[1].

За время существования «Современных записок» приходилось многократно выслушивать недовольство, иногда даже возмущение сотрудников отдельными редакторами и редакцией в целом. Но о «проклятиях» журналу, «Современным запискам», приходится слушать впервые, — через 17 лет после того, как не стало ни Цветаевой, ни Руднева, ни «Современных записок». *Объяснение* ее словам можно найти, конечно, в материально безысходном и тяжелом душевном

[1] «Русский литературный архив» под редакцией М. Карповича и Дж. Чижевского. Нью-Йорк, 1956. С. 212.

состоянии М. И. Цветаевой того времени. Оно, действительно, было трагичным. Но *оправданы* ли ее «проклятия»? На мой взгляд, они не имеют под собой даже того основания, на которое Цветаева ссылается.

Из 70 книг «Современных записок» Цветаева печаталась в 36, — столько же *до* ее проклятия, сколько и после него, причем к первому периоду относятся и те годы, когда, став «ближайшей участницей» альманаха Святополка-Мирского «Версты», она сама отошла от «Современных записок». У нас печатались не только ее стихотворения, в том числе «Фортуна», стихотворная «пьеса в 5 картинах», но и ее художественная проза: воспоминания о себе, о матери, Максимилиане Волошине, Белом, Кузмине, о «Моем Пушкине».

Основательна ли после этого, справедлива ли жалоба Цветаевой на «окончательное изгнание отовсюду», — в частности из «Современных записок»?

Прибавлю, что некоторые взгляды Цветаевой были очень далеки и чужды всем членам редакции, не исключая и Руднева[1], которого Цветаева неосновательно именует «литературным редактором» — такого в журнале не было — и которому она была близка по религиозной устремленности. При отличных отношениях с Цветаевой оплошностью Руднева, очевидно, была чрезмерная доверчивость и упрощенность, с которой он говорил с духовно близким ему сотрудником о стихах «на задворках», «подходящих стихах» и проч. Что же касается совершенно «непонятных для себя вещей», как издевалась Цветаева над теми, кто «не уставали (их) печатать», — действительно, скажу за себя, я всегда противился их напечатанию.

В дополнение к своим прежним сотрудникам «Современные записки» унаследовали от «Верст» и одного нового. То был Е. Богданов, получивший позднее широкую известность под своим настоящим именем — Григория Петровича Федотова. Унаследовали «Современные записки» от «Верст» и

[1] В том же письме Цветаева отмечает, что ее ненависть к большевикам не такая, как у других, а *«иная»*. Эмигранты ненавидят п. ч. отняли имения, *я* ненавижу за то, что Бориса Пастернака могут (так и было) не пустить в его любимый Марбург,— а меня — в мою рожденную Москву· А казни, голубчик — все палачи — братья: что́ недавняя казнь русского с *правильным* судом и следами адвоката — что́ выстрел в спину чеки — клянусь, что все это одно и то же, как бы оно ни звалось».

Бессмысленное убийство неуравновешенным Горгуловым неповинного французского президента Думэра приравнять к умышленным казням ЧК могло лишь сознание анархиста или безответственно капризной поэтессы. И «клятва» ее в данном случае столь же убедительна, как и ее «проклятие» журналу, в котором сама сотрудничала и раньше, и позже.

приверженность к новому термину «пореволюционный». Пореволюционное сознание под пером Федотова, Степуна и Фондаминского стало обозначать не только хронологический факт, или категорию времени, а и особое историко-психологическое и качественное состояние, имевшее якобы преимущества пред сознанием революционным и предреволюционным.

ГЛАВА VI

Силуэты литературных и политических сотрудников: Б. Э. Нольде.— О. О. Грузенберг.— А. А. Кизеветтер.— И. С. Шмелев.— М. А. Осоргин.— В. Ф. Ходасевич.— З. Н. Гиппиус.— Ф. А. Степун.— Г. П. Федотов.

Б. Э. Нольде

Сотрудников «Современных записок» можно различать по разным признакам: старые писатели, с уже установленной репутацией, и молодые, только начинающие, и такие, для кого писательство еще не стало профессией; авторы художественных произведений и — ученые, экономисты, историки, философы, юристы, публицисты; талантливые и яркие и — тусклые и скучные, чтобы не сказать бездарные. С технически редакционной точки зрения, может быть, наиболее серьезным было различение сотрудников по принадлежности их к разряду строптивых и покладистых, готовых идти навстречу нуждам журнала и не предъявлявших к редакции претензий и жалоб — материальных, технических, идейных.

Борис Эммануилович Нольде принадлежал к этой последней категории, к меньшинству. Больше того: среди нетребовательных он, можно сказать, выделялся своей готовностью удовлетворить все пожелания и нужды редакции. И сам он предлагал журналу интересовавшие его темы, и никогда не отказывался написать статью или рецензию, в которых были заинтересованы «Современные записки».

Первоклассный юрист, он обладал живым интересом и «вкусом» к правовой науке, огромными знаниями и острым аналитическим умом. Он был не только мастером своего ремесла, он и любил его и заслуженно пользовался большим авторитетом в мире юристов — русских и иностранных. Специальностью Нольде было публичное право — государственное, финансовое, международное: в 1917 г. он занял кафедру знаменитого петербургского международника Ф. Ф. Мар-

тенса. Но интересовался он и другими отраслями права: гражданским, торговым, морским. Он читал лекции в университетах России, Франции, Бельгии, Голландии и печатал статьи, монографии, курсы, учебники на русском, французском, немецком и английском языках. Б. Э. был теоретиком права — историком, догматиком, компаративистом и политиком права. Вместе с тем он и практически участвовал в выработке правовых норм. В должности сначала юрисконсульта, а потом директора юридического, а затем экономического и административного отделов министерства иностранных дел, Б. Э. участвовал в многочисленных и самых разнообразных международных конференциях: во 2-й конференции мира в Гааге, в конференции по охране тюленей от истребления, в конференции о финансах на Балканах и т. п.

Нельзя не упомянуть особо о замечательных «Очерках государственного права», выпущенных Нольде в 1911 г. Третья часть этой книги, написанной для юристов, не может не привлечь к себе внимания и будущего политика, который столкнется с вопросом о взаимоотношениях между русским «имперским» правом и правом местным — «областных автономий», возникших «на собственном праве» разного объема и разных юридических титулов. Под конец жизни Б. Э. Нольде вернулся к той же проблеме, которой интересовался еще до первой мировой войны, но уже не столько в юридическом, сколько в историческом аспекте. В письме, полученном за год до его смерти, Нольде писал мне: «...Я поглощен огромной, затеянной мною исторической работой, посвященной „имперскому" развитию России. Кроме строк историков о взятии Казани или Очакова, или Геок-Тепе, никто не занимался у нас этой имперской историей в целом. Двигается эта работа медленно, ибо все в ней исследование. Я одолел пока среднюю Волгу, Урал и Западную Сибирь, черноморские степи от Екатеринодара до Кишинева и сейчас поглощен Кавказом».

Говоря о Нольде-государственнике, нельзя не упомянуть и небольшого очерка, помещенного Нольде в редактированном мною в 1921 г. в Париже сборнике «Современные проблемы». Очерк назывался «Народное представительство и представительство интересов». В нем всего 14 страниц убористой печати, но он представляет собой, на мой взгляд, образец сжатой и убедительной критики всех видов народоправства, построенного на представительстве не лиц, а «групп» или «интересов»,— «советов», «корпораций» и т. п.[1].

---

[1] По-видимому, и Б. Э. ценил этот очерк. Он перепечатал его под заглавием «Современная демократия» в выпущенном им сборнике статей «Далекое и близкое». Париж, 1930.

Дарования и знания Нольде были по заслугам оценены и русским юридическим миром — правительственным и общественным, — и юридическими авторитетами других стран. В 1914 г. Нольде избрали членом постоянной Палаты арбитражного суда в Гааге. Он состоял членом Международного Института Права — высшего авторитета в науке права — и не раз выступал с докладами на съездах Института. А осенью 1947 г., невзирая на свою верность «нансеновскому» паспорту и состоянию бесподданства, он был избран председателем этого авторитетнейшего учреждения.

Б. Э. был историком права и в то же время первоклассным историком идей, дипломатических отношений, общественных движений, жизни отдельных выдающихся государственных деятелей и мыслителей. И этой отраслью знаний он занимался с увлечением всю жизнь, посвящая ей досуги от профессиональной работы и службы. Нольде был плодовитый автор. Он знал и любил свое ремесло, был отличным стилистом. Писал книги и статьи — в специальных изданиях и в общих. Не брезговал временами и газетами.

Нет возможности перечислить все им написанное. В качестве иллюстрации к разнообразию занимавших его вопросов и тем, можно привести, с одной стороны, такие специальные работы, как «Оговорка о наибольшем благоприятствовании и преференциальных тарифах», «Деньги в международном праве», а, с другой стороны, — такие, как «Россия в экономической войне» (по-английски), «Старый режим и русская революция» (по-французски), «Юрий Самарин и его время», «Петербургская миссия Бисмарка» (по-русски и по-немецки), «Франко-русский союз» и «Образование российской империи» (по-французски).

Интересуясь историей права, Нольде интересовался и историей вообще и, интересуясь политикой права, он стал заниматься и практической политикой. Эта сторона его жизнедеятельности была наиболее слабой и спорной.

Б. Э. имел, конечно, свои политические — умеренно-либеральные — взгляды. Вряд ли можно утверждать, однако, что у него были и твердые убеждения. И объясняется это скорее всего его отношением к политике, как ценности второго порядка, и общим складом его ума и характера. Всю жизнь занимаясь всякими проблемами и доктринами, Нольде не грешил доктринерством, а брал вещи такими, какими они ему представлялись, — «реалистически», без прикрас, с законным скепсисом.

Реальность — обстоятельства военного времени и неудачи России в первую войну — привели Нольде в ряды оппозиции, в партию к. д., в ее Центральный Комитет. В февральский период русской истории Нольде стал одним из товарищей министра иностранных дел при министре П. Н. Милюкове.

Вместе с последним он и покинул министерство. На том же правом крыле к. д. партии, руководимом Милюковым, застал Нольде и октябрьский переворот. Приблизительно тогда же началось между ними личное и политическое расхождение, с годами только увеличивавшееся.

Раньше других к. д. пришел Нольде к убеждению, что революцию «сделали», поскольку ее «делали», отнюдь не для успешного завершения войны. Эту «концепцию Милюкова», — которая была, может быть, и близорукой исторически, но концепцией и большинства руководителей «революционной» и нереволюционной демократии, — Нольде позднее признал «одним из наивнейших самообманов этой богатой всякими фикциями эпохи». По его — может быть, партийно-полемическому — утверждению, «у Дана, Гоца, Скобелева, даже Керенского... сознание невозможности в одно и то же время вести войну и канализовать революцию было гораздо более ясным, чем у официальных вождей кадетов»[1].

Кто помнит лозунги февральской эпохи, не может не заметить — правда, задним числом, — тождества взгляда Нольде с теми (интернационалистами-меньшевиками), кто утверждал: либо революция «съест» войну, либо война «съест» революцию. Нольде свидетельствует, что уже тогда он вместе с Набоковым, Аджемовым, Винавером предлагал «свернуть с путей нашего классического империализма». Так было в 1917 г., но в 1918-м пути названных лиц тоже разошлись. После заключения большевиками сепаратного мира в Брест-Литовске Нольде оказался снова на короткое время с Милюковым, Новгородцевым и другими кадетами, которые, вопреки большинству партии, руководимому Винавером, настаивали на сепаратном соглашении с немцами для свержения большевистской диктатуры.

Попав, как и все кадеты, в число «врагов народа», Нольде тем не менее продолжал читать лекции в петроградском университете и морской академии до 1919 г., когда покинул Россию и навсегда перешел на положение полуправного эмигранта-апатрида. В эмиграции Нольде окончательно разошелся с левым крылом к. д., образовавшим во главе с Милюковым так называемое республиканско-демократическое объединение. Он вообще отошел от политики, но чувствовал себя единомышленником В. Д. Набокова, редактировавшего берлинский «Руль». Он стал сотрудничать в парижской газете Струве — Гукасова «Возрождение».

Политический «реализм» или, если хотите, оппортунизм, позволивший Нольде относиться без предвзятости ко всем политическим направлениям, способствовал, вероятно, и тому, что он без колебаний принял предложение о сотрудни-

---

[1] «Архив русской революции». Т. VII.

честве в журнале, руководимом эсерами. Он сразу и с самого начала согласился писать в «Современных записках», не выжидая, как другие, какими покажут себя редакторы. И это невзирая на то, что Нольде дорожил своим званием барона и никогда не возражал против того, что многие его титуловали. Не расставался он и со своей розеткой офицера почетного легиона, которую получил задолго до того, как очутился во Франции на эмигрантском положении. И вместе с тем, при всех унаследованных и благоприобретенных чинах и званиях, Б. Э. был исключительно простым в обращении, на редкость доступным «демократом».

Невысокого роста, с волосами светло-рыжеватого оттенка, сухой и подобранный, всегда безукоризненно одетый, в котелке или канотье, с галстуком бабочкой, в пенсне, которое к концу жизни сменили роговые очки, попыхивал он папиросой и, улыбаясь, а то и по-детски подхихикивая, непринужденно беседовал со всяким, кому было до него дело. Б. Э. любил жизнь и имел вкус ко многому и разному. Он знал толк в искусно приготовленной пище, мог оценить хорошую папиросу после завтрака и обеда или полстакана — не больше — выдержанного вина. В 60-летнем возрасте он стал управлять автомобилем и продолжал ездить верхом. Приобретя имение в департаменте Сарт, занялся садоводством и древонасаждением.

Таким же «гурманом» был он и в отношении духовных радостей жизни: поглощал огромное количество книг самого разнообразного содержания, — не только по своей профессии и специальности, — и писал, писал по собственному замыслу и почину и по «заказу» разных редакций, в частности, — «Современных записок».

Я познакомился с Б. Э. Нольде 25 мая 1917 г., когда в Мариинском дворце открылось Особое Совещание по выработке закона о выборах в Учредительное собрание. Нольде вошел в это Совещание в качестве специалиста, наряду с Ф. Ф. Кокошкиным (председатель), Н. Н. Авиновым (секретарь), В. М. Гессеном, Н. И. Лазаревским, В. Д. Набоковым, В. А. Маклаковым и другими. Держался он там очень скромно, даже несколько в тени. Ни разу не выступал при обсуждении общих вопросов или «принципов», на которых должен был быть построен избирательный закон. Зато он взялся за едва ли не наиболее трудную задачу — за разработку специального вопроса об организации выборов на фронте от армии и флота. Как позднее писал он, соответствующая часть Положения о выборах «навсегда останется единственным в своем роде прецедентом в истории избирательного права. Всеобщие выборы в их самой современной

и тончайшей постановке приходилось применить в полевых окопах, лицом к лицу с немецкой тяжелой артиллерией. Сколько настойчивости, выдержки и политики надо было вкладывать в эту работу, чтобы не сделать из выборов на фронте простого предлога для дезертирства. Приходилось с трудом отбиваться от максимализма левых коллег, частью еще не успевших к тому времени научиться государственному делу».

Нольде превосходно справился со своей задачей. И когда, по завершении работ Совещания, надо было из 70-членного собрания выделить 15-членную Всероссийскую Комиссию по выборам для наблюдения за практическим осуществлением того, что было написано в Положении о выборах, Нольде был избран в эту Комиссию как незаменимый специалист. Участие в этой Комиссии привело Нольде, вместе с другими ее членами, к аресту по распоряжению Ленина. Мы провели в заключении около недели в Смольном институте, который в первое время после октябрьского переворота служил не только штаб-квартирой большевиков, но и арестным помещением для их противников. Ряд эпизодов, связанных со встречами с Б. Э. во время революции, как и «сидение» в Смольном, я описал в «Дани прошлому».

Совместное заключение, как школа или казарма, сближает людей самых разных положений, среды, воспитания, устремлений. И в парижской эмиграции у меня с Б. Э. сохранились самые дружественные отношения, несмотря на политические разногласия. Встречались мы сравнительно редко и больше всё «по делам» — общественным, академическим, литературным.

Нольде принял близкое участие в организации и деятельности созданного в Париже Российского Общества в защиту Лиги Наций. Он сотрудничал в «Современных записках», с первой же книги начиная. Его перу принадлежат статьи: «Лига Народов и международный суд»; «Германская империя»; «Вашингтонская конференция»; «Советская дипломатия»; «Локарно и Россия»; «Из истории русской катастрофы»; «С. Д. Сазонов и русские союзы»; «Воспоминания князя Бюлова». Поместил Нольде в «Современных записках» и несколько рецензий на случайные темы: о публичных долгах, о процедуре международного примирения, о бесподданных. Он изучал всю литературу предмета, о котором писал. И писал он простым и точным, элегантным (он любил это слово) языком. И потому его статьи привлекали к себе внимание читателей, даже когда они носили специальный характер.

В Париже мы встречались и на заседаниях русского юридического факультета при Институте Славяноведения. Материально и профессионально Нольде не был нисколько заин-

тересован в существовании этого учреждения. Тем не менее в течение нескольких лет он отдавал ему время и внимание в качестве декана факультета. Б. Э. вел заседания необычайно скромно и сдержанно, не откликаясь на нервозные выходки некоторых коллег, среди которых были люди самых разных взглядов и настроений. Нольде не славился красноречием и не любил публичных выступлений перед малоподготовленной аудиторией. Скорей застенчивый, он предпочитал не вступать в пререкания и либо отмалчивался, либо отделывался шуткой или ироническим замечанием «в сторону». Незлобивый и незлопамятный, он не считал, что в споре вопрос решается тем, за кем остается последнее слово или кто больнее уязвит оппонента.

Б. Нольде опубликовал на французском языке небольшую книжку «Старый режим и русская революция». Французская академия увенчала ее премией. Я же считал, что говорить о крестьянской реформе 1861 года, как о «сполиации» помещичьего землевладения, предрешившей успех большевизма, является историческим анахронизмом, неверным и неприемлемым и морально-политически. Искажая перспективу, такое толкование частично снимало ответственность с большевизма и перелагало ее на реформу, не доведенную до конца, но по существу благодетельную. Я дал об этой книге очень неблагоприятный отзыв в еженедельнике «Дни».

При очередной встрече Б. Э. не сделал вида, будто ничего не произошло и он статьи не читал. Лукаво улыбаясь и добродушно подхихикивая, он с того и начал:

— Читал, читал, как Вы меня разнесли!.. Напрасно!.. Знаете, мне лично эта книжечка нравится!..

И это было все. На наших отношениях это не отразилось. Б. Э. по-прежнему оставался приветливым и любезным. Из многолетнего опыта, авторского и редакторского, я хорошо знаю, как редко встречаются незлопамятные писатели.

Наступление Гитлера на Париж навсегда разлучило нас: Нольде уехал к себе в имение, а я попал в Соединенные Штаты. Б. Э. достойно прожил все годы немецкой оккупации. Не без огорчения прочел я, по окончании войны, его излишние славословия по адресу «безукоризненной» советской дипломатии — рядом с совершенно трезвым опасением, как бы советская власть не увлеклась и не «надела аркан на политику соседних самостоятельных народностей». Тогда же я отозвался в печати на эти взгляды («Новый журнал». № 11). Не вступая со мной в полемику, Б. Э. позже писал мне: «Я вижу, что Вы живо следите за всеми переживаниями русской здешней колонии. Прежние „водоразделы“ более или менее исчезли, и сейчас они происходят иначе: отчасти по переживаниям годов немецкой оккупации, отчасти

по переживаниям первых годов „освобождения“ и присно-памятного визита к Богомолову. Лично я ни одной минуты не сомневался в победе союзников и ни одной минуты не сочувствовал „просоветской“ ориентации после конца войны. Советы вели себя весьма умно во время войны и ведут себя до крайности глупо со времени ее окончания. Объяснение этой эволюции весьма просто: сочетание восточного лукавства Сталина и отсутствие всякого политического воспитания в нем и в его „головотяпском“ окружении».

Судьба жестоко обошлась с русскими государствоведами. Она сугубо преследовала государствоведение. Государству, как «паразиту», предстояло, по Энгельсу и Ленину, «отмереть». Но *до* того «отмерли» — и не всегда естественной смертью — государствоведы в России.

Мартиролог был открыт зверским умерщвлением разнузданной матросней Федора Федоровича Кокошкина — вместе с А. И. Шингаревым — в больнице, в ночь после разгона Учредительного собрания.

Тремя годами позднее был расстрелян, в порядке организованного «красного террора», Николай Иванович Лазаревский — вместе с Гумилевым, Таганцевым и др.

В годы гражданской войны «своей» смертью умерли — от сыпняка — Владимир Матвеевич Гессен и Богдан Александрович Кистяковский.

Монархисты-реставраторы в Берлине, целясь в П. Н. Милюкова, убили Владимира Дмитриевича Набокова.

Десятилетием позже наложил на себя руки в Варшаве знаменитый Лев Иосифович Петражицкий.

На пражском кладбище похоронили Павла Ивановича Новгородцева.

На парижском кладбище лежит прах сравнительно молодого Павла Павловича Гронского, незадолго до смерти лишившегося рассудка.

И, наконец, в Лозанне внезапно оборвалась, уже в 70-летнем возрасте, жизнь последнего из плеяды выдающихся русских государствоведов досоветского периода русской истории, Бориса Эммануиловича Нольде.

О. О. Грузенберг

В редакцию наведывались сотрудники, жившие в Париже и наезжавшие из других городов и стран. Визитеры были разные — интересные и нудные, и разговоры были делового порядка и на общие темы, обо всем и ни о чем.

Зашел как-то за корректурой своей «Митиной любви» Бунин. Спросил мое мнение. Я, конечно, похвалил, но после всяких комплиментов и оговорок, все же дерзнул заметить, что самоубийство Мити, на мой взгляд, недостаточно мотивировано:

— Точно автор хотел облегчить свою задачу. Митя застрелился во всяком случае преждевременно.

И. А. задумался на минуту, а потом сказал:

— Хорошо, посмотрю. Еще раз подумаю...

На следующий день, возвращая корректуру, заявил:

— Нет, вы не правы... Митя должен был покончить с собой!..[1]

Среди множества посетителей, перебывавших у меня в редакции в полутемной комнате, где и днем горело электричество, запомнился визит приехавшего из Риги прославленного Оскара Осиповича Грузенберга. Несравненный «кассатор» по уголовным и политическим делам в сенате и, особенно, в Главном военном суде, Грузенберг был известен как человек великих страстей и мелких забот. Его имя, как имена Спасовича и Плевако, вошли в «фольклор» русских юристов — адвокатуры, прокуратуры, суда. Выдуманные анекдоты и действительные происшествия характеризовали тщеславие и суеверие Грузенберга и, с другой стороны, его исключительную находчивость, острый анализ и язык, не считавшийся ни с каким авторитетом, ни с чьей репутацией. Ради острого словца Грузенберг был способен, действительно, не пощадить ни близкого друга, ни даже самого себя.

Имя Грузенберга мне было известно, конечно, задолго до того, как познакомился с ним, как и с Нольде, в 1917 г. С волнением следил я за его выступлениями на процессе Бейлиса в Киеве, видел и слышал его в Екатерининском зале московской судебной палаты во время мировой войны, когда судили так называемых смоленских дантистов.

Невидимые нити связывали «дело» об умерщвлении Менделем Бейлисом 13-летнего Андрюши Ющинского «из побуждений религиозного изуверства» с городами и местечками, в которых проживало еврейское население России того времени. И в захолустном Егорьевске Рязанской губернии, где я отбывал воинскую повинность, вся команда вольноопределяющихся со мной вместе напряженно следила за тем, как развертывалась драма в далеком Киеве. В моих «со-

---

[1] После напечатания первой части «Митиной любви» (кн. 23) Ходасевич писал мне: «Бунин хорош, *если* не окажется сделанным по рецепту —

Крейцерова Соната	1,00
Aquae destill	100,00

24-я книга это выяснит».— В увлечении Ходасевич насчитал 101 %.

служивцах» говорили и спортивный интерес, и законное любопытство, и тревожное беспокойство, и бескорыстный поиск правды. Для меня здесь было и нечто иное, более существенное.

По обвинению в убийстве с ритуальной целью на скамью подсудимых был посажен мало чем до того замечательный Мендель Бейлис. На первом следствии никто не говорил о ритуальном характере убийства и не доказывал, что в прошлом среди евреев существовали ритуальные убийства. Винили одного Бейлиса в убийстве и истязаниях, не входя в мотивы. Но министр юстиции Щегловитов доложил государю, что убийство Ющинского ритуальное убийство, в котором повинна еврейская религия. Не сам он придумал эту версию, а киевский «Двуглавый Орел». Но высочайшей благодарности за выдумку удостоился Щегловитов. Прежний следователь был после этого отставлен и произвести полицейское дознание поручено было другому. Кто против этого возражал, был объявлен агентом евреев, подкупленным ими.

Бейлис был призван к ответу в качестве «козла отпущения», по выражению Грузенберга в его шестичасовой защитительной речи, — «за все, что было когда-нибудь на протяжении 3000 лет среди миллионов евреев... Евреи живут подле вас, живут с вами, хорошие или плохие, но вы их каждый день видите, и вдруг в одну минуту ударил гром, падает страшное обвинение, кровавый навет, и человек остается одинокий, совершенно отчужденный и совершенно растерянный и перестает понимать, где же связь с прочими людьми, которые к нему относились хорошо».

Это полностью соответствовало и моему душевному состоянию, как я потом рассказал в «Дани прошлому». И я был того мнения, что Бейлис лишь символ, лишь «псевдоним» еврейства, против которого и направлено обвинение с целью его опозорить, осквернить, ранить насмерть.

Соответствующим образом О. О. Грузенберг рекомендовал построить и защиту на суде. Это встретило возражения со стороны других защитников Бейлиса: В. А. Маклакова, Н. П. Карабчевского, А. С. Зарудного, Д. Н. Григоровича-Барского. Исходя из соображений процессуальных и тактических — темный состав присяжных, — оппоненты Грузенберга доказывали, что защищать надо подсудимого, Менделя Бейлиса, а не анонимное и коллективное, абстрактное «еврейство».

На основании обстоятельств дела защитники Бейлиса пришли к убеждению, что убийцей была Чеберяковская воровская шайка. Она убила Ющинского, заподозрив, что тот стал выдавать. Его назначение в шайке было влезать в форточку и отворять двери помещения, которое намечалось для кражи. Убив Ющинского, члены шайки «подделали» труп

под ритуальное убийство, чтобы отвести подозрения. Хотя обвинение было в ритуальном убийстве, председатель суда и прокурор не позволяли защите расследовать этот вопрос, заявляя, что судят не евреев вообще, а вот этого Бейлиса.

Как резюмирует это поведение В. А. Маклаков, — «поступали как раз так, как на процессе первомартовцев поступал прокурор Н. В. Муравьев. Хотя в своей речи он излагал программу всей народовольческой партии, он запрещал подсудимому Желябову ее защищать, говоря, что единственное, что он, Желябов, может утверждать, это, что у него лично было другое отношение. То же самое происходило и на процессе Бейлиса».

В конце концов, каждый защищал Бейлиса так, как считал нужным и лучшим. А присяжные заседатели решили надвое: вынеся оправдательный приговор обвиняемому, они оставили под подозрением, по выражению дореформенного русского суда, еврейство, — «не доказано», что убийство было совершено с ритуальной целью[1].

Дело смоленских дантистов сводилось к тому, что 200 евреев обвинялись в пользовании подложными документами для приобретения, в качестве дантистов, права жительства вне черты оседлости. Как обычно, Грузенберг имел успех — добился оправдания всей группы своих подзащитных в 12 человек. Но на меня его красноречие не произвело особого впечатления. В памяти сохранился лишь тяжеловесный образ воздушного, опущенного на дно морское колокола, из которого выкачали воздух.

И личное знакомство с Грузенбергом в Петрограде в Особом Совещании по выработке закона о выборах в Учреди-

---

[1] По окончании процесса В. А. Маклаков напечатал очень интересную статью «Спасительное предостережение. Смысл дела Бейлиса» в «Русской мысли» П. Б. Струве. В ней он остроумно, но, на мой взгляд, слишком благодушно истолковал двусмысленный вердикт присяжных. В этой статье *после* процесса можно было найти и некоторое подтверждение правильности подхода Грузенберга. Власть, писал Маклаков, «стала доказывать в обвинительном акте, что сама еврейская вера учит употреблению крови... Увлекшись горделивой мыслью поставить «мировое дело» на суд, взяв подсудимым не Бейлиса и его *изуверство*, а еврейство и еврейскую *веру*, наша власть» и т. д. Автор прибавил: «Быть может, в интересах Бейлиса надлежало сказать: „Не поднимайте перчатки, молчите". Но если это можно сказать, то трудно исполнить».

И В. А. Маклаков, как мне казалось, «поднял перчатку» в статье. Но в переписке, возникшей по этому поводу, он пишет: «Я никогда не становился на точку зрения Грузенберга. Конечно, можно было утверждать, что в ответе «не доказано» заключалось косвенное признание существования ритуального убийства. Витте мне говорил, что Ротшильд ему это написал. Но я утверждаю, что если бы был малейший намек на участие в убийстве Бейлиса, то оправдательный приговор был бы *невозможен»*. (7.XI.56).

тельное собрание не оставило во мне заметного следа. Работа Совещания протекала методично и спокойно. Шло обсуждение, а не борьба — за жизнь, свободу и достоинство человека, что составляло профессиональную стихию Грузенберга. Может быть, именно потому, что обстановка была непривычной для него, он в Особом Совещании никак не выделился и, по-видимому, сам чувствовал себя там не слишком уютно и уверенно.

Когда Грузенберг попал в Берлин в 1921 г., я списался с ним и, не без сопротивления с его стороны, склонил дать «Современным запискам» очерки его воспоминаний. Он упирался, ссылаясь на то, что не хочет из активных борцов перечислиться в кадры б-ы-в-ш-и-х, только вспоминающих о былой борьбе.

Своему первому очерку, напечатанному в 21-й книге «Современных записок», «Поручик Пирогов», автор предпослал предисловие, в котором, между прочим, говорил: «Пришло время заглянуть в свое сердце... Что в нем сохранилось? Что оно любило и что ненавидело... посмотреть, нащупать рубцы ран, вспомнить те жизненные битвы, в которых они были нанесены... Вправе ли я делать это публично? Да, вправе. Ведь сердце мое сейчас такое усталое, больное, — сжималось от горя, ширилось от восторга, безрассудно расточало свою лучшую кровь — не только за себя и не только для себя... зажигайся воспоминание, буди уснувшее...

Вставайте вы, мои незабываемые, вы, которых я прикрывал своей грудью, за которых сыпались на меня тяжелые удары... Вспоминается метание, вместе с моими сотоварищами, по разным концам страны. Припоминаются мрачные залы суда, угрюмые судьи, равнодушно сосчитывающие человеческую греховность... Вот-вот захлестнет петля палача. Вот-вот навсегда закроются ставшие мне почему-то дорогими глаза· западут виски, заострится нос, — и ужас сжимал мое сердце.

— Нет, не отдам, не будет от меня поживы палачу.

...Дать человеку жизнь не в опьянении страсти, не в любовной похоти, а в муках борьбы, в дрожи ответственности... Разрезать веревку на шее совершенно чужого тебе человека: разве есть на свете радость глубже и прекраснее...

Побелели волосы. Стынет сердце. Чудится — люди опустились на четвереньки. Так — думают они — вернее добредут до вселенской благости.

...Я делаю смотр себе — смотр после долгого и трудного пути, среди грязи, копоти и дыма несчастной, бесконечно милой мне родины... Я делаю смотр, смотр самому себе пред лицом неожиданно нагрянувшего придирчивого реви-

зора — старости... Защити!.. Не попусти, чтобы моя юность должна была краснеть за мою старость»[1].

Так писал 57-летний Грузенберг, за 17 лет до смерти, — в обычной для него красочной и, я бы сказал, приподнято аффектированной манере. Много проще и выразительнее была его устная речь, не торжественная или условная в суде, а в простой беседе с глазу на глаз.

Он пришел в редакцию без предупреждения, когда я был занят неотложным делом и не слишком обрадовался визитеру. Но постепенно картина изменилась. Незаметно для себя и помимо своей воли, я стал прислушиваться внимательнее. Грузенберг оказался необыкновенным рассказчиком. Он помнил не только сенатские решения за многие десятки лет, но и классическую литературу, русскую и немецкую, и даже всякую мелочь — до неблагоприятного отзыва о себе самом, насчитывавшего четвертьвековую давность. Он не позволял перебивать себя вопросом или попутным замечанием и перебрасывался с одного сюжета — и человека — на другой. Перо мое было отложено в сторону, кассовая и другие книги закрыты, я весь обратился в слух. Давно уже кончились часы приема в редакции, а О. О. говорил и говорил, а я не мог оторваться и слушал его монолог как зачарованный, несмотря на срочные дела.

Борец — или боец — по натуре, Грузенберг вырос в борьбе и был всегда к ней готов. Он привык к открытой и большой арене для борьбы, с зрителями и слушателями, с публичным оказательством внимания и признания. В эмиграции ему не хватало воздуха, он в ней задыхался. Лучшее, что он дал здесь, были его воспоминания. В «Современных записках», кроме «Поручика Пирогова», был помещен его знаменитый «Бред войны» — о полковнике Мясоедове и братьях Фрейберг, портном Гольцмане и других (кн. 24 и 25).

О. Грузенберг был требовательный человек — требовательный читатель и еще более требовательный писатель. Будучи в своей области «единственным» по авторитету и успехам, которых ему удавалось достигать, Грузенберг нелегко мирился с тем, что в других областях руководящее положение занимали другие юристы, — в политике Винавер, в журналистике И. В. Гессен и т. д.

У меня сохранилось огромных размеров эпистолярное наследство О. О. с разбросанными там и тут всегда яркими, но часто необоснованными и несправедливыми характеристи-

---

[1] Перепечатав «Поручика Пирогова» через 15 лет в книге воспоминаний «Вчера», О. О. Грузенберг почему-то опустил напечатанное в «Современных записках» предисловие к нему. С мелкими исправлениями оно появилось под заглавием «Вместо предисловия» в посмертных «Очерках. Речах. Воспоминаниях» О. О. Грузенберга, выпущенных его друзьями в Нью-Йорке в 1944 г.

ками известных литераторов, политических деятелей и простых смертных. Для опубликования даже выдержек из этих писем время еще не пришло.

А. А. Кизеветтер

Как правило, я был связан — точнее, имел дело — со всеми сотрудничавшими в «Современных записках»: принимал их в помещении редакции, вел с ними переписку, посылал корректуры и оттиски, возвращал рукописи, выплачивал гонорары, давал авансы. Были все же и такие сотрудники, которых я и в глаза не видал и в переписке с которыми не состоял. По личной или духовной близости или по другим обстоятельствам некоторые авторы находились как бы в монопольном ведении моих коллег по редакции. Так Фондаминский «ведал», например, Г. В. Флоровским и юным поэтом Штейгером, а Руднев сносился с В. В. Зеньковским, б. российским посланником К. Гулькевичем, М. И. Цветаевой.

Письменные сношения отнимали очень много времени и, когда возможно было, я сокращал их, прибегая к «открыткам» с фактическим сообщением о том, что рукопись получена, принята, не подошла, отложена, требует сокращения и т. п., — но без пространных объяснений или мотивировки. Это не всегда удовлетворяло корреспондентов, но, за некоторыми исключениями, я не мог — физически не мог — действовать иначе. Одним из приятных исключений было переписываться, если можно так сказать, так как «переписка», по существу, бывала односторонней, — с Александром Александровичем Кизеветтером, профессорствовавшим в Праге.

Москвичи моего поколения с отроческих лет были наслышаны о Кизеветтере, как занимательном преподавателе и отличном лекторе. Учителем в гимназических классах Лазаревского Института восточных языков, профессором Московского университета, а потом университета Шанявского в Москве и Карлова университета в Праге, депутатом 2-й Государственной Думы, докладчиком или оппонентом на политическом собрании, за торжественным банкетным столом или на столе в ресторане Яр в день празднования московскими профессорами и студентами Татьянина дня, — всегда его речь выделялась стройностью и ладом, часто остроумием и юмором.

Я увидел его впервые на университетской кафедре в Москве, где приват-доцентом он читал курс лекций о ре-

форме 1861 г. в громадном зале, заполненном филологами-историками и юристами. Прямой, в черном сюртуке, с прославленной бородой «Черномора» и неустойчивым пенсне на черном шнурке, Кизеветтер казался стройным, представительным и несколько чопорным. Когда же сходил с кафедры, он точно терял в росте и выигрывал в обыденности.

Читал он — вернее, говорил — необычайно просто, свободно и выразительно, не избегая образов и стилизованных характеристик, но без нарочитых «красот». Встречал я А. А. несколько раз и у него на дому, в семейной обстановке, где дружил с его падчерицей Наташей Кудрявцевой. Здесь Кизеветтер был веселым острословом и «пересмешником», выдумщиком всяких игр и участником в них, импровизатором эпиграмм и пародий. Помню, как он свою фамилию — немецкого корня — расшифровывал: Кизэ-Веттер — держи нос по ветру!..

Когда возникли «Современные записки», Кизеветтер был еще в Москве и, на правах ученого, имел возможность с ними ознакомиться в Румянцевском читальном зале. Очутившись в изгнании — вместе с другими учеными и писателями, высланными советской властью в 1922 г., — Кизеветтер тотчас же принял предложение о сотрудничестве в «Современных записках». Его статья «Письма царицы» появилась в 13-й книге и с той поры, на протяжении отпущенных ему судьбой 10 лет, едва ли не в каждой книге журнала — до 52-й включительно, — читатель мог найти статью Кизеветтера на историко-политическую тему (9), либо один или несколько отзывов на книги по русской истории (53), либо то и другое.

Но Кизеветтер был не только одним из наиболее усердных сотрудников «Современных записок», он был и внимательным их читателем и нелицеприятным критиком. От того, что критика эта была неофициальной и не подлежала опубликованию, она только выигрывала в своем значении для редакции. По выходе каждой книги, недели через 3—4, с методической точностью получал я письмо А. А., иногда на 16 страницах, на которых характерным для него размашистым почерком делился он в частном порядке своими впечатлениями от прочитанного. Неизменно доброжелательная по своим устремлениям и по отношению к журналу в целом, критика бывала и добродушно иронической, и суровой в отношении отдельных авторов и произведений. К этой критике нельзя было не прислушаться, ибо исходила она от друга журнала, выдающегося ученого, имевшего многолетний опыт в качестве редактора не только специальных изданий, но и общего журнала — «Русская мысль» (совместно с П. Б. Струве).

Приведу образцы «экзотерической» критики Кизеветтера. 11 апреля 1926 г. он писал: «Из вашего любезного приглашения высказать замечания о XXVII кн. „Современных записок“ усматриваю, что Вам еще не совсем наскучили рассуждения литературного старовера. Итак — вот мои посильные заметки.

„Рассказ“ Бунина („Дело корнета Елагина“) написан, конечно, великолепной прозой. Иначе ведь и быть не может. Но мне не очень понятно, зачем он его написал. Все это я уже читал в судебн. хронике, когда много лет тому назад прогремел процесс об убийстве корнетом варшавской актрисы Сосновской. Конечно, в суд. хронике все это было изложено коряво, а у Бунина — высокохудожественно. Но все же рассказ произвел на меня впечатление своего рода литературного сольфеджио. Когда певец упражняет голос в сольфеджио, это очень полезно для его голоса. Но для публики поют романсы и арии.

Читать „Мессию“ Мережковского очень интересно. Однако, нет художественной легкости. Везде — явственная нарочитость. Словно тянется телега с тяжелым грузом и скрипят колеса. Не могу себе представить, чтобы древние египтяне все поголовно были религиозными философами и только и говорили, что о борьбе богов. Вероятно, об этом говорили лишь жрецы, философы, политики. Может быть, я ошибаюсь; может быть, древние египтяне все были Мережковскими. Но тогда это надо было изобразить так, чтобы у читателя не возникало сомнений. А я вот сильно сомневаюсь.

Ремизова не мог одолеть и бросил... Шмелева прочел одним духом — как ярко и какое цельное настроение! „Сивцев Вражек“ очень-очень мил. Осоргина все влекут к себе лавры юмориста. А настоящая его сила — в нежном лиризме.

Попробовал заглянуть в стихи, но сразу натолкнулся на стишок:

Впечатлений детских *сумма*
Проходят в памяти моей...

Натолкнувшись на этот арифметический стишок, поспешил вернуться к прозе. Очень интересна статья Ходасевича. Есенин, как поэт, невероятно раздут, но как типическая фигура кошмарных годов, он изображен Ходасевичем очень выпукло. Статья Степуна представляет собой целый сгусток интересных мыслей. Мыслей, может быть, даже больше, чем нужно, для разъяснения творчества Бунина. Но, конечно, беды в этом нет. Всякий критик поддается искушению не только представить читателю характеризуемого автора, но, кстати, и себя самого показать.

В статье Гиппиус много ума и таланта. Однако, мне думается, что и Ильин, и Гиппиус втуне погружаются в диалектические тонкости. Ильин, конечно, никогда бы не казнил Толстого, а Гиппиус, если не на словах, то в глубине души, по всей вероятности, и одобрила бы кое-какие убийства. Статью Лосского считаю весьма полезной. Гессену (Сергею Иосифовичу) желаю успеха в намерении сосватать либерализм с социализмом. Пока только идут приготовления. Настоящее сватовство, по-видимому, состоится в следующей главе.

В общем же, несмотря на наведенную мною критику, XXVII книжка подобно предыдущим доставила мне несколько очень приятных часов, за которые шлю Вам искреннюю благодарность».

Более пространным был отзыв на 34-ю книгу «Современных записок» от 22 марта 1928 г.

«Бунин, как всегда, дает кусок великолепной русской прозы. Это какая-то блестящая парча; читая, глаза жмуришь от блеска, который соединен с такой простотой стиля, без всяких ужимок, без изощрений. Но „романа“ в этом романе („Жизнь Арсеньева“, начало) пока не видно. Это автобиография, мемуары, облеченные в форму беллетристики. Любопытно, также ли пойдет и далее или это только введение к какой-нибудь фабуле?

У Шмелева („История любовная“) — некоторое оживление; по крайней мере, начались убийства, все-таки некоторое разнообразие. Вещь талантливая, но в ряду произведений Шмелева к лучшим его вещам она причислена не будет. Положительно нельзя так размазывать несложный сюжет. У Осоргина очень хорошо все, что списано с натуры, и гораздо слабее — художественная дополнительная выдумка. ⟨...⟩

Мережковский хочет самого Наполеона убедить в том, что он, т. е. Наполеон, был полон возвышенно религиозных устремлений. Неблагодарная задача! Сам же Мережковский приводит заявления Наполеона, из которых видно, что у Наполеона всё без исключения состояло на службе у политики, т. е. у чисто земных заданий. Но вот написана статья Мережковского превосходно, много яркого и остроумного. Только ведь остроумное не всегда бывает умным.

Статья Маклакова всеми прочтется с интересом, и все придут к заключению, что Маклаков — большая умница. Все ли поверят тому, что роль Маклакова в пресечении жизни Распутина ограничивалась именно теми пределами, на которые он сам указывает, — это еще вопрос.

В статье Флоровского (Г. В. — „Евразийский соблазн“) много верного по адресу евразийцев, хотя его собственная исходная точка опоздала родиться лет на 70 приблизительно.

Но, Боже, как плохо написана его статья! Какой вымученный по изощренности стиль! Какие изысканнейшие словесные сплетения наполняют каждую фразу! Отчего писать стараются так, как никто не стал бы изъясняться в устной речи? Это — дурной тон...

Вашу статью об Учредительном собрании я прочитал с большим интересом. Конечно, я согласен с тем, что разгон Учредительного собрания был омерзительной гнусностью... Но, но... что могло бы сделать Учредительное собрание, если бы большевики дали ему возможность заседать в безвоздушном пространстве? Мое общее отношение к идее Учредительного собрания иное, чем Ваше. Для Вас это один из символов Вашей политической веры, для меня это — только один из возможных приемов государственного строительства, при одних обстоятельствах пригодный, при других обстоятельствах — непригодный. Мне кажется, что в данном вопросе Вы более романтик, я — более реалист. Очень хорошо составлен отдел „Культура и жизнь".

Таковы мои замечания, намеренно придирчивые. А „в общем и целом" (ненавижу это выражение) и эта книжка, как любая иная книжка „Современных записок", драгоценна как увлекательный собеседник, от которого всегда узнаешь много интересного, который всегда натолкнет на ряд живых вопросов, которого слушаешь с неподдельным удовольствием и с которым споришь, чувствуя, что такой спор оплодотворяет мысль, а это при спорах вообще бывает весьма не часто».

В заключение приведу выдержку из письма Кизеветтера от 14 июля 1925 г., в котором он отозвался на 24-ю книгу «Современных записок». В ней, между прочим, появилось «Письмо в редакцию» Н. А. Бердяева «В защиту христианской свободы» — его ответ на критику «Оправдания неравенства» в статьях З. Н. Гиппиус и моей[1]. Кизеветтер писал:

«Усердно аплодирую журналу за Бердяева. Это — изящный поступок: дать ему свободно высказаться и затем возразить ему сильно, но очень корректно[2]. Это вдвойне ценно

---

[1] В своем «Письме» Н. А. Бердяев уже отступил от позиции, занятой в опубликованном им тотчас по приезде за границу «Оправдании неравенства», где он предъявил общий счет за солидарной ответственностью большевикам, народникам, либералам, демократам, даже умеренным консерваторам: «Все вы, интернационалисты, уравнители, упростители, сместители, вы все убийцы, у вас руки в крови. Вы убивали нашу родину, живое существо, носившее имя России». Отойдя от прежней позиции, Бердяев половины 20-х годов был еще далек от позиции, занятой им после мировой войны.

[2] Ответ на «Письмо» Бердяева был дан Ф. А. Степуном, который тогда был в решительной оппозиции если не к Н. А. Бердяеву, то к «бердяевщине», и мной. В качестве эпиграфа к своей статье «Две Свободы», я взял слова Бердяева из его «Миросозерцания Достоевского»: «И часто

и потому, что все это интересно и с точки зрения воспитательного воздействия на журнальные нравы. Вообще я высоко ценю Ваш журнал за его литературное джентльменство. Это тот же дух, в котором мы привыкли работать в «Русских ведомостях». Говорю не о программном направлении, а о литературном благородстве, которое может и должно быть совмещено со всякой программой. А ведь в русской журналистике это — довольно большая редкость.

...Конечно, Вы поверите, что я не комплименты пишу, а выражаю действительное свое впечатление. Я вообще „мужик-горлан", и комплименты — не моя специальность, как говаривал Салтыков».

Я очень ценил сотрудничество А. А. Кизеветтера. Он писал просто и ярко, может быть, иногда несколько старомодно пользуясь стереотипными выражениями и сравнениями. Он охотно и быстро отзывался на все книжные новинки и по числу рецензий занимал первое место в «Современных записках», — если П. М. Бицилли превзошел А. А., это объясняется тем, что сотрудничество Кизеветтера закончилось на 52-й книге журнала.

Но я ценил сотрудничество А. А. не только как один из редакторов «Современных записок». Я ценил его писания и потому, что его общая историческая установка была мне близка и дорога. Он отчетливо формулировал ее в пространной и весьма поучительной статье «Общие построения русской истории в современной литературе», появившейся в 37-й книге «Современных записок».

Статья состояла из двух частей, озаглавленных: 1. История без народа и 2. Народ вне истории. Первая часть была направлена против взглядов Б. Э. Нольде, вторая — против И. И. Фондаминского — Бунакова. Нольде напечатал в «Monde Slave» за февраль и март 1927 г. свои «Размышления о политическом развитии России». Здесь он утверждал, что на протяжении всей русской истории единственной направляющей и творческой силой в ходе государственного строительства была правительственная власть. Общественные группы были пассивны и послушно поддавались планированному сверху переустройству государства. Короче говоря, русская история творилась без активного участия народа. Русской истории искони были присущи конфискации, сполиации, диктатура. И большевизм — как бы в общей линии русской истории, из нее вытекает.

трудно бывает определить, почему русский человек объявляет бунт против культуры и истории и низвергает все ценности, почему он оголяется, потому ли, что он нигилист или потому, что он апокалиптик и устремлен к все разрешающему религиозному концу истории».

А. Кизеветтер решительно отвергал эти утверждения. Приводя ряд исторических фактов, он доказывал, что русский народ, как все другие народы, наделен творческим инстинктом и активно творил свою историю. И общественный почин играл немалую роль в истории русской государственности. Роль духовенства и «людей служилых», «посадских людей» и «провинциального служилого дворянства», как и история русской колонизации и всей «бунташной России», никак не укладываются в выдвинутую Нольде схему. «Не из одной же казенной бумаги было построено русское государство; не указами московских „приказов", не промемориями петербургских канцелярий, не докладными записками кабинетных прожектеров оно было сплочено, а стояли за всеми этими бумажными ворохами живые человеческие силы с плотью и кровью».

И успех большевиков Кизеветтер объяснял не пассивностью социальных низов и непривычкой класть свои шеи под рабское ярмо, а тем, что «односторонне направленная социальная политика старой власти во второй половине 19-го столетия и первого десятилетия 20-го вызвала в тех же низах наклонность оказывать доверие тем, кто прикроет свои замыслы наиболее резким осуждением этой старой власти».

Разошелся Кизеветтер решительно и с Бунаковым. И не только с его оценкой Московского государства, как «восточного», в котором «все построено на Боге и Богом открыто». Кизеветтер решительно отвергал самый метод исторического познания, который защищал Бунаков, противопоставляя «рационалистической и материалистической западной науке половины XIX века», искавшей причины исторических событий «во внешних явлениях: природе, хозяйстве, военных нашествиях», — более совершенное познание путем проникновения в «душу народа», в «тайны его индивидуальности», в «стиль культуры и эпохи». Причисляя себя к «историкам-реалистам», Кизеветтер напоминал, что «реалистический» метод не есть непременно «материалистический», ибо он распространяется и на явления духовного порядка. Но чтение в душе народа, как в раскрытой книге, не дано никому и не следует искать «выражения помыслов народной души» в канцелярских бумагах и придворных хрониках — «московские дьяки умели писать не хуже петербургских статс-секретарей».

И. Бунаков исходил из положения, что предшествующая русская историография страдала влечением к полному уподоблению русского исторического процесса соответственным формам исторической жизни западноевропейских государств. «Мы же полагаем, — возражал Кизеветтер на статью Бунакова в 32-й книге „Современных записок", — что наша исто-

риография была повинна в односторонности прямо обратной... Всего более стремились подчеркнуть *различие* исторической жизни России от исторической жизни европейского Запада, либо игнорируя, либо сильно затушевывая момент сходства и общности».

Какого бы мнения ни держаться по этому вопросу, нельзя не признать, что подход к нему Кизеветтера сохраняет все свое значение по сей день.

А. Кизеветтер скончался в изгнании, в Праге, 9 января 1933 г. На следующий день умер в ссылке, в Самаре, другой выдающийся историк С. Ф. Платонов. И в 51-й книге «Современных записок», одновременно с небольшой моей заметкой «Памяти А. А. Кизеветтера», появилась большая — и блестящая — статья П. Н. Милюкова «Два русских историка». В ней дана была сравнительная характеристика Кизеветтера и Платонова, как представителей двух разных исторических школ, московской и петербургской, которые несли и личный отпечаток той и другой столицы (хотя родом Кизеветтер был из Оренбурга).

Как и Милюков, Кизеветтер был учеником Ключевского. Но учился он и у Милюкова. Моложе последнего на 7 лет, А. А. был в числе первых слушателей Милюкова в Московском университете и входил в кружок молодых историков, собиравшихся у Милюкова на дому. Позднее Кизеветтер вошел и в возглавленную Милюковым партию к. д. и был избран, как кандидат партии, от Москвы во 2-ю Думу. Для избирательной кампании Кизеветтер изложил программу и тактику к. д. в форме диалога, который пользовался в то время громадным успехом под названием «Кизеветтеровская шпаргалка».

Военный коммунизм А. А. пережил в Москве. С горечью вспоминал он об этом времени: «Я был одним из немногих, оставшихся на месте и обрекших себя тем самым на частые и продолжительные тюремные заключения, постоянные обыски и ежеминутную опасность быть выведенным в расход». В эмиграции он «сблизился с деятелями умеренного крыла партии к. д.», — писал Милюков и, можно сказать, все дальше отходил от политики. Милюков вообще считал, что «по природе» Кизеветтер не политик, а ученый и писатель. Тем не менее немало жизненной его энергии ушло на политику и публицистику, ибо, как правильно заметил Кизеветтер о самом себе и других русских интеллигентах, «бывают в жизни страны грозные моменты, когда каждый гражданин обязан принять участие в общей политической „страде“».

Здесь А. А. старался следовать традиции своего родного университета, которую он определял, как «слияние и органическое совмещение служения научной истине со служением общественному благу».

И. С. Шмелев

Другим моим постоянным корреспондентом был Иван Сергеевич Шмелев. Он почему-то предпочитал переписку беседе при личном свидании, хотя большую часть года жил в парижском предместье Севр и только на весну и лето уезжал «к себе», на юг Франции в Капбретон, в лесные и песчаные Ланды на побережье Атлантического океана.

В эмиграцию Шмелев попал в самом начале 20-х годов после потери своего единственного сына, расстрелянного большевиками в Крыму после поражения армии Врангеля. Рана оставалась открытой и кровоточила во все последующие годы. И. С. постоянно хворал и вел сравнительно уединенный образ жизни. Его творчество и раньше не было чуждо надрыва. В эмиграции оно стало еще более аффектированным.

От природы добрый и отзывчивый, Шмелев всегда был многоречив и велеречив. Потрясенный несчастьем, Шмелев в своих писаниях часто злоупотреблял педалью и давал выражение своему негодованию и лирике в повышенной форме. Верующий христианин, он пребывал в твердом убеждении, что Бог правду видит и непременно ее скажет раньше или позже и каждому воздаст по его делам. «Россия не за горами», «скоро вышибут стяги и знамена *водителей*... и, гл. обр., носителей социализма... *начисто*», — подчеркивал он в письме в июне 1926 г.

Я сблизился с ним в процессе его сотрудничества в «Современных записках» и по случайным обстоятельствам. И. Шмелев дебютировал в «Современных записках» рассказами — «Чужой крови», «Про одну старуху», «Каменный век», «На пеньках» и «Въезд в Париж» (кн. 14, 23, 25, 26, 27). Потом он перешел к романам: «Любовная история» (кн. 30—35), «Солдаты» (кн. 41 и 42; не закончены) и «Няня из Москвы» (кн. 55—57). Романы эти далеко не лучшее, что вышло из-под пера Шмелева. Но автор высоко расценивал все свои произведения, измеряя творческое достижение успехом произведения у читателя.

Посылая начало «Любовной истории», Шмелев писал: «Рассказ, как увидите, (или роман?) бытово-психологический, с юмором... Могут думать, что это и от автобиографии. Нет, могу заверить. Автор здесь — „в кусочках". Но, конечно, через *его* глаза пропускались» (6.X.26). В другом письме (27.IX.26): «За „читабельность" ручаюсь. Полагаю, что читатель будет сердиться, что приходится дробить. Вещь *легкая*. Будто сидишь в кинемо и — всякие представления! На макароны не задаюсь. Вопросов не ставлю и не разрешаю. На небеса на детском аэропланчике не мечусь. А про-

сто — запускаю „монаха“ и „змея“. „Героев“ не имеется, а жители. „Любовей“ больше, чем достаточно... „Циник“ имеется и даже $1^1/_2$ циника. Романтизма — хорошая доза есть. Но... С прищуром. Вот какой товар-то! Много „стихов“ всякого сорта. Есть такой даже: „Рыцарь саблю обнажил, свою голову сложил!“ Или: „У одной-то глаз подбитый, у другой — затылок бритый, третья — без скулы!“ Не подумайте, что это всё героини! Нет, мои героини (две) — прямо к-р-р-а-савицы, с небо-голубыми глазами, а одна даже — бельфам!

Есть даже такие стихи:

И я в железные объятья,
Как Люцифер, тебя возьму...
И будешь ты вопить проклятья
И... вспоминать свово... Кузьму!

Но есть и лирические:

Мне не знакома женщин ласка,
Но слово «жен-щи-на» — как сказка!..

Одним словом — гимн любвям! Вот подите, как все это преломляется! Но надо — для очистки и отчистки с жизнью».

Умышленная пародийность в расхваливании своего «товара» очевидна. Но то, *как* она дана, свидетельствует и о подлинном Шмелеве. Ему казалось, что, раз издатели стали переводить «Любовную историю» на иностранные языки, значит произведение художественное и «резать» или «четвертовать» его было бы нарушением интересов не только автора, но и читателя. Как всякий писатель, Шмелев был чрезвычайно чувствителен к оценке своего творчества. Обнаженные и больные нервы повышали эту чувствительность.

«Современные записки» дорожили сотрудничеством Шмелева. Несомненен был его дар воображения и изображения, не всегда, правда, на одинаковом художественном уровне. Мы очень часто испытывали нужду в беллетристических произведениях, а автор «Человека из ресторана» принадлежал, как никак, к русским «классикам». К этому надлежит прибавить, что «Любовная история» — вещь малохудожественная — пользовалась успехом у читателя-эмигранта. Был случай, когда читатель был так захвачен фабулой, что, не в силах выждать, когда появится очередная книга журнала с продолжением романа, он приходил в редакцию и просил разрешения ознакомиться в гранках или верстке с развитием «Любовной истории».

Мы всячески поощряли Шмелева давать нам все написанное. Так продолжалось до его «Солдат»... Когда был напечатан второй отрывок, проф. С. И. Гессен, обычно сдержанный в оценке чужих произведений, назвал «Солдат»

Шмелева «прямо позорными». Другой сотрудник, еще ближе стоявший к редакции «Современных записок», характеризовал «Солдат», как «Разгуляй-реакция с истерической слезой». Я был в отсутствии и получил письмо от Руднева: «Положительно в *ужасе* (за журнал) от шмелевских „Солдат“. Виноваты кругом мы сами: после „Любовной истории“ давали себе слово не брать у Шмелева ничего вслепую, не читая, — и вот, на тебе, соблазнились. Вещь и с точки зрения художественной до крайности слабая (в линии последовательных уже *двух* плохих романов — свидетельствует о роковом декадансе Шмелева), но по своему черносотенному духу, с привкусом еще какой-то небывалой у нас в журнале полицейщины черносотенной (сцена ареста нелегального, напр.),— положительно пахнет, нестерпима...

Что делать? Как избежать еще неведомых для нас сюрпризов, которые таит в себе еще этот лубочный роман (для „Петроградской газеты“) в духе пресловутого Кузьмы Крючкова только на любовно-полицейском фронте. Не вижу иного выхода, — кроме честно и прямо обращенного от редакции письма к Шмелеву, с изложением нашего огорчения. Понимаю, что это грозит нам в известной мере (легко с „Современными записками“ уже не рвут!) даже разрывом, постоянным или временным. Готов и на это, чтобы освободить журнал от *двусмысленного* положения» (2.V.30).

Письма, к счастью, не пришлось писать. Шмелев сам, без нашей о том просьбы, оборвал «Солдат». Он явно был не в себе. «Повторилось то самое, что случилось со мной в мае — апреле 1919 г., когда я $1\frac{1}{2}$ мес. лежал пластом и не мог связать простой фразы. Забыл даже самые обиходные слова: была острая форма невроза сердца и анемия мозга», — писал он 14.V.30.

Как только Шмелев оправился, «Современные записки» приступили к печатанию нового его романа «Няня из Москвы».

Личному моему с женой сближению с Иваном Сергеевичем и Ольгой Александровной способствовало 3-недельное пребывание в Капбретоне в августе 1925 г. Я мог тогда убедиться в личных достоинствах Шмелева. Он глубоко чувствовал природу, любил сажать цветы и ухаживать за ними — превращал «простую ромашку» в Anthemis frutiscent, — наслаждался полетом птиц, восторгался лесом и общим пейзажем «чудесного Капбретона», на пляже которого показывался раз-другой за сезон, предпочитая «mer sauvage — подальше от тел (и дел) человеческих».

Шмелевы благожелательно относились к людям, дружили с французами-соседями и наезжавшими в Капбретон, по

рекомендации Шмелева, русскими. Одновременно с нами в Капбретон приехали отдохнуть священник Булгаков с семьей, Бердяевы, Вышеславцевы. Они устраивали по воскресеньям совместные богословско-философские обсуждения. Шмелев принимал в этом скорее пассивное участие. При всей склонности к религиозному быту и православному обряду, в проблематике он был не силен и на это не претендовал. Беспомощен он был и в политике. Оспаривать его в этой области было совершенно бесполезно и даже неинтересно. Его последние доводы сводились к тому, чтобы «стать выше республиканизма, монархизма, демократизма! Умирает мать, а дети спорят, в какой шляпе гулять ей пристало! Не любовь тут, а самовлюбленность! Каждый хочет своим средством ее спасти, пальцем не шевельнув... И я серьезно думаю, напр., что Пешехонов — болен» (14 окт. 1925 г.).

Зато в личных отношениях И. С. бывал трогателен и ценил всякое внимание к себе. Летом 1936 года умерла его жена, опора всего его существования, и Шмелев почувствовал себя осиротевшим, потерянным. На естественное выражение сочувствия его горю и утрате, И. С. отозвался: «Вы истинно пожалели меня, прониклись моей болью, я это так почувствовал сердцем, — Вы как бы разделили эту боль, приняли на себя, и мне, в слезах, стало легче от этого. Вы мне дали почувствовать, понять сердцем, как человек может светить человеку, освящать человека. Ну, кто я Вам? По обыденным, привычным меркам, — вовсе как бы чужак: и разноверы мы всяческие, и истоки наши — разные, и общением житейским связаны не были... а вот есть у нас общее, — и какое это благо, что есть, есть!.. Все мы — одно. Ваша светлая, говорю, Ваша *святая*[1], ласка особенно укрепила во мне сознание ужаса раздробленности и одиночества людского. Отсюда — сколько же всяческих уроков и поучений!» (от 9.IV.36).

В деловых отношениях Шмелев был неизменно корректен, не упуская своих интересов, но и не проявляя крайней неуступчивости. «Интерес» его состоял не только в естественном требовании повышения гонорара, но и в желании, чтобы его произведения печатались целиком или возможно более крупными отрывками. Это сталкивалось с необходимостью для редакции соблюдать равновесие и экономию: равновесие между различными отделами журнала и авторами и экономию, — уделяя не слишком много места в книге более высоко оплачиваемому Шмелеву. Кратковременное осложнение возникло со Шмелевым, как со многими авторами,

---

[1] Из письма слова не выкинешь — оно характеризует настроенность Шмелева.

в связи с отзывами в «Современных записках» о его книгах, выходивших отдельным изданием.

Библиографический отдел «Современных записок» в отзывах о книгах сотрудников журнала был его наиболее уязвимым местом и вызывал часто справедливые нарекания извне и со стороны рецензируемых — или не рецензируемых — авторов. Ухаживая и обхаживая своих сотрудников, особенно знаменитых или известных, редакция не могла не считаться с тем, что затрагивалось их самолюбие. Бунаков держался даже того мнения, что рецензент, несозвучный автору произведения — не симпатизирующий или не «конгениальный» ему, — не способен до конца понять произведение и, потому, не пригоден давать отзыв о нем. Даже если в этом утверждении и была некая доля истины, подбор сочувствующих рецензентов заходил в «Современных записках» слишком далеко. Рецензии оказывались более чем дружественными, часто незаслуженно благоприятными.

Бунину, например, предоставлялась возможность прямо выбирать рецензентов. И он этим широко пользовался, бракуя одних и называя ему желательных. «Пришлите мне, пожалуйста, копию с нее (рецензии Ф. А. Степуна на „Божье дерево“). Она мне для некоторого действия нужна *срочно*, как можно скорее». «Горячо прошу Вас поставить рецензию именно в эту книгу», — настаивал Бунин, когда выдвинута была его кандидатура на премию Нобеля и благоприятные отзывы о книгах кандидата могли способствовать положительному решению членов Комитета. Но та же практика применялась и тогда, когда еще не было речи о премии, и тогда, когда премия была уже присуждена. Другие авторы не указывали положительно, кого они хотели бы видеть рецензентом, а ограничивались общими соображениями, кто *мог бы*, по их мнению, дать отзыв, — предоставляя редакции сделать выбор из числа указанных.

Политика, которой здесь держалась редакция, была вдвойне неправильна. Помещая часто незаслуженно благоприятные, «дружественные» отзывы об авторах, наиболее благоприятствуемых редакцией или проявлявших особую активность и напористость, редакция вместе с тем способствовала образованию среди сотрудников «Современных записок» неоформленной группы обиженных и недовольных — обойденных, по собственной ли пассивности или по нерадивости редакции. А. М. Ремизов требовал, чтобы редакция сопроводила печатание списка его книг, поступивших в «Современные записки», заявлением: «За отсутствием охотников и специалистов поименованные книги и статьи А. Ремизова остались без отзыва». Он великодушно шел при этом на уступку: «про охотников на вашу волю». Как будто скромный и добродушный, А. М. оставался глубоко обиженным

и снова и снова возвращался к своему предложению, не принимая объяснений редакции. «Нет, вам и не может быть оправдания. И потому мои пожелания остаются в силе — напечатать в „Современных записках" на отдельной странице перед (или после) Критическим отделом перечень книг А. Ремизова... сопроводив следующим от редакции» и т. д. (8.IV.31 г.).

Еще более настойчивым и требовательным в этом отношении оказался В. Ф. Ходасевич. В письме от 8 декабря 1927 г. он писал: «Вы слишком знаете, что я за рекламой не гонюсь и в этом направлении не прибегаю к мерам, которые, увы, слишком часто применяются. Но я считаю, что о книге, подводящей итог моей „взрослой" поэтической работе, „Современным запискам" было бы пристойно напечатать серьезную статью, которая и объективно *украсила* бы журнал. И я хотел бы, чтобы эта статья появилась в ближайшем номере, а не летом и не через год, — по многим причинам, хотя бы для того, чтобы литературное болотце не радовалось: Х-ч работает в „Современных записках" из книжки в книжку, вцепляется за них в горло „Верст", — а „Современные записки" приличной статьи о нем не хотят напечатать. Есть и другие причины. Между тем, дав сейчас статью о Сологубе, я рискую „выпереть" из ближайшей книжки статью Вейдле (кстати сказать — плод годичной работы, серьезной).

Вот на вопрос о статье Вейдле я хотел бы получить ответ, прежде чем сяду писать о Сологубе. Я напишу о Сологубе только в том случае, если это *не* помешает поместить в том же № и статью Вейдле».

Редакция была очень заинтересована в статье Ходасевича, а потому подчинилась «ультиматуму». В «ближайшем номере» (кн. 34-я) появились и «Владислав Ходасевич» В. В. Вейдле, и «Сологуб» В. Ф. Ходасевича.

Не в такой форме, но жалоба последовала и от И. С. Шмелева. «И что за горевой писатель И. Ш.?! Когда появляется новая книжка И. Б., Б. З. и др., — о них даются рецензии. Ну, как же это так? Правда, друзей у меня мало в левых кругах, но... „Amicus Plato"... Эх, надо бы мне левшой родиться!.. Впрочем, Господня воля, которой, Вы, впрочем, не признаете. А посему, протягиваю Вам правую руку (несмотря ни на что!) в надежде, что... и т. д., имею честь быть все тем же (а кем Вы знаете!) Иваном Шмелевым».

Жалобе мы вняли, но последствий не предусмотрели.

Вышла новая книга Шмелева «Родное», и о ней появился отзыв в 49-й кн. «Современных записок», написанный известным литературным критиком Г. В. Адамовичем. В отзыве имелась критическая часть, задевшая Шмелева, но была и очень высокая положительная оценка, которая, ви-

димо, привлекла к себе недостаточно внимания. Адамович писал: «О таланте Шмелева никто не спорит. Талант этот несомненный, редкий — о нем не может быть двух мнений. Не только сказывается он в манере письма, в исключительной, порой даже чрезмерной, насыщенности каждой страницы образами и красками, в исключительном своеобразии интонаций, но и в том, что Гоголь определил как „духовное сияние слова"».

Казалось бы, после этого рецензенту можно было бы простить все его нападки тем более, что и заканчивал он свой отзыв повторным указанием на «беллетристическое мастерство» автора, которое скрашивает то, что критику представлялось неудачным, — кое-что Шмелевым «рассказано и описано так, что от книги действительно „не оторвешься"».

Мало сказать, что Шмелев остался неудовлетворен и недоволен. Он был возмущен. «49 кн. „С. з." получил — и узнал, что „Росстани" мои — рассказ о „благополучии разбогатевших банщиков", что „все это сейчас мертво", что „все это „патриотизм", „струна, на которой играть легко", и, вообще, — „соляночка на сковороде". Весь тон рецензии игриво глумливый и безответственный... По-видимому, редакция, признала, что подобное допустимо? Допустимо, до оскорбительного намека, что писатель занимается „игрой" на „легкой" струне? Оправдываться, что „не играю", доказывать, что „Родное" на соляночку не похоже — безнадежно: труд писателя сам себя защитит. Долг редакции — оградить писателя от обидного обращения с его трудом. Не впервой берут меня и в прицел, и рикошетом... Я привык и уже не вскипаю... Ни я, ни „Росстани" не повинны, что рецензенту оказался недоступным внутренний лик произведения. Но долг редакции — воздержать такого рецензента хотя бы от игриво глумливых выражений. И это долг — не только по отношению к произведениям сотрудника, но и вообще к лит. произв. ⟨...⟩Простительно, что рецензент не внял, что „Росстани" мои — вечная тема о жизни и смерти... Непростительны шуточки о „патриотизме", „легкой струне", „соляночке"... Какое швырянье словами».

И как вывод: «Во избежание путаницы искусства с шуточками прошу редакцию: пусть не пишут о моих книгах, как это было принято раньше — относительно предпоследних четырех моих книг. Ущерба мне от сего не будет... Ознакомьте редакцию с моим заявлением» (от 16.VI.32). Для вящего нашего посрамления Шмелев прислал ряд вырезок из газет, в которых видные ученые и литературные критики отзывались более чем хвалебно о его писаниях.

Оставляя в стороне вопрос, кто был более прав в оценке творчества Шмелева, надо признать, что его восприятие от-

зыва Адамовича[1] было, во всяком случае, односторонним и — болезненным. Шмелев не первый и не последний из сотрудников «Современных записок» обращался с просьбой к редакции оградить его от несправедливых суждений рецензентов. Эти последние, со своей стороны, настаивали на свободе слова и независимости их оценки от «видов» редакции и, тем более, от мнения о себе автора рецензируемой книги. «Перевернешься — бьют, не довернешься — бьют»: нас осуждали, на мой взгляд, справедливо, когда мы «организовывали» или подготовляли отзывы; нас осуждали и тогда, когда мы воздерживались от «планированной» библиографии.

Хорошей иллюстрацией создавшегося положения может служить случай с М. А. Осоргиным. Постоянный сотрудник «Современных записок», он был и постоянным сотрудником газеты П. Н. Милюкова «Последние новости», в которой нередко помещал отзывы о литературной части книги «Современных записок». В своих отзывах Осоргин никогда не упускал случая отметить дружественный характер печатаемых журналом рецензий. Но пришел день, и вышла новая книга Осоргина «Чудо на озере». Надо было дать о ней отзыв, и при встрече с М. А. я сказал, что мы предполагаем поручить рецензию В. М. Зензинову.

— Только не Зензинову! — была его непосредственная и неожиданная реакция. Он, очевидно, забыл в этот момент, что́ сам писал о заказанных, дружественных рецензиях и о своей рецензии в «Современных записках» № 31 на книгу Зензинова «Железный скрежет». Правда, Осоргин не указал в положительной форме, кого бы он хотел иметь рецензентом, а ограничился отрицательной формой — отводом намеченного редакцией. Впрочем, он называл и желательных автору. Так, в начале 1929 года он пишет: «Было бы мне, конечно, очень приятно, если бы был в „Современных записках" отзыв о „Там, где был счастлив" и написал бы его Вадим Викторович (Руднев) или другой хороший человек. Или, напр., Зензинов». В другом письме: «Ваш библиографический отдел мои книжки бойкотирует (кроме кисловатого отзыва Б. З. о „Сивцевом Вражке"). Дело ваше, я не в претензии» (27.VI.29).

Подумать только, — чего Осоргин с Зензиновым, два замечательных человека, не поделили между собой?! Они «разошлись» в своем отношении к автомобилю, как средству перемещения!.. Сделавшись на очень короткий срок облада-

[1] О той же «соляночке на сковороде» говорит Адамович и в 1955 г. в своей книге «Одиночество и свобода», находя, что московский трактир Тестова стал для Шмелева «темой, частью идеала, предметом вдохновения», и это — «пугает». Там, где у Блока «боль», у Шмелева «полное удовлетворение».

телем подержанной машины, Зензинов восславил ее при описании путешествия на юг Франции и север Испании. На столбцах тех же «Последних новостей» Осоргин осудил восхищение техникой бездушной цивилизации. Зензинов возразил. Недовольство и раздражение Осоргина возросли.

Рецензия на «Чудо на озере» была поручена К. В. Мочульскому. Он же дал отзыв о новой книге Шмелева «Лето Господне. Праздники».

Недоразумение со Шмелевым не имело последствий и длилось недолго. Мы скоро «помирились», хотя формально и ссоры не было. И личные наши отношения остались такими же, какими были. Я не был свидетелем поворота Шмелева в сторону Гитлера, как освободителя России, и не касаюсь этого прискорбного периода потому, что, кроме самоочевидного возмущения, он ничего, конечно, не может вызвать. К тому же это случилось уже после того, как «Современные записки» прекратили свое существование.

М. А. Осоргин

Почти все члены редакции «Современных записок» знали Михаила Андреевича Ильина-Осоргина еще по Москве дореволюционного времени. Привлекательный блондин, стройный, изящный, жизнерадостный и остроумный, он любил посмеяться — негорьким смехом — над другими и над собой. Он был «душой общества», отличным товарищем, центром притяжения молодежи и женщин. Юрист по образованию, он отрицал государство и не слишком увлекался правом, принадлежал к типу «вечного студента» и «богемы», хотя был всегда опрятен, на письменном столе любил порядок, чистоту, даже комфорт, цветы, растения, — любил и свой огород.

Осоргин был бессеребренник — не только в той мере, в какой бескорыстны многие русские интеллигенты. Он был чужд стяжательства и совершенно равнодушен к деньгам. Когда его «Сивцев Вражек» был принят для распространения американским клубом «Книга месяца», Осоргин разбогател, по эмигрантскому масштабу. Но ненадолго. Он любому просителю давал «безвозвратную ссуду» под одним условием, — чтобы тот обещал в свою очередь помочь ближнему, когда представится возможность.

Писательская карьера Осоргина была сделана в «Русских ведомостях» и «Вестнике Европы». Его корреспонденции из довоенной Италии по содержанию и форме служили политическому воспитанию русского читателя так же, как корреспонденции Иоллоса из Германии, Дионео из Англии,

Кудрина из Франции. В «Вестнике Европы» появлялись время от времени полубеллетристические произведения Осоргина. Беллетристом его сделала эмиграция, — точнее, он сделался им в эмиграции. Не все признавали художественные достоинства его произведений. Но мало кто отрицал его дар живого изложения и превосходный язык.

Репортер всегда хочет быть или хотя бы считаться журналистом, журналист — публицистом, публицист — ученым или писателем, писатель — беллетристом или романистом, а этот последний — поэтом или драматургом. Можно оставить открытым вопрос, был ли Осоргин беллетристом божьей милостью или не был. Он был писателем, и незаурядным, по натуре и профессионально любил писательское мастерство, знал в нем толк. Он был влюблен в русское слово и русскую речь — точную, грамматически правильную и красочную. Он часто возвращался к теме о чистоте русского языка. У него был безошибочный слух на русский язык, и у него учились, обращались за советом и проверяли свои писания не только начинающие, но и имевшие имя писатели. Он «открыл» или, во всяком случае, помог «открыться» литературному дарованию Газданова, Темирязева (Юрий Анненков), В. Яновского, частично — Ладинского.

Об отношении Осоргина к печатавшемуся в «Современных записках» можно судить по его письму из Кави 14 июля 1926 г. «О новой книжке (28-я) высказаться не в силах, не прочитал я ее как следует, потому что читать и писать не способен. Бунина прочитал; „Солнечный удар" — бросовый бунинский рассказ. Сюжет истаскан. Есть прекрасный английский рассказ (не помню, чей) на этот сюжет; есть „Морская болезнь" Куприна.

„Дафнис и Хлоя" — понравились мне. Он хитрый, Пав. Пав. Муратов, и искусник.

Я, Осоргин, слаб. Рассказ был написан для чтения на благотворительном вечере в Москве. Можно было бы и не печатать его.

„Заговор" Алданова мне нравится, как и все остальные части его романа.

„Мессия" пахнет пылью, но не веков, а просто — литературной пылью. Для иностранцев годится, для нас нет.

„Мысли о России" Степуна не прочел, только проглядел. Вероятно, интересно.

Больше ничего не читал. В общем — книжка, которую очень трудно отличить от предыдущих. Те же люди, то же пишут. Это, М. В., очень скучно! Нужно двигаться вперед.

И потому очень обижает меня, что Вы не хотите принять рассказ Поляковой. Написан он без блеска, но интересен. Я выбрал его из книги и просил автора послать, ибо сравнительно средней высоты рассказ, но нового автора и

с искусным сюжетом оживил бы журнал. Зря! А вон „Звено" додумалось: взяло да и *перевело* один из рассказов Поляковой. А она *по-русски* пишет! Получилось курьезно!

Советую Вам подумать еще. На каждую книжку — по новому автору-беллетристу. Вот — идеал. Чего вы боитесь? Не понимаю.

...Не читали „Земляничку" Эльзы Триоле[1]? Вот прелесть! А помните, как Вы колебались и тянули время? Злюсь я на вас! Но — обнимаю».

Помимо нескольких глав из «Сивцева Вражка», Осоргин дал журналу «Красный мак», «Повесть о сестре», отрывок из «Свидетеля истории», «Побег» и «Вольного каменщика» (кн. 58, 59, 61). Писал он и на публицистические темы: «Российские писатели о себе» (кн. 21), «Русские журналы» (кн. 22), «Судьбы зарубежной книги» (кн. 54) и воспоминания — «Тем же морем», «Там, где был счастлив», «Девятьсот пятый год». О неодобрительном отношении Осоргина к дружественным рецензиям в «Современных записках» упоминалось выше. К этому прибавлю, что журнал напечатал немало (21) рецензий самого Осоргина, т. е. рецензента, оценивавшего книги «объективно».

М. Осоргин высоко расценивал звание писателя и журналиста, держал соответственно «стяг» и близко принимал к сердцу нужды и интересы брата-писателя против издателей-«работодателей». На этой почве с «Современными записками» у него конфликтов не бывало. Но они возникали по вопросам нематериального порядка, когда Осоргин считал, что его достоинство — или самолюбие — как писателя задето. Руднев извещал меня об ультиматуме, предъявленном редакции Осоргиным: вернуть рукопись или напечатать из «Сивцева Вражка» не 4 листа, а 5, и не по выбору редакции, как было условлено, а по выбору автора. И другая претензия: почему его, Осоргина, «не как Бунина», «помещают в конце отдела» (беллетристики)?! В заключение Руднев спрашивал: «Что делать? Ультиматум (следует резкая квалификация) и заслуживал бы резкого отпора. Но... обычные соображения о возможной потере сотрудника... Позвони, поговорим (следует опять квалификация)».

Мы уступили — с возмущением, но уступили по двум пунктам: в размере печатаемого и в выборе глав. Что же касается «местничества», оно заранее исключалось, потому что, сохранив Осоргина, мы на том же основании немедленно потеряли бы Бунина.

Слабым местом Осоргина была политика. Всю сознательную жизнь в России он занимался политикой, а в эми-

---

[1] Русская по происхождению, жена известного французского писателя-коммуниста Луи Арагона.

грации стал от нее отталкиваться и осуждать «в принципе». В наши молодые годы Фондаминский, Руднев и я знали Осоргина как эсера и сочувствовавшего эсерам. Он предоставлял свою квартиру для так называемых «явок» или встреч нелегальных революционеров, для собрания эсеровского комитета в Москве, для укрытия террориста Куликовского[1]. Осоргин был всегда вольнодумцем, «вольтерианцем», «левым», «нонконформистом». В эмиграции он самоопределился, как идейный анархист, «анархически» не примыкавший к анархическим организациям.

В письме от 22.3.29 он писал: «Сейчас — по ночному времени — я прочитал статью В. А. Маклакова (кн. 38), изумительно талантливую, и Ваш на нее достойный ответ. Я ставлю вам обоим по пятерке.

Но вот что меня удивило. Вы отмечаете ошибку Маклакова („законности и праву он ведет один и общий счет"), а как будто не хотите заметить, что такой же общий счет он ведет понятиям „законность" и „свобода" (или „свобода" и „право"). Законность и право могут не совпадать и быть в противоречии; но законность и свобода *не* могут совпадать и *не* могут *не* быть в противоречии. У Вас же есть (с. 347) изумительное утверждение: „Февр. рев. рождена была... волей к свободе, индивидуальной и *государственной*". Очень прошу Вас как-нибудь при свидании объяснить мне, что такое — „государственная свобода". Я в первый раз слышу. Обнимаю Вас сердечно. Мих. Ос.».

Отвергая принципиально государство, власть и ее насилие, Осоргин и власть Ленина приравнивал к власти Керенского, а во время сопротивления Москвы захвату власти большевиками был ни с той, ни с другой из боровшихся сторон. Он «держал нейтралитет» и выжидал, кто победит, но, конечно, не по шкурническим, карьерным или паническим соображениям, как выжидало большинство, а, наоборот, — чтобы определился победитель и, тем самым, тот, *против* кого Осоргину быть. В напечатанной после смерти Осоргина книге его «Времена» можно прочесть: «Я не дружу с правительством нынешней России (советским), как не дружил с правительством царской, как не свел бы дружбы и с „временным", если бы оно обратилось в постоянное».

Отсюда возникали и трудности с Осоргиным. Никто из нас с ним никогда не ссорился, и он со всеми нами был в наилучших личных отношениях. (Я прожил с ним несколько лет на одной лестнице, и мы бывали «семьями» друг у друга.) Но Осоргин всегда предпочитал быть сам по себе, со своим *особым* подходом к вещам и идеям. Он лю-

---

[1] См.: М. Осоргин «Девятьсот пятый год» в 44-й книге «Современных записок».

бил играть в шахматы, но презирал, — по крайней мере, публично так заявлял, — логику, таблицу умножения, цивилизацию. И больше всего боялся, несмотря на все мужество, хоть в чем-либо совпасть с «эмигрантским хором». Он пробыл 7 лет в первой, царского времени, эмиграции и, попав во вторую, послебольшевистскую, стал всячески от нее отталкиваться. Не пропускал случая подчеркнуть, что он — не эмигрант, добровольно покинувший отечество, а насильственно выслан из России. Осоргин дорожил советским паспортом и бережно его хранил, защищал необходимость международного признания советской власти и оспаривал противопоставление советской России — России.

Он отдавал преимущество художественному творчеству в советской России перед творчеством в эмиграции. В 1924 г. он писал в «Современных записках»: «Как ни робко пробуждающееся в России сознание писателя, оглушенного и заверченного революцией, как ни тяжко его положение в сравнении с теми условиями абсолютной свободы мысли, в которых живем здесь мы, — полнота неистощимых впечатлений и чувств принадлежит безраздельно лишь ему... Оторванность от почвы родной — есть та же тюрьма и то же насилие над свободной писательской мыслью» (кн. 21). И еще: «За весь период беженства наши здешние писатели общего уровня русской литературы не повысили и новых, выше прежней ценности, вкладов в ее сокровищницу не сделали» (кн. 22).

Осоргин всячески рекомендовал возвращение на родину и не в личном порядке, как исход из материальной нужды, бездушного окружения и тоски, — а принципиально, в общем виде, подчеркивая, что сам он вернется, может быть, последним. Доводы его были не политические, а лирико-психологические. Он будто бы разлюбил «очарование словами, благородные возгласы о красных иллюзиях» и ощутил в своей душе новую любовь: не к «святой свободе», а к «России в живом теле». Вместо былой любви к дальнему, Осоргин теперь потянулся к любви к ближнему и конкретному, возлюбил — «в страшном тамошнем (советском) быту выращенную связь к обыкновенному, не рисованному и непричесанному — простите выражение — сукину сыну». Ему, этому «сукину сыну, темному в глупости и остывающей злобе», которому «и тепло, и есть что делать и со свободой и без свободы» Осоргин сказал свое «да».

Неуемный патриотизм идейного анархизма доходил здесь до самоотрицания. Оправдывая прекращение борьбы с советской деспотией, как «совершенно бесцельной и даже беспредметной», Осоргин говорил о пореволюционной России тем же языком, каким его политический «антипод» Шмелев говорил о России предреволюционной и царской.

Шмелев писал мне 14 октября 1925 г.: «В остроте борьбы, при всей тяге к России, били *по* России. В ослеплении. Убивая режим, помогали обесславить, смеяться, видеть только драку, слышать лишь свист и вой. А ведь в это время Россия жила, росла, давала, дарила, производила велич. ценности, добрела, богатела, ширилась и — *не* угнетала. Россия, да. Режим угнетал, да, были черные пятна, грязь тоже была... В страстной борьбе за *форму* правления Россией, центр был — не Россия, а *черное* в ней. К нему привлекалось внимание Европы. Виселицы, нагайки, жандармы, тюрьмы, каторга. Помните американца — исследователя русской каторги? А *кто* писал о филантропической работе России? О ее *мировых* подвигах? О ее духовных силах и достижениях? О ее свободах? Писали ли, что ее гражд. законы во многом выше, шире, человечнее европейских?.. Я не клеймлю эмигрантов en bloc. Почему тут вы, другие? Тут — болезнь (проклятье) целых поколений, не видевших из-за деревьев· леса... Надо было — и мазали Россию. Режим, да, но *для* Европы Россия — Режим».

Того же, по существу, мнения, но с обратным знаком — в отношении советской России, а не царской — держался и М. А. Осоргин. Если в их суждениях и была доля правды, она была микроскопической и касалась не только тех кругов, против которых тот и другой ополчились. Политически Осоргина и Шмелева мало кто принимал всерьез: первый поражал своей непохожестью, или ересями, второй — политической наивностью. Осоргин находился на крайнем левом фланге «Современных записок»: левее его можно было считать только Пешехонова, сотрудника случайного и эпизодического, тогда как Осоргин был постоянным и много писавшим.

Мне не раз приходилось касаться в «Современных записках» и в других изданиях политической установки — не скажу взглядов, так как они были слишком противоречивы, — Осоргина. При всех его положительных качествах, не исключая и моральных, политика его отдавала каким-то снобизмом, — хотела во что бы то ни стало быть особой, не такой, как у других. Как гуманист Осоргин находил выражение для своих чувств и деятельности в масонстве, принадлежность к которому он почти афишировал, пропагандируя его в устных беседах и в печати. Однако, я не слышал от него удовлетворительного объяснения, почему политические организации, которые тоже связаны с идейными устремлениями, в частности, в сторону свободы, равенства и братства, Осоргин в эмиграции решительно отвергал и отрицал, тогда как в организации «братьев» (масонов) считал возможным и должным участвовать.

В итоге пережитого за первую половину мировой войны жизнерадостный М. А. Осоргин пришел, как известно, к самым отчаянным выводам о смысле человеческой деятельности. За год с небольшим до смерти, он умер 27 ноября 1942 г., М. А. писал (15 августа 1941 г.): «Умираю — непримиренный, так как не приемлю правды, вышедшей из неправды, истины — из лжи, света — из тьмы! Нет счастья, которое было бы порождено кровью, убийством, злодейством! Нет благородства, матерью которого была бы подлость!» И еще безнадежнее годом позже, 14 августа 1942 г.: «...что будет с Европой, Россией, Францией, человечеством, во мне нет живого интереса. Двуногое в массе, так заполонившее и загрязнившее землю, мне противно: не стоило строить свою жизнь на идеях счастья человечества... народ, страна, формы социальной жизни — все это выдумки. Я люблю природу, Россию, но „родины“ и проч. не вижу, не знаю, не признаю... И Европа вздор — с ее „культурой“. Умирая, не жалею ни ее народов, ни своего, ни культуры, ни разбитых идей. Успел... постигнуть не только нищету философии, но и позор ее нищеты» (Приведено Григ. Забежинским «К десятилетию смерти М. А. Осоргина»//Нов. р. слово. 7.X.52).

Было бы, однако, ошибкой отнести крайний пессимизм Осоргина исключительно на счет «мировых событий и, в связи с ними, личных жизненных катастроф», о которых он упоминает в своем «Тихом местечке Франции». Уже в 1925 г., т. е. в расцвете своей публицистической деятельности в эмиграции, Осоргин печатно заявил: «Каюсь в полном своем пессимизме и выхода для себя не вижу».

Это было личной его трагедией за многие годы до физических и душевных страданий, сведших его в могилу. И безответным остается: как публицист такого калибра, как Осоргин, не видя никакого выхода для себя, мог рекомендовать выход другим — своим слушателям и читателям?

В. Ф. Ходасевич

Владислав Фелицианович находился больше 10 лет в моем почти «*монопольном*» ведении, пока не перешел в «ведение» В. В. Руднева, перенявшего в 1936 г. мои секретарские обязанности, в том числе и сношения с сотрудниками. Я могу рассказать, *как* произошло наше сближение, но не могу объяснить — убедительно для себя, — *почему* это произошло. Тем не менее с Ходасевичем я был связан, больше и дольше, чем со многими другими сотрудниками «Современных записок».

Ходасевич очутился в эмиграции, в Берлине в 1922 г. Он уже был поэт с именем, без того, однако, чтобы быть в первых рядах или пользоваться общим признанием. Белый только что опубликовал о Ходасевиче лестную статью (в 5-м выпуске «Записок мечтателя»), проредактированную Блоком, но вышедшую уже после смерти последнего. Известность и признание для Ходасевича пришли в эмиграции: в Берлине, где он вместе с Горьким редактировал «Беседу», и в Париже, где он провел последние 15 лет жизни, напряженно работая в «Современных записках» и в «Днях», и потом в «Возрождении». От Горького к Гукасову — так схематически может быть обозначен мучительно трудный эмигрантский путь Ходасевича, с той оговоркой, что Ходасевич никогда полностью не солидаризовался ни с Горьким, ни, тем менее, с Гукасовым.

Наши отношения начались с заочного знакомства, на расстоянии. Ходасевич предложил журналу стихи, которые стали печататься в «Современных записках» почти из номера в номер. Лично познакомились мы в 1924 г., когда Ходасевич переехал в Париж. Поразил его тщедушный вид и моложавость, не шедшая к представлению, которое составилось при чтении его стихов и достигнутой им уже известности, как бы предполагавшей некоторую «маститость». Его ответная реплика была как всегда, когда он хотел быть любезным, — полуиронической:

— Я тоже представлял себе Вас с бородой, таким вот — Михайловским! Михайловским! — и он покрутил в воздухе, на некотором расстоянии от своего подбородка тремя пальцами, явно обнаруживая неверное представление о физическом облике покойного Михайловского и его подлинной бороде.

Общение наше возникло на деловой почве, обычной между сотрудниками журнала и членом редакции, выполнявшим одновременно и функции секретаря, бухгалтера, казначея и т. д. Но и при деловом общении, не могло, конечно, не быть с самого начала обмена мнениями о заданиях журнала, о его ведении и, — конкретнее и у́же, — о достоинствах напечатанного материала, о недостатках того и другого автора, беллетриста, политика, ученого. Помещение редакции в приемные часы все реже стало удовлетворять потребности довести до конца начатый разговор или спор, и все чаще стал Владислав Фелицианович наведываться поздним вечером ко мне на дом, — где этажом и двумя выше жили другие его и мои приятели и знакомые: Б. К. Зайцев, В. Ф. Зеелер, М. А. Осоргин, Я. Б. Полонский.

Ходасевич был совершенно исключительный собеседник — умный, впечатлительный, с огромной памятью, едкий и язвительный (излюбленный эпитет Ходасевича-поэта). Хилый

и постоянно понукаемый болезнями и нуждой, раздираемый самыми различными страстями, благими и дурными, безуспешно мечтавший об элементарнейших условиях спокойного существования, Ходасевич мог без устали говорить часами, попыхивая папиросой и не замечая, что беседа давно уже превратилась в монолог. Он прерывал речь лишь для того, чтобы глубоко затянуться и, зарядившись дымом и никотином, как бы набраться новых сил. Груда пепла и окурков, остававшихся после его визита, служила вещественным доказательством или материальным выражением той радиации ума и страсти — «И злость, и скорбь моя кипит», — которыми бывал пресыщен и от которых по временам положительно изнемогал Ходасевич.

Ходасевич с первых же наших встреч, что называется, зачастил — не проходило двух-трех дней, чтобы он не заглянул к нам вечером «на минутку», затягивавшуюся, как правило, на долгие часы. Мне было непонятно, а моих близких людей даже интриговало, что́ влечет Ходасевича ко мне, на чем покоится наша «дружба»? По всему нашему прошлому и жизненному складу, интересам, окружению, симпатиям мы как будто мало подходили друг к другу.

Может быть, внутренне одинокий поэт оказывался часто в состоянии, близком Мармеладову, — «когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти». Может быть, ему требовалась аудитория, но не критика и возражения со стороны литераторов-профессионалов. Мое общение с на редкость умным и занимательным собеседником не требует пояснения. Здесь был и личный интерес, и общественный — забота о «Современных записках», дума о том, как склонить автора дать журналу наиболее нужное для журнала, а не автору; наконец, — элементарное внимание и человеколюбие: «Ведь надобно же, чтобы у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели»...

Святополк-Мирский назвал Ходасевича «любимым поэтом всех тех, кто не любит поэзии». Может быть, Святополк-Мирский и прав в отношении моей оценки поэта Ходасевича, может быть, и на самом деле я недостаточно любил поэзию. Но я восторгался многими стихотворениями Ходасевича, и, в частности, очень мне пришлось по душе написанное им в 1923 г.:

Умен и не заумен,
Хожу среди своих стихов.
. . . .

Лишь Ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит безумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.
Люблю из рода в род мне данный,

Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон.

Физически немощный, Ходасевич часто и подолгу страдал от ряда болезней: жестокого фурункулеза, прилипчивой экземы на руках — и, что особенно мучило и раздражало, на лбу, — от камней в желчном пузыре, которые и свели его в могилу. Физическая немощь отягчалась постоянным нищенством, неотвязными думами о насущном пропитании и крове, неотступным сознанием незаслуженности и несправедливости выпавшей на его долю судьбы. Ходасевич был неприхотлив в еде, пил редко и мало, был почти равнодушен к комфорту. Только курильщик был он страстный: курение стоило ему «состояния». И тем не менее ему приходилось порой туго и невыносимо — до безысходности.

Осенью 1925 года в воскресный день у меня собралось несколько друзей. Неожиданно, без приглашения, пришел Ходасевич, взволнованный и мрачный. С трагической подчеркнутостью он заявил, что у него неотложное ко мне дело. Мы удалились в другую комнату, и Ходасевич сообщил, что, не будучи больше в силах существовать, он решил покончить с собой!..

Сейчас, задним числом, я не склонен думать, что свое решение он принял обдуманно. Но тогда я отнесся к его словам со всей серьезностью и тревогой, которой они заслуживали. Я упросил Ходасевича отложить свое решение во всяком случае на 2—3 дня, пока я не попытаюсь приискать ему постоянный заработок в «Днях», перекочевавших тогда из Берлина в Париж. Я встретил полную готовность со стороны редактора «Дней» А. Ф. Керенского и заведовавшего литературным отделом газеты М. А. Алданова. Ходасевич на время — очень недолгое — был устроен: он сделался помощником Алданова и стал ведать стихотворным отделом.

Несколько лет спустя Ходасевич тоже внезапно явился ко мне уже не днем, а поздним вечером и по совершенно другому поводу. В итоге острой полемики с коллегой-пушкинистом М. Л. Гофманом Ходасевич обвинил его в присвоении чужих литературных открытий. Гофман, естественно, вызвал Ходасевича на третейский суд, и Ходасевич пришел просить меня быть судьей — с его стороны. Я отклонил предложение на том основании, что, редактируя журнал, в котором печатаются оба противника, я окажусь в неудобном положении избранника одной стороны. По моему совету, Ходасевич обратился к генеральному секретарю Союза писателей и журналистов профессиональному адвокату В. Ф. Зеелеру, который и взялся отстаивать его процессуальные права и интересы.

Суд кончился для Ходасевича более чем плачевно. Он лишний раз оказался жертвой собственного темперамента и профессиональной страстности. После ряда заседаний, в которых трем юристам, не литературоведам — М. Л. Гольдштейну, Зеелеру, Нольде — приходилось разбираться в разночтении пушкинского текста, Ходасевич внезапно отказался от дальнейшего судебного разбирательства, на которое сам же согласился. Сколько я ни убеждал его и ни доказывал, что при всех обстоятельствах самый суровый судебный приговор будет все же мягче его «самоосуждения» путем бегства от суда, — Ходасевич остался непреклонен: «наплевать», «не хочу», «не могу».

Даже сравнительно гибкое и неформальное третейское судопроизводство было невтерпеж его непокорной, обуреваемой страстями и пристрастиями натуре.

Привыкший к методической и упорной работе, на «фишках», любивший и ценивший точность и аккуратность — порядок на письменном столе, на книжной полке и в рукописи, — Ходасевич бывал, как ребенок, капризен и упрям. На иррациональных путях устанавливал он свою правду и, чтобы ее отстоять, закусив удила, не глядя ни на кого и ни на что, мчался вперед, — обычно с ущербом для себя и своей правды.

Ходасевич от природы был существом недостаточно социальным: в нем было нечто от «Человека из подполья». Он не без удовольствия высмеивал всякую общественность. И в то же время сам боролся за правду в искусстве и литературе, в личных отношениях и общественных. Он отстаивал обретенную им правду фанатически и упорно, против всех и вопреки всему, не считаясь ни с какими последствиями и отрицая всякую «ложь во спасение», «условную ложь общежития» или, по Горькому, — «ложь утешительную, ложь примиряющую».

Ходасевич стоял за «возвышающую правду». Здесь он позволял себе оспаривать даже Пушкина — своего кумира: «Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины». С этой меркой подходил он к живым и мертвым. «Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, — прямо в глаза», — характеризовал Ходасевич своего любимца Гершензона: он «не сглаживал углов, не золотил пилюль». И к нелюбимому им Горькому подходил он с тем же мерилом, обличая за то, что «упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился, как к проявлению метафизического злого начала». В самом творчестве Горького Ходасевич считал главной темой противопоставление правды и лжи. Когда он писал о Есенине, он возвращался к той же

проблеме взаимоотношения правды и лжи. Он хотел примирить читателя с несчастным поэтом указанием на то, что Есенин «был бесконечно правдив в своем творчестве и перед своею совестью, во всем доходил до конца, не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие».

Ходасевич бывал очень пристрастен — и лично, и профессионально. У него были свои любимцы и свои литературные антипатии. По случайным обстоятельствам на коротком отрезке времени он менял и свои личные отношения, и — что было гораздо вреднее — свою литературную оценку, от резко отрицательной к положительной (в отношении, например, к Марине Цветаевой) и обратно. Однако чаще Ходасевич бывал строг, сдержан и осторожен в своих суждениях.

Он был требователен не только к другим — к нелюбимым им Брюсову и Горькому, но и к Белому, о котором писал, что тот «повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал», и о котором не забыл и на смертном одре. Ходасевич был не менее требователен к себе, как писателю и поэту. Он работал, буквально не покладая рук, методически и упорно, изо дня в день, невзирая на здоровье и внутреннюю обиду. И работал он так не только по необходимости, но и по убеждению: в трудолюбии Сальери Ходасевич видел не антитезу Моцартову вдохновению, а восполнение — или даже условие — законченного творчества. И не надо принадлежать к школе «формалистов» в литературе, чтобы видеть и оценить строгость, сухость и собранность ходасевичевского стиха и всего писательского стиля — его классицизм.

Почти все написанные Ходасевичем за эти годы стихотворения — до того, как он решил не писать больше стихов, — были напечатаны в «Современных записках» (кн. 13, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 50). Появились у нас и 6 его статей, посвященных творчеству Пушкина; почти все литературно-биографические очерки, вошедшие позднее в книгу «Некрополь» (Брюсов, Гершензон, Горький, Есенин, Сологуб); весь его «Державин» и ряд других статей и рецензий.

Я знал интерес и страсть Ходасевича к картам. Этот интерес и страсть не оставляли его всю жизнь. Он любил играть в карты, а когда жизнь выбивала его из колеи, становился завсегдатаем игорных домов. Он и теоретически много размышлял над игрой, как разновидностью случая, вдумываясь в жизненную судьбу русских писателей, ставших жертвой карт и в своем творчестве отдавших дань этой непреодолимой страсти. В последние годы жизни Ходасевич задумал написать для «Современных записок» этюд «Игроки в литературе и в жизни» (Пушкин, Некрасов, Толстой, До-

стоевский). Я очень многого ждал от этой работы, будучи убежден, что литературные знания и мастерство автора будут оплодотворены в данном случае и его внутренним опытом.

О том, что могло получиться, дают некоторое представление очерки Ходасевича о Брюсове и Горьком, в которых он описывает, как эти писатели играли в карты. «Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился, — не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть»... Или: «Об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти»...

Сколько раз, на протяжении лет, я ни возвращался к уговорам, мне, увы, не удалось склонить Ходасевича вплотную заняться этой темой. Более насущное и неотступно злободневное постоянно оттесняло на второй план трудное задание.

Требовательность к себе привела Ходасевича не только к тому, что он даже не приступил к написанью «Игроков в литературе и в жизни», но к другому. Начав в «великой тайне» ото всех писать «нечто прозаическое», он кончил тем, что уничтожил написанное. Эта требовательность сказалась и в том, что Ходасевич так и не осмелился осуществить мечту своей жизни — написать биографию Пушкина — даже тогда, когда празднование столетия со дня рождения поэта открывало перед Ходасевичем ряд практических возможностей к написанию и изданию книги. Была объявлена — за подписью М. А. Алданова, И. А. Бунина, В. Н. Коковцева и В. А. Маклакова — предварительная подписка на биографию Пушкина; но Ходасевич этой книги так и не написал.

Требовательность же к другим вызывала критику со стороны все возраставших в числе врагов и недоброжелателей Ходасевича — особенно среди своих же «братьев-писателей». Это не способствовало ни жизненным успехам, ни душевному покою. Все больше накоплялось раздражения, высокомерия, мнительности и преувеличенной подозрительности, временами доводивших Ходасевича до отчаяния. Все чаще возникали конфликты и ссоры, все больше сторонился он и отходил от людей.

В такой обстановке, когда исполнилось 25-летие литературной деятельности Владислава Фелициановича, мне пришлось оказаться едва ли не главным организатором его чествования. С внешней стороны все обошлось 10 апреля 1930 года вполне благопристойно: присутствовали и произнесли приветственные речи генералы от литературы — Бунин и Ме-

режковский; говорили и другие, — и я прочел сочиненные в честь юбиляра вирши. Но празднование все же вышло недостаточно ярким — много ниже творчества Ходасевича и его заслуг перед русской литературой.

В довершение не удалась и запоздавшая попытка друзей и почитателей Ходасевича отметить юбилей особым изданием переведенной им с древнееврейского языка поэмы Саула Черниховского «Свадьба Эльки». Издание проектировалось «роскошное» — ручным способом набранное, in 8°, со специально изготовленными иллюстрациями Мане-Каца. Черниховский дал свое согласие. Мане-Кац сделал 6 рисунков пером. Но книжка не вышла. Призыв к подписке — И. А. Бунина, Р. Г. Винавер, М. В. Вишняка, Б. К. Зайцева, М. О. Цетлина — не был услышан, во всяком случае встретил недостаточный отклик со стороны более состоятельной части русской эмиграции. Новая неудача могла лишь усилить чувство горечи, обиды и раздражения.

Ходасевич отталкивался от общественности и психологически, и идейно. И — заслуженно или незаслуженно — ему пришлось дважды поплатиться за свое отталкивание. Так случилось, что практически он ближе всего столкнулся с двумя крайними, наиболее нетерпимыми флангами русской общественности. Соблазнившись на время одним, а потом другим, Ходасевич в обоих разочаровался и еще сильнее укрепился в своем отрицательном отношении ко всякой общественности — к общению вообще.

Вместе с другими готов был он уверовать в возможность построения нового мира большевистскими руками. В блестящем этюде «Белый Коридор» Ходасевич рассказал о времени, когда и он, голодный и несчастный, заседал в Кремле под просвещенным руководством Ольги Давыдовны Троцкой-Каменевой, — чтó это было и чем все кончилось. В горечи и сарказме рассказа чувствовалось воздаяние не только врагам, соблазнившим и обманувшим, — здесь была и расплата с самим собой, с собственной наивностью и иллюзией.

Ходасевич стал обличать «Демьянов Бедных для эмигрантов» и «эмигрантский национализм» справа, с которыми столкнулся, став сотрудником «Возрождения». Он попал в «Возрождение» поневоле, по тяжкой нужде, выговорив себе «автономию» в своем литературном отделе; тем не менее он отдал свой труд и талант на поддержку гукасовского предприятия.

У меня сохранился экземпляр «Некрополя» 1939 г. с сухой надписью и приветом от автора: вместо обычных «дорогому» и «милому» здесь фигурировало «многоуважаемому». Перемена вызвана была тем, что к тому времени Ходасевич

успел и сумел повздорить и со мной, к которому многие годы он относился исключительно доверчиво и сердечно[1].

Размолвка произошла неожиданно. Раздался звонок, и в дверях появился Ходасевич, часто заходивший без предупреждения. Мы с женой заканчивали завтрак за столом на кухне. Гость от предложенного ему кофе отказался и уселся на стуле рядом, попыхивая своей вечной папиросой. Разговор зашел о появившемся в тот день фельетоне Ходасевича в «Возрождении», где он разделал под орех очередную книгу нелюбимого им журнала «Числа». Своей критике содержания «Чисел» Ходасевич предпосылал, однако, параллель между редакцией «Совр. записок» и редакцией «Чисел». Редакторá «С. з.», некомпетентные в вопросах литературы и поэзии, этого и не скрывают, тогда как редакторá «Чисел», корил их рецензент, претендуют на свою компетентность в этой области и в то же время совершают ошибки и промашки, недопустимые и непростительные.

Я заметил Ходасевичу, что не понимаю, для чего ему понадобилось атаковать «Числа», пользуясь «Совр. записками» как трамплином для броска. Чтó сказал бы он, если бы, нападая на чью-либо политическую линию, я начал, примерно, так: вот Ходасевич и не скрывает того, что не интересуется политикой и ни черта в ней не понимает, а тут... Я не успел досказать мысли, как Ходасевич как ужаленный вскочил со стула, бросив по моему адресу:

— А, и вы против меня!..

В крайнем возбуждении отправился он к жившему в том же доме приятелю своему еще по Берлину Каплуну-Сумскому и, меряя шагами комнату, обещал вызвать меня на дуэль за оскорбление. Этого, конечно, не случилось и в ближайшие же дни при случайной встрече, уже придя в себя и одумавшись, Ходасевич принес мне извинения, что погорячился и проч. Отношения наши восстановились, но уже не в той форме, что прежде.

Чтобы передать настроение, в котором годами бывал Ходасевич и которое к концу его жизни только обострилось, приведу извлечения из письма, написанного им сотоварищу по московской 3-й гимназии А. С. Тумаркину 23 октября 1936 г.: «Я уверен, что ты на меня не в обиде за мое исчезновение с твоего горизонта. Но поверь, будь добр, что я окончательно и бесповоротно выбит из колеи, потому что вдребезги переутомлен умственно и нервно. Прямо говорю: твое общество я бы предпочел всякому другому, если бы

[1] Его письма ко мне напечатаны в 7-й книге «Нового журнала» в 1944 г.

вообще был еще способен к общению. Но я могу делать два дела: писать, чтобы не околеть с голоду, и играть в бридж, чтобы не оставаться *ни со своими, ни с чужими мыслями.* За последние два года я случайно попал в гости к Апостолу, придя к нему за книгой, и случайно очутился у Фондаминского, когда и ты был у него. Это потому, что мы с Тэффи ходили по делу к Зеелеру и не застали его дома. Больше *ни разу* не был и никого не звал к себе, кроме Сирина — ибо он приезжий. У сестры не бываю по 2—3 месяца, с Н. Н. встречаюсь в кафе примерно раз в три недели. Молодых поэтов, ходивших ко мне по воскресеньям, тоже „закрыл". Я — вроде контуженного. Просидеть на месте больше часу для меня истинная пытка. Я, понимаешь, стал неразговороспособен. Вот если бы я мог прекратить ужасающую профессию *эмигрантского* писателя, я бы опять стал человеком. Но я ничего не умею делать.

Следственно, не сердись. Я тебя очень люблю и очень помню твое доброе, милое, бесконечно дружеское отношение ко мне. Беда в том, что я куда-то лечу вверх тормашками».

Ходасевичу суждено было прожить еще два с половиной года после того, как было написано это потрясающее письмо. Он продолжал лететь «куда-то вверх тормашками», но «ужасающей профессии эмигрантского писателя» так и не прекратил, — может быть, потому, что «не умел», как все-таки сумела это сделать, с трагическим заключением, не более Ходасевича приспособленная к такой операции Марина Цветаева; а, может быть, потому что Ходасевичу не предоставили возможности ликвидировать его «эмигрантскую профессию»?!.

Ходасевич унес в могилу ответ на эти сомнения. Но свою подверженность всякого рода соблазнам он отлично сознавал — и описал:

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей...

Смолоду «контуженный», он прожил недостаточно долго, чтобы «соблазнов сети» упали окончательно. Но 53 года жизни были все же достаточным сроком для самых разнообразных соблазнов и увлечений его встревоженной совести. Ходасевич воспринимал свою жизнь, как тяжкую ношу, — чтобы не сказать: проклятие, — несправедливо возложенную на него безжалостной судьбой. Он мужественно боролся с невзгодами; пытался преодолеть их уходом в творчество, которое ему представлялось тоже не «священным даром» или «легкой забавой», а утомительным трудом и подвигом — ремеслом, «подножием искусства». Но жизненные невзгоды,

как злые фурии, неотступно мчались вслед «контуженному», пока, настигнув, не положили конец его лету «вверх тормашками» и, заодно, — его страдальческой жизни и творчеству.

Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю...

Так думал и писал Ходасевич в 1921 году. То же повторил он и позднее в своей «Тяжелой лире».

Как и большинству крупных русских писателей, Ходасевичу был отпущен литературный дар, — ему не было дано дара жить.

З. Н. Гиппиус

По делам «С. з.» Зинаида Николаевна Гиппиус сносилась в первую очередь и скорее в личном порядке с Фондаминским, а затем со мной. Такое «двуподданство» имело свои преимущества и свои недостатки — для обеих сторон. Оно осложняло и затягивало решения. Оно давало сотруднику возможность апеллировать от одного редактора к другому, а то и «разыгрывать» одного против другого. Снимая ответственность с определенного лица, оно лишало возможности использовать обычный прием успокоения недовольного сотрудника при наличности коллегиальной редакции: «я — не я», я отлично вас понимаю и совершенно согласен, но «они», редакция, к сожалению, решили и т. д.

З. Н. Гиппиус, как известно, была поэтом, драматургом, романистом, литературным критиком, публицистом и, если хотите, — политиком. В иерархии литературного творчества вершиной — даже выше драматургии — принято считать поэзию. За последние, примерно, четыре десятилетия своей жизни Гиппиус странным образом отдавала предпочтение политике и публицистике перед поэзией. Несмотря на все политические неудачи, постигавшие и лично З. Н., и ее окружение, да и всех других, политика неизменно влекла ее к себе. И до самой кончины не переставала она политически метаться из стороны в сторону, меняя, иногда на протяжении месяцев, героев политических увлечений, но неустанно возвращаясь к своей неистребимой «страсти».

В вопросах общего или «миросозерцательного» порядка Гиппиус светила отраженным светом, падавшим на нее от Д. С. Мережковского, тоже поэта, литературного критика и мыслителя-эрудита. Многолетний секретарь Мережковских, В. А. Злобин, утверждает, что Гиппиус была и зачинательницей идей и планов, которые с изумительной чуткостью

воспринимал и разрабатывал Мережковский. Кто бы ни был первоначальным творцом связанной с именем Мережковского религиозной мистики, — Гиппиус сводила эту мистику с заоблачных высот на землю, связывала отвлеченные размышления со злобами дня и популяризовала их в периодической печати.

З. Н. Гиппиус пользовалась всероссийской известностью. У нее бывало множество поклонников ее таланта, в разное время разных, и, как оказалось, — до невероятия мало верных друзей. Большинству она изменила. Другие, она была убеждена, изменили ей. По своенравной своей натуре З. Н. неспособна была подчиняться чьему-либо руководству или следовать за кем-нибудь. Но и за собой она не умела вести. Почти все единомышленники в философской, литературной, политической областях отошли от Мережковских раньше или позже. Редко кто просто отстранился. Чаще отходили с возмущением, а то и с проклятиями. Достаточно назвать Блока, Белого, Ходасевича, Бунина.

За ум и острое, жалящее перо Гиппиус сравнивали со змием и даже с вульгарной «змеей подколодной». Гумилев называл ее «больной жемчужиной». Ремизов — «вся в костях и пружинах, устройство сложное, но к живому человеку никак». Петербургские иерархи величали «белой дьяволицей». Даже друзья, сохранившие верность, — «ведьмой», по свидетельству Злобина. А Белый живописал ее, как «епископессу, благословлявшую собравшихся лорнеткой и миропомазывавшую перчаткой»...

На замечательном портрете Льва Бакста молодая Гиппиус — в мужском костюме с заложенными в карманы руками, рукава окаймлены кружевными манжетами, а ноги, изящные, длинные, тонкие, перекинуты одна на другую. Полуоткинувшись и склонив головку, с кокетливым задором взирает поэтесса на мир прищуренными близорукими глазами. Это Гиппиус первых десятилетий своей деятельности, «вяще изломившаяся» символистка и декадентка, приятельница Брюсова, Минского, Волынского, жрица чистого искусства, не считающаяся ни с какими предрассудками и ни с чьим самолюбием. Это эпоха крайнего самоутверждения: «Люблю себя как Бога» и «Хочу того, чего нет на свете».

При всей бесспорности Гиппиус-поэта, который останется в истории русской поэзии, имеется еще жанр литературы, который, по мнению многих, в том числе поэтов и литературных критиков, является высшим достижением в многообразном и разнохарактерном творчестве Гиппиус. Это — ее эпистолярное творчество. Г. А. Адамович утверждает: «Рано или поздно станет общепризнанной истиной, что отчетливее, сильнее всего талант Зин. Гиппиус, „единственность“ ее личности, — как выразился в дневнике своем Блок, — запечат-

лены не в стихах, не в рассказах, не в статьях, а в частных ее письмах».

В течение 15 лет, с 1923 по 1937 гг. я был в числе многочисленных адресатов и корреспондентов Гиппиус. То краткие, синего цвета «пневматички» (доставляемые в экстренном порядке), то пространные на несколько страниц, написанных от руки, разного формата, цвета и качества бумаги, — иногда два письма в день, а то ни одного на протяжении месяцев и даже лет, — письма эти связаны с сотрудничеством Гиппиус в «С. з.». Началось с технической оплошности, — по-видимому, самого автора, а не типографии. В корректуре «Литературной записи» оказались «фатальные описки! Например, — о расцветшем *Моисеевом* жезле, когда я внезапно вспомнила, что с ним этого никогда не случалось, а расцвел *Ааронов*! Нормальные люди будут упрекать меня в невежестве, а ненормальные, пожалуй, в антисемитизме! Я не хочу ни того, ни другого. Поэтому — нельзя ли мне все-таки корректуру?»

Это и другие ходатайства и требования, чаще законные и неизменно в шутливой, иронической, а то и саркастической форме, вызывали, естественно, ответные реплики. И постепенно завязалась переписка, в которую то и дело вклинивались «выяснения личных отношений» и обмен мнений на политические темы — личного и общего порядка. Гиппиус утверждала, что не имеет вкуса к политике, что она «отнюдь не профессионал», «не участник событий, имеющий влияние на них», а всего-навсего «просто обыватель, созерцатель, наблюдатель», — «записыватель». Но это было не так — ни в России, ни в эмиграции Гиппиус постоянно куда-то входила и откуда-то выходила, политически сходилась и расходилась (и расходилась охотнее, чем сходилась!), мирилась и мирила, ссорилась и ссорила, — не переставая оставаться почти в полном политическом одиночестве и изоляции. Многолетний опыт ничему ее не научил, и в годы сотрудничества в «С. з.» она, как и встарь, с увлечением занималась политикой, делая ее на свой эстетически-капризный лад.

Она нападала на всех — с особенной страстью на Кускову, Пешехонова, Чернова, Степуна и Керенского, — от которого отвернулась, по ее уверению, уже в июне 1917 г. и к которому вернулась в 30-х гг. В 20-х она защищала свою особую, якобы новую позицию. Разместив всех с нею несогласных — а кто был согласен с нею? — по двум путям, «изведанным, исхоженным, утоптанным», себе Гиппиус наметила «третий путь», «центр». Она писала (14 янв. 1924 г.): «С тех пор как эмиграция треснула на две части — я сознательно сижу в трещине. Очень неудобно сидеть там, да еще одной, но как быть? Ни очарование Кусковой со Степу-

ном, ни таланты Бунина и Шульгина не заставят меня изменить „предмету“ (в смысле моей „правды“ и в смысле человека)».

Поиски Гиппиус своего особого пути «не правого и не левого» были искренни и заслуживали всякого признания. Но объективно, в сознании окружавших ее, они оборачивались совсем иначе. Редакция «Возрождения», где Гиппиус, параллельно с частной перепиской, публично искала свой путь, бесцеремонно сблизила этот третий путь Гиппиус с путем, избранным Муссолини: «Из опыта Муссолини мы почерпаем то поучение, что в политической жизни пути не ограничиваются правизной и левизной, что эти понятия правизны и левизны, эти политические шоры устарели, что возможны какие-то иные пути...»

Мне трудно объяснить удовлетворительно, почему З. Н. Гиппиус в поисках своей политической линии обратила свое благосклонное внимание на меня и сделала меня конфидентом ее добрых и недобрых чувств. Может быть, единственным мотивом было то, что персонифицируя и отождествляя «С. з.» со мной, она считала, что воздействие на меня в какой-то мере может отразиться и на политическом направлении журнала. Как бы то ни было, в письмах ко мне, как и в том, что она писала в «Возрождении» о «символическом Вишняке», обозначая их всех «левых», с которыми считала возможным иметь дело, она бывала и отменно любезной, и недопустимо резкой.

Уже через две недели, как началась переписка, Гиппиус писала: «Это прямо ужасно, во что превратился наш „роман“. Только что я чему обрадуюсь — Вы тут-то меня изничтожите. Чуть я найду, что Вы поступили благородно и красиво, оказывается, что Вы полны раскаяния и рвете на себе одежду. Нет, я больше не могу. *Я требую свидания* (подчеркнуто дважды)!.. Хочу, чтобы Вы мне решительно все высказали, а я буду слушать и принимать к сведению». Наряду с этим она издевалась, язвила и корила журнал в целом и отдельных его редакторов. Почти все вызывало ее возражения, недовольство или осложнения.

«Стихи Цветаевой — конечно, дело вкуса редакции, но *на одной странице с моими* — этот узел, — во всяком случае, бесспорное безвкусие. Вы не согласны?» — спрашивал мой корреспондент. — «Шмелева я (уж тут — я) не только простила, но даже и не сердилась ни секунды; ответила ему ласково и успокаивающе, сказав, что как бы он ко мне ни относился, — я всегда отношусь к нему с неизменно хорошим чувством в душе. Но вам совсем не к лицу тоже „шмелять“. Я пишу мои отзывы по силе разума и *по совести* и в этом полагаю мою честь (хотя допускаю, что могу, *объективно*, и ошибаться). Скорее просите у меня прощения, что обви-

нили меня в „лицеприятии", а то подумайте, как же таких сотрудников в журнал пускать? Я очень сдавлена двумя цензурами, вашей и милюковской; если бы я могла как в прежние времена при духовно светской цензуре „Нового пути"[1] или просто светской „Дня"[2] говорить полным голосом, я бы говорила больше и лучше, но *не иное*!» (17.I.26).

«У каждого писателя своя психология. Я прекрасно понимаю Вашу. И мне только жаль, что никогда вы не хотели понять меня. Я это отношу исключительно к недостатку внимания к вашей покорной слуге» и т. д. (4.IX.26).

В другой раз Гиппиус почувствовала себя задетой тем, что «С. з.» попросили у нее более актуальный очерк, нежели предложенный ею, — о Полонском и Плещееве. «Ну уж, что там, дорогой Марк Вениаминович! Уж лучше б признались просто, невелико преступление — желать „отдохнуть" от меня, точно я не понимаю! В „неловкости" вашей последней и я, пожалуй, отчасти виновата: чего сама раньше не догадалась. Так что и ни к чему ваше это письмо, такое официальное, точно „письмо в редакцию": какая же я „редакция", и что мне делать с грозным „является да представляется", когда все будто на ладонке, а беды нет никому. Неужели, серьезно, вы бы предпочли, чтоб я верила такой шутке: будто редакция не приемлет тему о русской литературе? Правда, Суворин и Чехов были плохие революционеры, но зато у Плещеева имеется „Вперед, без страха и сомнения", а у Вейнберга „Море", а у Григоровича „Антон Горемыка". Неужели мне верить, что даже и за них редакция не могла стерпеть имен двух первых (и Майкова, признаюсь)» (13.V.24).

И я, и Руднев, и Фондаминский доказывали Гиппиус в устном порядке и в письменном, что мы вовсе не намерены «отдохнуть» от нее. Она продолжала стоять на своем, и редакция вынуждена была уступить: в 21-й книге «Современных записок» появилось «Благоухание седин» — о Плещееве, Полонском, Вейнберге, Суворине, Чехове и Толстом.

Как я уже упоминал, Гиппиус было трудно сотрудничать в «Современных записках», но объективные трудности она сильно преувеличивала и утрировала, изображая себя жертвой, которую притесняют, — что было только оборотной стороной присущего ей убеждения в собственном превосходстве и правоте. Открыто она, конечно, об этом не говорила и не писала, но иронически на это не раз намекала. Приведу для иллюстрации одно из ее шуточных сопровождений к статье (это было вскоре после эпизода с ее нападками на Горького, о котором говорилось в 4-й главе).

---

[1] Религиозно-философский журнал, выходивший в Петербурге до первой войны.

[2] Ежедневная газета в Петербурге до большевиков.

Чтоб вновь не стало небу жарко
От скучных покаяний Марка —
Писал я каждую строку
Во угожденье Вишняку.
Ну, и была, ей-Богу, мука!
А если вышла только скука —
Скажу, нимало не смущен,
Что в ней виновен не Антон. (20.II.24).

Без специального о том уговора Гиппиус и я воздерживались от взаимной полемики на страницах «Современных записок». Для этого мы пользовались газетами, в которых сотрудничали: «Возрождением» и «Днями». Тут я чувствовал себя гораздо свободнее — не был редактором, оказывавшим «гостеприимство», — и давал выход своим чувствам. Я писал о «Путях и перепутьях З. Н. Гиппиус» («Дни» 14.XII.27) и о ее «Символах и реальности» (4.I.28). Эпиграфом для последней статьи я взял строки из старого стихотворения Федора Сологуба (10.XII.1889):

...Тогда последнего удара
Я равнодушно ожидал,
Но мой противник, злая мара,
Вдруг побледнел и задрожал.

Холодным тягостным туманом
Обоих нас он окружил,
И, трепеща скользящим станом,
Он, как змея, меня обвил.

Глаза туманит, грудь мне давит,
По капле кровь мою сосет,
Мне душно. Кто меня избавит?
Кто этот призрак рассечет?..

В долгу З. Н., конечно, не оставалась. И параллельно с полемикой в печати полемика продолжалась в частных наших письмах[1]. Наша переписка всегда была окрашена политикой. Я доказывал, что Гиппиус стремится «обновить» политику эстетикой. Гиппиус признавала, что я «во многом прав», но уточняла, что в прошлом политик «боролся» против эстетики, а эстет «не желал» политики. Теперь же, очевидно, положение иное (18.X.30).

В начале 1927 г. Мережковские надумали зажечь в Париже «Зеленую лампу», на манер пушкинской, — для собеседований на литературно-философские темы. Беседы немедленно приняли политическую окраску. Говорили там много и о «Современных записках», и о взглядах того и другого редактора журнала. В издававшемся Мережковскими «Новом корабле» печатались «протоколы» заседаний «Зеленой

[1] Часть сохранившихся у меня писем З. Н. Гиппиус опубликована в «Новом журнале» № 37. Нью-Йорк, 1954.

лампы», — в частности, «протоколы» заседания 1927 г., посвященного обсуждению доклада И. И. Бунакова о «Русской интеллигенции, как духовном Ордене». В числе многих выступавших был и секретарь Мережковских В. А. Злобин, сказавший, между прочим: «Если из ордена русской интеллигенции могли выйти большевики, то, очевидно, в самой его сердцевине, была червоточина. И я боюсь, что червяк, а, может быть, даже и нечто похуже (? — *М. В.*), нечто более страшное, завелся и здесь, в эмиграции, в частности, в „Современных записках". Да простит мне Марк Веньяминович, что я их тревожу. Но как о них не говорить? Ведь это единственный русский журнал на всем свете. Как не предъявлять к нему самые строгие требования? Он собирает русскую культуру; это конечно, нельзя не приветствовать. Но не повторяет ли журнал основную ошибку интеллигентского ордена, не обезличивает ли он свободу? Для него она — я все больше убеждаюсь — лишь отвлеченная идея, не имеющая никакого внутреннего положительного содержания, нечто вроде пустого мешка, который можно набить чем угодно, и куда, увы, попало уже немало дряни. Нас такой „свободой" не соблазнишь. Мы на опыте убедились, что нет ничего разрушительнее отвлеченных идей; бесплотная, бескровная идея свободы высосала нас, буквально, как вампир. Поэтому, когда Бунаков расправляет крылья, мне хочется спрятаться куда-нибудь подальше, зарыться в землю: знаю я, чего эти взлеты стоят! И мы уже достаточно потеряли крови, чтобы служить тому бледному чудовищу (? — *М. В.*), которое воспитывают в своем мешке „Современные записки"» («Новый корабль». № 4).

Мережковские всячески старались привлечь в «Зеленую лампу» не только своих «сочувственников», но и противников. Однако, как и многие другие, я после двукратного посещения «Лампы» утратил интерес к ней. Она была интересна преимущественно тем, кто не имели никакого отношения к литературе и политике и хотели взглянуть на живую Гиппиус или Бунина, послушать Мережковского или Ходасевича и, главное, понюхать, чем живы писатели и что делается за редакционными кулисами: из-за какого гусака поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович или чего не поделила Пульхерия Ивановна со своим Афанасием Ивановичем. На собрании «Лампы» можно было услышать поразительные вещи, вроде негодующего обличения Д. С. Мережковским:

— Вы с кем, с Христом или с Адамовичем?!.

З. Н., конечно, не могла примириться с тем, что ее «Лампой» пренебрегли. И в длинном послании она пытается склонить корреспондента в пользу «Лампы». «Вам не нравится „Зеленая лампа". Очень хорошо. (Мне она тоже не

нравится.) Вы, конечно, отдаете себе полный отчет, *почему* она вам не нравится, а нам почему этого не объяснили? Нам неизвестно... Я не могу понять, почему вы, — как *вы* — считаете себя „блаженным“, не идя на совет нечестивых. ⟨...⟩ *Не знаю*, почему вам кажется, что вы „блаженные, не идя...“ и, очевидно, —

не узнаю,
Не схвачу, не рассужу,
Всех клубков не размотаю,
Всех узлов не развяжу,—

пока вы мне сами не поможете. С недоуменным приветом З. Гиппиус» (25.III.27).

И еще: «...Ну просто вам показалось, что „литераторы“ позвали редакторов, чтобы бранить их за „нелитературность“ или под видом „нелитературности“ за то, что они у них не все сплошь печатают. Действительно, какое положение редакторов при этом? Не защищаться же, не уверять же, что литературен. Кроме того, если резко, — то сотрудники обидятся. Вы правы, если так, если для этого и зажгли перфидные писатели свою глупую лампу, но всего лучше сказать им, — как гимназистам мы говаривали, — „ноль внимания, фунт презрения“. Такие разговоры совсем никому не нужны, а споры на эту тему и того менее» (31.III.27).

З. Н. Гиппиус защищала «Лампу», атаковала ее противников, пока «Лампа» сама собой не потухла.

Несмотря на все трудности, неприятности и обиды, которые Гиппиус претерпевала от «Современных записок», журнал оставил длительный и глубокий след в ее сознании. Присутствовавший при том, как З. Н. умирала, Злобин свидетельствует, что и через 5 лет после того, как журнал приказал долго жить, после всего пережитого миром и самой Гиппиус за время войны и после она сохранила живой интерес к журналу и перечитывала его. «Толстый том „Современных записок“, который она, лежа после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук — в тот самый момент, когда у нее отнимается правая рука и нога...»

На этом можно было бы кончить, если бы не посмертная книга З. Н. Гиппиус, написанная ею в 1943—1944 гг. незадолго до собственной смерти (9 сентября 1945 г.), о Д. С. Мережковском. Писала она, конечно, со всей доступной ей искренностью и предельным приближением к своей правде. Эта книга отбрасывает свет и на многое из того, *что* и *как* Гиппиус писала в частных письмах 17—31 год назад.

Написанная в естественных думах о конце своего жизненного пути, посмертная книга Гиппиус не содержит почти

ни одного доброжелательного слова ни по чьему адресу, за исключением, конечно, Мережковского и самого автора, хотя говорить «о себе в высшей степени неприятно — было и есть». Булгаков, Андрей Белый, Карташев, Дягилев, Керенский, даже Философов и Фондаминский, не исключая самого Владимира Соловьева, — все помянуты недобрым словом. И кем? Долголетней проповедницей «охристианизации земной плоти мира», религии «третьего завета», «вселенского братства», автором стихотворения «Верность», посвященного И. И. Ф-му (Фондаминскому), где говорилось:

«...Но сердцем бедным, горько равнодушным
Тебя люблю, мой верный, навсегда». («С. з.», кн. 18-я).

В. Злобин свидетельствует, что «в кругу Мережковских» фраза «когда однажды погибала Помпея, я завивала папильотки» — стала «классической». Посмертное произведение Гиппиус подтверждает, что «фраза» точно соответствовала внутреннему отношению автора к миру и людям. В предельной гордыне, без самого отдаленного намека на собственные грехи и заблуждения, — а сколько было тех и других, политических и иных[1], — Гиппиус кичится своей непримиримостью к большевизму и отталкивается от *всей* политиче-

---

[1] Я не касаюсь морально-политической капитуляции З. Н. Гиппиус в пору Гитлера, так как это случилось уже после прекращения «Современных записок». Но в эскизе к политическому портрету видной сотрудницы «Современных записок» нельзя умолчать о сделанном по ее адресу заявлении пресловутого органа Жеребкова, гитлеровского гаулейтера для русской эмиграции во Франции.

«Парижский вестник» перевел на русский язык и перепечатал 3 января 1944 г. статью Мережковского, опубликованную в итальянском фашистском издании в июле 1941 г. При этом сообщалось, что это делается «с согласия З. Н. Гиппиус, верной соратницы Д. С. Мережковского по борьбе с большевиками, так чутко осознавшей, что только в тесном союзе с Германией, под водительством ее Великого Фюрера, будет наша родина спасена от иудо-большевизма» («Парижский вестник» № 81).

После этого Париж, Франция и Гиппиус были освобождены от подчинения Гитлеру и Жеребкову. И больше года прожила З. Н. Гиппиус в освобожденном Париже в атмосфере всеобщего отмежевания от часто вынужденной связи с Гитлером и Жеребковым,— в атмосфере раскаяния и покаяния в содеянном. Я не встретил, однако, ни одного публичного заявления З. Н. о том, что Жеребков возвел на нее поклеп или, если то была правда,— раскаяния с ее стороны или выражения хотя бы сожаления о содеянном.

«Эволюция» Гиппиус была тем более неожиданной, что еще в конце 1939 г. она как будто относилась к наци и их юдофобии совершенно иначе. В 69-й книге «Современных записок» напечатан ею за подписью Антон Крайний отзыв «Об одной книжке» анонимного русского автора, пожелавшего, по выражению рецензента, «подпереть» антисемитизм наци авторитетом В. В. Розанова. Заступаясь за последнего, А. Крайний доказывал, что «Розанов ходил около евреев, как завороженный» всю жизнь. В еврейской религии Розанов ощущал «связь Бога с плотью мира, с полом, с рождением» и т. д.

ской эмиграции: «Интеллигенты-эмигранты, войдя или не входя в Церковь, будучи или не будучи масонами или евреями, все равно не могли с полной непримиримостью к советской власти относиться...»

Конечно, З. Н. Гиппиус писала свою книгу в состоянии некоторого аффекта, в одиночестве, еще более ее угнетавшем, может быть, чем нищета. Она озлобилась на весь мир и презрела его. Это не меняет положения. Перечитывая сейчас письма Гиппиус в свете — или тени, — отброшенных заключительным этапом ее жизни и творчества, трудно отрешиться от вывода, что мысли и чувства, находившие частичное выражение в ее стихах в «Современных записках» и письмах, далеко не соответствовали подлинному ее отношению к адресату и темам, которые она трактовала. Я не слишком обольщался и обманывался и прежде. Посмертная книга убеждает в том, что и худшие опасения, увы, оправдались.

Письма Гиппиус представляются мне сейчас разновидностью «прелестных писем», которые распространялись в смутное время с целью обольстить и склонить противника к переходу на свою сторону. Гиппиус надеялась и старалась «выправить» политическую линию «Современных записок» и в этих целях пыталась склонить на свою сторону руководителей журнала. Она считала, что делает этим «политику». Чем другим объяснить эту затрату времени и духовной энергии, которой требовала даже у скоро пишущей З. Н. Гиппиус ее переписка.

Ф. А. Степун

Федор Августович Степун был того же духовного корня, что и З. Н. Гиппиус: оба они были связаны с религиозно-мистическим воззрением Владимира Соловьева. Тем не менее в политической области они были, если не антиподами, то очень разных настроений и взглядов. Тем самым лишний раз подтверждалось, что родство или схожесть миросозерцания еще не создают общности или близости в практическом приложении идей к миру вещей.

Правда, бывали случаи, когда Степун и Гиппиус вместе с другими выступали общим фронтом, — например, против Бердяева начала 20-х годов. Гораздо чаще, однако, Степун являлся как бы «антидотом» к тем крайностям, которые высказывала Гиппиус.

Гиппиус как-то справлялась у меня (письмо от 7.II.25), не покажется ли мне «черносотенным» стишок:

С тоски и недоверия
В Аркос[1] не лезь:
Пока «там» Эсесерия,
Россия — здесь.

Я, конечно, не считал, что Россия — в Париже и что вообще местопребыванием культурной «элиты» и возможностью свободного творчества определяется местоположение родины. Но Степун, как и некоторые другие, высланные одновременно с ним из советской России, держались мнения как раз обратного тому, которое защищала Гиппиус. Степун считал себя как бы лично задетым утверждениями Гиппиус. Несмотря на серьезные расхождения с Осоргиным, Пешехоновым, Кусковой, Степун, как они, считал своим долгом свидетельствовать о том, что «Россия жива» и «многое ставится на ноги» — то была весенняя пора НЭПа. Мережковские декламировали: «Мы не в изгнании, мы в послании». Степун же проповедовал как раз обратное: эмиграция или презренная «эмигрантщина», это даже не Россия № 2, а — люди прошлого, для которых часы истории остановились на 1917 г. и которые живут, поскольку они духовно еще не умерли, исключительно воспоминаниями.

Большинство редакции «Современных записок» решительно отвергало обе крайности. Подводя пятилетние итоги существования «Современных записок», я напоминал слова Герцена 1864 г. о «жалком приеме изображать нас врагами России за то, что мы являемся противниками режима». Это в одинаковой мере относилось и к Шмелеву, который осуждал левых за то, что из ненависти к самодержавию они «мазали» черной краской Россию, и к тем, кто осуждали нашу крайнюю нетерпимость и ненависть к большевистской диктатуре. Эти последние тоже осуждали нас за то, что мы недостаточно любим Россию, за лесами режима не видим ее подлинного «лика». Я доказывал, что демократическая печать, революционная в эпоху царизма и революционная в отношении к советской диктатуре, ни в какой мере не повинна в недостатке патриотизма. «Нас нечего поворачивать „лицом к России“, ибо мы никогда от нее не отворачивались, всегда пребывали в думах о России». Это было исходной позицией «Современных записок».

Для «Современных записок» оказались весьма ценными и поучительными встреча и общение с высланными писателями, экономистами, политическими деятелями, наблюдавшими на месте российский уклад жизни в советских усло-

---

[1] Советское кооперативное общество в Лондоне, занимавшееся не только торговой, но и противоанглийской деятельностью. В мае 1927 г. полиция проникла в помещение Аркоса, что вызвало перерыв на два года в англо-советских торговых и дипломатических отношениях.

виях. Они принесли на своем платье пыль и дым отечества, цветы и запахи родной земли. С их приездом познание и понимание России стали шире, глубже, точнее, и интерес к ней стал напряженнее, пристальнее, разностороннее. Но новой эры в понимании происходящих в России процессов приехавшие не открыли. Непонимания, духовной пропасти или «рва» между людьми подневольного советского опыта и зарубежниками не оказалось. И приезжие без всякого насилия над собой легко и быстро разместились по уже сложившимся в эмиграции группам или «кланам». Одни пошли вправо — в «Возрождение» Гукасова и Струве, другие влево — в «Волю России», в «Современные записки», «Дни», к Милюкову, к евразийцам.

Так писал я в 26-й книге «Современных записок». Того же мнения держались и Руднев с Авксентьевым. Руднев отлично формулировал «главные пункты тяжбы непримиримых русских демократов (с большевиками) перед судом истории. (Они) остаются всё те же: мы обвиняем большевиков в том, во-первых, что, захватив в 1917 г. власть путем заговора, опиравшегося на ничтожное меньшинство, они насильственно прервали только что открывшийся тогда перед русским народом путь мирного развития к свободе; во-вторых, что большевики, удерживая с тех пор в своих руках власть только насилием и террором, использовали ее для неслыханного в истории хозяйственного и духовного закрепощения народа; и, наконец, в-третьих, что своей безумной хозяйственной политикой и духовным порабощением народа большевики уже довели Россию до полного истощения и одичания и готовят ей неизбежные, еще более страшные испытания в будущем. Поэтому для нас советский режим — величайшая тирания, небывалая хозяйственная бессмыслица, злейшая духовная реакция» (кн. 50).

«Мысли о России» Степуна внесли в «Современные записки» не только новую ноту, но и ноту до того чуждую журналу. Он вывез из советской России, вместе с высокомерно презрительным отношением к эмиграции-эмигрантщине, «злостной эмигрантщине», сравнительно терпимое отношение к советской действительности — «понимание» советской литературы, советского строя, большевизма. Степун почти обо всем рассуждал «в высшем плане», как бы из стратосферы окидывая религиозным взором происходящее и творящееся на грешной земле, в эмпирии. Он противопоставлял метафизику эмпирике и «углубленную психологию» — политике. Это позволяло вкладывать свой смысл и содержание в политические понятия, в демократию и социализм, в «пореволюционное сознание», в призывы А. В. Пешехонова и М. А. Осоргина к возвращению на родину, в «цивический пафос» оспаривавших этот призыв и т. д. Его утверждения и отрицания были

преисполнены явных противоречий, что отнюдь не признавалось им самим за порок или изъян. Наоборот, внутренний слух, интуиция, подкожное чувство, диалектика, сочетание противоположностей являлись для него более надежными средствами проникновения в суть вещей — для «осмысливания, обессмысливания и переосмысливания жизни».

Противоречия Степуна скрашивались — иногда затемнялись — красноречивостью его писаний[1]. «Одномыслию» мертвого, по его мнению, термина он, по примеру Ив. Киреевского, определенно предпочитал «многомыслие живого слова, в переливчатом смысле которого должно трепетать и отзываться каждое дыхание ума, которое беспрестанно должно менять свою краску, сообразно беспрестанно изменяющемуся сцеплению и разрешению мыслей». Степун был мастером диалектически противоречивых суждений, всяческих поражающих воображение парадоксов, остроумной игры слов, сопоставлений и противопоставлений смежных идей и понятий.

Идеи для Степуна были «структурой нашего бессознательного переживания», благодатной и необходимой, тогда как идеология — «построение теоретического сознания», тяготеющее к беспочвенности и бесплодию. Таково же, примерно, соотношение между судьбоносной памятью и бесплодными воспоминаниями. Одно дело Н. А. Бердяев, которого Степун всячески превозносил, и другое дело «бердяевщина», Степуном изобличаемая.

Иногда создавалось впечатление, будто автор издевается над читателем. «Русская интеллигенция потому и почвенная, что в России есть почва для беспочвенности, что в России беспочвенность — почва» (кн. 32). «Темнота русского простого человека, как явление внутрицерковной жизни, скорее культура, чем некультурность... Темнота, некультурность, необразованность русского народа» — «спасительна» по сравнению с западноевропейским «расцерковленным полупросвещением» (кн. 33).

Это можно было счесть за невинное увлечение «переливчатым смыслом» слов. Более серьезными — и рискованными — были историко-философские и политические суждения Степуна. Ему «было ясно, что большевизм — это географическая бескрайность и психологическая безмерность России... одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчетливые эксплуататоры и потакатели боль-

---

[1] В своих воспоминаниях Ф. А. Степун приводит издевательски дружеские слова экономиста-сослуживца по артиллерийской бригаде: «Ах, Федор, Федор, какой бы из тебя вышел ученый, если бы ты родился заикой».

шевизма» (кн. 14). «Я утверждаю, что революционная демократия только (!) потому не спасла своей политической святыни — Учредительного собрания, что для нее ничего не было святее политики; что она самого Бога была склонна мыслить бессмертным председателем транспланетарного парламента и революционные громы 17-го г. восторженно, но наивно приняла за Его звонок, открывающий исторические прения по вопросу республиканского устроения России... Я очень хорошо знаю, что защищать в настоящее время, да еще в эмиграции, идею демократии, как *религиозную идею национальной России*, дело совершенно безнадежное. Но, может быть, только то и стоит защищать, что большинству кажется делом пропащим» (кн. 21). «За всеми отрицательными явлениями (страшного нравственного развала России) нельзя не видеть и положительных. Ведь будущность России творится сейчас не в тех душах, которые услышали всего только взрыв конечных смыслов, но тех, кто, услышавши *смысл* этого взрыва, узнали в нем голос вечности» (кн. 23).

Этот взрыв всех смыслов, как «верховный смысл революции», и «неосмысливаемость всего происходящего гибелью буржуазного и насаждением коммунистического строя» очень полюбились Степуну, и он не раз к ним возвращался. Он утверждал, что «недооценкой Октября легко снизить пафос вселенских задач России, который в нем, бесспорно, прозвучал» (кн. 34).

Сейчас многие из утверждений и отрицаний Степуна воспринимаются не только как преувеличения и парадоксы, но и как самоочевидный абсурд. Многое, не все, конечно, и сам Ф. А. Степун, вероятно, взял бы сейчас назад. Но в 20-х и 30-х гг. подход Степуна казался оригинальным и увлекательным проникновением в самые глубины русского духа и существа большевизма. Многие восхищались всегда яркими писаниями Степуна — и не только рядовые читатели, но и искушенные писатели, и многие им возмущались — и не только писатели, но и читатели[1].

---

[1] Сохранилось письмо нью-йоркского психиатра Вильяма Мовшина от 28 ноября 1929 г., в котором он подвергает «профессиональному» анализу статью Степуна «Религиозный смысл революции» (кн. 40). Д-р Мовшин нашел ее симптоматичной для нашего «кошмарного, сумасбродного циклона исторических событий».

Та же статья Степуна вызвала чрезвычайно резкий отзыв со стороны постоянного сотрудника «Современных записок», весьма квалифицированного проф. П. М. Бицилли. Он писал: «Дважды брался за чтение и оба раза — сводило челюсти. Скука зеленая! Напомнила она мне глубокую древность (первые годы эмиграции), когда вдруг, как грибы после дождя, выперли новые Достоевские, Владимиры Соловьевы, Розановы и Константины Леонтьевы,— все, конечно, оказавшиеся фальшивыми. Какое-то плетение словес, рассекание волоса на 1000 частей, вербализм без границ, весь аппарат самоновейшей диалектики, пущенный в ход без трансмис-

Редакция «Современных записок» очень ценила участие Степуна в журнале. Помимо литературных достоинств его статей и остроты затрагиваемых им проблем и вопросов, мы отдавали себе отчет в том, что даже элементарные истины доходят часто до сознания людей не в силу внутренней их самоочевидности, а в зависимости от того, кто эти истины излагает и защищает. И дорогие нам начала свободы и равенства, как и оправдание демократии и социализма, окажутся приемлемее и будут легче и быстрее освоены, если на их защиту выступит «свой» по миросозерцательной установке, а не исконный демократ и социалист, по тому самому уже возбуждающий сомнения и подозрения в предвзятости и «партийности». Я не разделял исходных позиций Степуна, многое казалось мне неправильным и в положительных его социально-политических выводах, тем не менее и политически писания Степуна часто шли в общей линии того, что нам с Рудневым и Авксентьевым казалось необходимым и желательным.

Конечно, Степун был убежденным противником не только большевиков, но и большевизма, — хотя он и проводил принципиальное различие между тем и другим. Он считал даже, что только при его подходе и на его «глубине» возможно до конца отрицать и отвергать большевиков. Но и я, и Руднев почти болезненно воспринимали «углубленный подход» Степуна к большевизму, который нам казался «советофильством» и введением в искушение читателей журнала — апология большевизма не могла не примирять, вопреки намерению Степуна, и с большевиками. Нам казалось, что признание «предельного окаянства» большевиков, во всяком случае, нейтрализуется, а то и вовсе упраздняется утверждением, что в большевизме звучат «вселенские задачи России» и что Октябрь «характернейшая национальная тема». Естественно, что я пытался «обезвредить» высказывания Степуна, вскрыть противоречия и соблазны, предостеречь от искушения.

В ряде статей по разным поводам я отмечал, как Степун злоупотребляет «многомысленностью живого слова», как незаконно его смешение Февраля с Октябрем и утверждение Октября как единственно подлинной революции. Мне удалось вызвать у Степуна признание на страницах «Современных записок», что его мысль «зачастую колобродит в темных просторах», что я во многом прав, что ему «гораздо труднее» защищаться от моих «нападок», чем от других оппонентов и что между Февралем и Октябрем «громадная

сии, — и я пожалел Вас за то, что, в качестве выправителя редакционной «линии», Вы должны были все это внимательно прочесть. Простите, что я выражаюсь столь непарламентски» и т. д.

разница между людьми и идеями... в самых различных планах — в этическом, национальном, правовом и т. д., но не в революционном» (кн. 34).

Это было, конечно, некоторым отступлением от прежней позиции и давало частичное удовлетворение. Гораздо меньшее удовлетворение давал ответ Степуна на мой вопрос: «Предпочел ли бы он, к добру и злу отнюдь не равнодушный, „чтобы русская революция прошла бы много тише, приглушеннее, рациональнее", на немецкий лад, „но зато Толстой и Достоевский не стали бы тем, чем они стали, — всемирно значительными иероглифами русской народной религиозности", или, несмотря на „окаянство", он все-таки предпочитает русскую „импровизацию, случай и вдохновение" немецким „границам, долгу и мере"»?.. Этот, по выражению Степуна, «психологически тонкий и острый вопрос» был заострен другим: «Ну, а что же, хорошо, что большевики были, или лучше, если бы их не было?»[1].

И Степун, с присущей ему интеллектуальной и всяческой иной честностью, откровенно заявил: «На этот вопрос я *сейчас* (подчеркнуто *Ф. А.*) ответить не могу. Ответ на него будет зависеть от того, во что переродится большевизм в России. Если все кончится только порядком, мерой, законом, — то большевизм придется признать только злом, тем, чего лучше бы не было. Но если Россия в будущем, в своем национальном и социальном строительстве вознесется на те положительные религиозные, этические и социальные высоты, о которых пророчествовали Толстой и Достоевский, с которых она сорвалась в большевизм, которые она исказила в революции, то Октябрь будет оправдан» (кн. 34, с. 400).

Со времени сомнений — и агностицизма — Степуна минуло больше четверти века, и события дали на них совершенно определенный ответ: Октябрь не оправдался даже в том условном смысле, в каком его оправдывал автор в 1927 г. «Внутренний слух» и углубленное «метафизически духоведческое» проникновение в суть вещей ввели его в заблуждение. То же, что Степун клеймил «терминологическим методом», «духовной глухотой», «статическим мышлением» и т. д., провидело будущее — вернее, отдавало себе отчет в существовавшем — гораздо правильнее. Можно было бы думать, что тяжелый опыт окончательно убедит Степуна в ошибочности его былой позиции. Это случилось лишь частично.

---

[1] То, что я писал о взглядах Ф. А. Степуна в 33, 36 и 40 книгах «Современных записок», я переработал в особый очерк «Религиозный смысл революции по Ф. А. Степуну» и включил в книгу «Два Пути. Февраль и Октябрь» (Париж: Изд-во «Современные записки», 1931).

Мировая война обрекла Степуна в Германии на вынужденный досуг, и он написал воспоминания о «Прошедшем и непреходящем». В них восприятия автором советского периода его жизни носят, на мой «внутренний слух», гораздо более мрачный и пессимистический характер, нежели «Мысли о России», которые были написаны вскоре после оставления России и печатались в «Современных записках» в восьми книжках на протяжении 1923—1928 гг. Однако, и в этих новейших воспоминаниях можно найти не один безответственный парадокс, который признан таковым самим Степуном и который чрезвычайно близок, не по заданию, а по содержанию, тому, что утверждает советская пропаганда. Приведу пример.

Ф. Степун провидит, что не кто иной, а Ленин «войдет в историю в качестве подлинного осуществителя манифеста об освобождении (крестьян) 19 февраля 1861 г.». Автор сам ощущает сомнительность своего утверждения и, точно спохватываясь, прибавляет: «Знаю, нелегко признать правильность этой мысли. Когда я пишу это, еще острием своего пера я ощущаю, как протестует против этого мое сердце. Все же я остаюсь при твердом убеждении, что невозможно, хотя бы приблизительно, представить себе облик будущей России без того, чтобы не примириться с правдой защищаемого мною парадокса» [1].

В том же т. 1 своих воспоминаний на немецком языке Степун, описывая предреволюционную эпоху и свое знакомство с Алексеем Толстым, перекинулся мыслью к последней встрече с ним в Париже летом 1938 г. на «Анне Карениной», которую привез Художественный Театр из Москвы. Я был тому свидетелем. Во время антракта на глазах у всех Степун встретился с Толстым, который к тому времени стал не только одним из наиболее «знатных людей» в Советском Союзе, но и одним из наиболее видных пропагандистов «советского гуманизма». Степун описывает, как он обменялся рукопожатием со старым знакомым, — мне казалось, что он с ним и расцеловался. «Это вызвало бурный протест со стороны одного убежденного и верного парижского социалиста, даже слезы выступили у него на глазах», — уверяет Степун. «Если оправдывать (Алексея) Толстого, который в России требует смертной казни, а в Англии заступается за свободу печати, — сказал он мне в редакции „Современных записок“

[1] Vergangenes und Unvergängliches, S. 27.— В тех же воспоминаниях на русском языке автор высказывает этот взгляд в более общих выражениях. «Октябрь войдет в историю существеннейшим этапом на пути окончательного раскрепощения русского народа. Я знаю, до чего трудно согласиться с этою мыслью,— высказывая ее,. я чувствую, как сердце еще на конце пера сопротивляется его начертанию. Тем не менее я уверен» и т. д. См.: «Бывшее и несбывшееся». Т. 1. С. 25.

несколько дней спустя, — *кого* в таком случае вообще можно привлекать к ответственности».

И двадцать пять лет спустя Степун продолжал думать, что он был прав, отказавшись от привлечения к моральной ответственности Толстого, ибо оно, по его мнению, не имеет ничего общего с моральным оправданием деяния. «Скорее наоборот: зверей и вещи мы ведь тоже не привлекаем к ответственности». Еще менее основательной представляется мне ирония Степуна по адресу «старого судьи, (который) при прощании не без внутреннего насилия протянул свою честную демократическую руку».

Этот мелкий эпизод — с прибавленными Степуном для красочности «слезами на глазах» — хорошо передает различие в морально-психологическом восприятии большинства редакции «Современных записок» и их блистательного и остроумного, но парадоксального сотрудника.

Может быть, надо добавить, что, как ни серьезны были наши разногласия — в печати и, еще откровеннее и резче, в переписке, — они не отражались на наших личных отношениях. Когда Степуны приезжали во Францию и гостили у Фондаминских в Грассе или в Париже, мы часто и подолгу общались с ними, — лично и «семейно». И, будучи в Германии, Руднев и я — в разное время — навещали Степунов в Дрездене и полностью вкусили от их гостеприимства и бесед со сверкавшим остроумием Федором Августовичем. Одним из главных его упреков по моему адресу было то, что в моем «духонастроении» слишком «много от пафоса уходящей эпохи», иными словами, что я был «несозвучен» ей. В типичном степуновском стиле Ф. А. писал: «Мне кажется, что сейчас надо быть и прадедом, и внуком одновременно, но нельзя быть отцом. Простите за откровенность... Но откровенность при любви вещь, по-моему, правильная. В моей же любви к Вам Вы можете не сомневаться». Тут же приписка жены Ф. А., Натальи Николаевны: «В моей тоже». По существу же наших споров он имел мужество признать: «То, что Вы написали обо мне, вообще самое интересное и для меня наиболее поучительное».

Ф. Степун писал все, кроме стихов, и «Современные записки» печатали его «Философский роман в письмах» — «Николай Переслегин» (в 8 книгах), 14 статей, помимо «Мыслей о России», за его подписью и 2 за подписью «Н. Луганов», не считая 14 рецензий. Не все, что представлял автор, печаталось в неприкосновенном виде: бывали кой-когда и выкидки, исправления и ретуши. Бывало и запоздалое сожаление о том, что было напечатано. «Будучи крепок задним умом, считаю нашей *ошибкой*», — писал мне Руднев

21.III.28, — что мы дали Степуну выступить в „Современных записках“ в форме, позволяющей считать его статью выступлением *редакционным* в то время, как оно не может покрыть даже личного состава редакции, а не только что сотрудников. Наш, „религиозников“, голос *должен* звучать полновесно и полноценно в „Современных записках“, — но только как один, желаю наиболее влиятельный, но *формально* один из голосов общего идеалистического хора».

Сам Степун признавал в печати более чем либеральное отношение редакции к его часто неприемлемым для ее большинства взглядам. «В моих „Мыслях о России“ „Современные записки“ допускают к высказыванию совершенно невозможные в старом „левом“ журнале положения» (кн. 24). Это было совершенно верно, безотносительно к тому, что нас за это одни одобряли, а другие очень жестоко осуждали. Что́ было, однако, совершенно неожиданным и открылось лишь при прочтении автобиографии Степуна, это — его отношение не к нам лично, а к тому, чем мы, или большинство членов редакции «Совр. записок», жили в России и продолжали жить в эмиграции в годы издания журнала. Не совсем понятны и мотивы, побудившие автора раскрыть то, что оставалось секретом, — думается, не для меня одного, — во время нашей совместной работы в журнале.

В «очень далеком по своему воспитанию, как от право-славянофильского, так и от лево-интеллигентского народничества», Ф. А. Степуне, оказывается «никогда не угасал как инстинктивный, так и сознательный протест против тех левых демократов, марксистов и социалистов-революционеров, среди которых протекала моя (его) гейдельбергская жизнь». Вся автобиография пронизана осуждением «интеллигентов-политиков и, в особенности, социалистов». Этим последним Степун противопоставляет себя — «свою сверхполитическую установку в политике».

Вряд ли это соответствовало фактической жизнедеятельности Степуна в 1917-ом и в последующие годы. При Временном правительстве Ф. А. Степун стоял во главе сначала культурно-просветительного отделения военного министерства, а потом и всего Политического Управления. Правда, от прошлого он сейчас открещивается. «Иной раз трудно удержаться от мысли, что все наше революционное движение было каким-то сплошным бредом», — пишет Степун. И о своем пребывании в Политическом Управлении он вспоминает «с тоскою, мукою и стыдом за все сделанные и допущенные мною ошибки».

Это признание делает честь его моральному сознанию, но, конечно, не отменяет, а подтверждает факт его сопричастности к делу «интеллигентов-политиков», левых демократов и

социалистов. И о «сверхполитической установке» оно как будто не свидетельствует.

Ф. Степун рассказывает, как он «с радостью согласился» взять на себя заведование культурно-философским отделом большой политической и литературной газеты «Возрождение», которую стали издавать в Москве весной 1918 г. правые эсеры, члены Учредительного собрания: старый знакомый Степуна Фондаминский-Бунаков и другие (Вишняк, Коварский и Питирим Сорокин). «Дело окультуривания русского демократического социализма было мне близко и дорого... к тому же предложение газеты и с внешней стороны устраивало мою жизнь», — говорит автор. И прибавляет: «С недоумением останавливаюсь перед тем фактом, что из моей памяти почти бесследно исчезли политический образ и политическая борьба газеты». Исчезновение из памяти факта, имевшего место 25 лет назад, не упраздняет ни самого факта, ни того, что культурно-философский отдел газеты, которым ведал Степун, имел не самодовлеющее значение, а задачу содействия политическим целям газеты.

Еще с бо́льшим основанием то же относится к тем, свыше 15, годам, когда Степун ведал литературно-художественным отделом «Современных записок» и печатал в журнале политические статьи. Здесь Степун не всегда отмежевывался даже от марксистов, не то что от причастных к «левоинтеллигентскому народничеству». Так, в 1928 г. он отмечал, что статьи «одного из постоянных и очень ценных сотрудников „Современных записок“ В. И. Талина (Ст. Ивановича) никогда не вызывали во мне никакого отталкивания», — Иванович, как известно, был марксист. В той же статье автор писал о себе: «Говорю „да“ свободе и социализму и одновременно „да“ национально-религиозному бытию России» (кн. 35). И это как будто бы довольно далеко от неприятия левых демократов, марксистов и социалистов-революционеров, инстинктивный и сознательный протест против коих будто бы «никогда не угасал» в Степуне.

Приведу и сочувственную ссылку Степуна на мои нападки на Н. А. Бердяева, проклинавшего в «Философии неравенства» социалистов, демократов, либералов, всех, всех, всех, — в отступление от того, что сам же, в согласии с Владим. Соловьевым, утверждал раньше, а именно, что «религиозное начало личной свободы и личной любви должно быть соединено с правдой социализма» (кн. 34 «Совр. зап.»). Постоянное отталкивание Степуна от политиков и, особенно, от социалистов плохо вяжется и с его участием в редакции «Нового града»: соредакторы Степуна Бунаков и Федотов причисляли себя к социалистам и социализм защищали.

Впрочем, и эту «неувязку», как и другие, можно отнести на счет «многомерности сознания», которую Степун считает своим положительным качеством.

Г. П. Федотов

Ни работы Георгия Петровича Федотова, ни самое его имя не были нам ведомы до 1925 г., когда пришло письмо из Софии от сотрудника «Современных записок» проф. П. М. Бицилли с извещением, что в Париж приехал талантливый историк средних веков, профессор Петроградского университета Федотов.

Прежде чем попасть к нам в «Современные записки», Федотов попал к Святополк-Мирскому в «Версты», где поместил статьи в первых двух номерах под псевдонимом Е. Богданов. Автор сразу привлек к себе внимание блеском пера, большой эрудицией, часто рискованными историческими аналогиями, оригинальными парадоксами. Броскими словами и афористическими противопоставлениями Федотов напоминал Степуна. «„Русская Людмила", отвергнув белого Руслана, отдалась Черномору, и седая борода Карла (Маркса) долго развевалась над взвихренной Россией», — так мог сказать и Ф. Степун. «Черносотенная революция», «ленинизм — чертогон, такой же „чертогон", как и смутное время», «не столько атаман Махно, сколько Блок и Есенин сделали Октябрьскую революцию национальной, т. е. грех ее всенародным» и т. п., — тоже были в стиле и духе Степуна. Все же Богданов-Федотов гораздо меньше значения придавал «многомысленности» и «неуловимой переливчатости живого слова». Со временем Федотов стал писать проще, собраннее и только в виде исключения поддавался искушению определенность суждения подменить игрой слов. Однако, насыщенные мыслями писания его всегда оставались окрашенными эмоциональностью. Содержательные и проникновенные, они бывали противоречивы и нередко до простодушия наивны. Его отношение к предмету часто менялось на протяжении той же статьи.

Богданов-Федотов начал с того, что сосчитался со всеми: с народниками и марксистами, реакционерами и антибольшевиками-демократами, с русским народом и его интеллигенцией. «По своей структуре революционный (не реформистский) марксизм является иудео-христианской апокалиптической сектой. Отсюда он сделался в России не только рассадником политических буржуазных идеологий (Струве), но и богословских течений. В отличие от народничества, которое по своей отрешенности могло развиваться только в сек-

тантство, марксизм в социально-классовом сознании своем и догматизме таил потенции православия: они и были вскрыты вышедшими из него вождями новой богословской школы».

За что, однако, ратовал сам автор, трудно было сказать. Конечно, он был за всеобщее просвещение светом Христовым. Но за этим следовала некоторая туманность — «пореволюционное сознание», противополагаемое всем иным, отсталым, ложным, пагубным. Прояснением этой туманности и был занят Федотов в течение последующей публицистической деятельности после того, как примкнул в Париже к вышедшим, как и он, из марксистской школы — Бердяеву, Булгакову, Франку.

Редакция «Современных записок» отнеслась к писаниям Богданова-Федотова надвое. Фондаминский с самого же начала, с обычным для него энтузиазмом, воспринял возможное сотрудничество Федотова. У Руднева и у меня были серьезные сомнения, и мы были гораздо сдержаннее. О талантливости, эрудиции, литературном мастерстве не приходилось спорить, они были налицо. Но взгляды Богданова, не одна какая-либо идея, а вся его социально-политическая «система» была чужда нам, а частью враждебна — совсем не нашего «духа». Не без колебаний, поэтому, уступили мы настояниям Фондаминского и согласились попросить у Богданова статью на литературную тему.

И в 32-й книге «Современных записок» появился очерк за подписью Богданова «На поле Куликовом» — тематический комментарий к Блоку[1]. Статья была удачная и украсила журнал. Это дало Фондаминскому основание настаивать на том, чтобы страницы «Современных записок» были открыты не Федотову-литератору только, а и Федотову-пуб-

---

[1] Он перепечатан в сборнике статей Г. П. Федотова «Новый град», вышедшем в издательстве имени Чехова в 1952 г., но, в отличие от всех других перепечатанных статей, почему-то без указания, откуда очерк взят.

В этом сборнике имеются и другие упущения. Так дважды упоминается, что журнал «Новый град» был основан Федотовым совместно с Бунаковым, тогда как в действительности основателей было трое, и имя Степуна было снято, только начиная с номера 7-го журнала в 1933 г., потому что он продолжал находиться в Германии и после прихода к власти Гитлера.

Воспроизведена апологетическая статья-некролог о Бердяеве и ни словом не упомянута весьма критическая статья о живом Бердяеве, помещенная в 1946 г. в № 17 «За свободу». Сотрудничество Федотова в эсеровском «За свободу» с 1943—1947 гг. вообще обойдено молчанием, тогда как оно весьма характерно, как показатель духовной и политической эволюции Г. П. Федотова.

То же умолчание об участии Федотова не только в «За свободу», но и «Современных записках» допускает Юрий Иваск в статье, посвященной Г. П. Федотову в «Опытах» № 7. Между тем статьи Федотова печатались в «Современных записках» в каждых двух книгах из трех — в 26 из 38.

лицисту, интересовавшемуся историей и религией, искусством и политикой. Так постепенно стали появляться в «Современных записках» статьи, уже за подписью Федотова: «Революция идет», «Новая Россия», «Проблемы будущей России», «Социальный вопрос и свобода», «Ключевский», «Правда побежденных», «Новый идол», «Зачем мы здесь», «Сталинократия», «Культурные сдвиги», «Тяжба о России», «Певец Империи и свободы», «После Оксфорда». Многие из них вызывали смущение и неодобрение во мне, Авксентьеве и «миросозерцательно» близком Федотову Рудневе.

Г. Федотов в эмиграции был, конечно, убежденным антибольшевиком, — чем дальше, тем все более страстным и непримиримым. Марксизму и даже большевизму он отдал дань в юношеские годы, в революцию пятого года, и быстро отошел от него, а в 1919 г., при большевиках, формально вошел в ограду православной Церкви. Тем не менее и на Федотове-антибольшевике лежал в первые 10—15 лет его пребывания за границей некий большевистский или, лучше сказать, советский отпечаток, сказавшийся в его подходе к социально-политическим проблемам и их оценке. И много должно было пройти — и Гитлер должен был прийти — прежде, чем Федотов окончательно отрешился от прежнего своего подхода.

Излюбленной темой его «полупублицистики», как он называл свои не исторические работы, было раскрытие смысла «пореволюционного» — пореволюционного сознания, пореволюционной России. По мнению Федотова, в пореволюционной России нет «народа», — остались лишь «хлеборобы» и «работники земли и леса». Он решался утверждать, что «за 13 лет большевистской диктатуры народ явил разительные доказательства бессилия защищать свою волю и свое право. Он не пошевелил пальцем, чтобы защитить избранное им Учредительное собрание, позволяя говорить от своего имени продажным и враждебным отщепенцам. Он живет в режиме неслыханного террора, едва ли сознавая исключительность этого положения. Он дает энергичному меньшинству мять себя как глину, вить из себя веревки» (кн. 45).

Такое изображение было более чем пристрастным и односторонним — оно не соответствовало фактам, даже искажало их и проходило, в частности, мимо слез и крови, обильно пролитых в разгар гражданской войны на волжском фронте в борьбе за Учредительное собрание, как знамя народоправства и освобождения от большевистской узурпации. А «партизаны» в Сибири, «зеленые» на юге, тамбовское движение Антонова, кронштадтское восстание, повстанцы на Кавказе и в Туркестане, — все это, на самом деле, свидетельствовало о том, что население «едва ли сознавало исключительность своего положения» и позволяло диктатуре «мять себя как глину»?!. Не служили ли эти факты «разительным

доказательством» как раз обратного — того, что Россия и в советское время оставалась «бунташной»: отказывалась примириться с «продажными и враждебными ей отщепенцами» и не прекращала сопротивления в одиночном порядке и в массовом, организованно и на авось, с обрезом в руках, прокладывая себе путь, когда прямой вылазкой, а чаще тихой сапой?

Напоминая об этом Федотову, я ссылался, в опровержение его превратного представления о советском периоде русской истории, на неопровержимого свидетеля-очевидца и в то же время врага — на былого «военмора» Троцкого, на личном опыте познавшего силу сопротивления волжской армии. Троцкий писал: «Все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось непоправимым... В течение месяца здесь (под Казанью) решалась заново судьба революции... Много ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть революцию?.. Здесь (под Свияжском) судьба революции в наиболее критические моменты зависела от одного батальона, от одной роты, от стойкости одного комиссара, т. е. висела на волоске. И так изо дня в день». («Моя жизнь». Т. 1. С. 125—126).

Безрадостно было, по утверждению Федотова, прошлое, безнадежно было и настоящее. «Свободы не хотят массы»,— уверял он. Ее перестал «понимать» класс полуинтеллигенции, сменивший былую интеллигенцию, — изобличенная Федотовым в «Верстах», она в «Современных записках» была изображена уже в качестве «одушевленной почти религиозным пафосом свободы». Чувство свободы полностью «выветрено». Молодежь в России поражает «неспособностью ценить свободу». «Поколение, 13 лет пресмыкавшееся перед ЧК, никогда не будет свободным. Свобода может быть лишь надеждой его детей».

Неправильное толкование прошлого, как и неверное изображение настоящего, имело, в конце концов, лишь показательное и привходящее значение. Существеннее было представление о будущем. И тут прогнозы и перспективы Федотова были еще более тягостны. Намерения у него были, конечно, самые лучшие: он противился и большевизму, и фашизму. Но, низко расценивая усилия народа в прошлом и самую его способность осознать «исключительность» своего положения, Федотов пришел к выводу, что «демократия сейчас в России возможна лишь с методами диктатуры» (там же).

Пассивность масс и их анархические настроения сделали, по его убеждению, неизбежной диктатуру Ленина, ставшего в порядке исторической необходимости «злым смирителем» «дикой воли» русского народа. «Если власть не может опираться в своей самозащите на правовое чувство нации, она

вынуждена опереться на силу». И «диктатура в России вызывается теми же причинами, которые делали необходимым в течение столетий самодержавие».

Идеалом Федотова оставались «христианская общественность», «народная теократия», «оцерковление» культуры и жизни. Но изверившись в творческие силы народа и опасаясь, как бы «демократический разлив» не затопил все культурные ценности в России, он самую Россию, даже освобожденную от большевиков, рисовал как «отяжелевшую, грубую, в алчности земного хлеба и в гордости земного могущества». При самом благоприятном стечении обстоятельств он не предвидел ничего другого, кроме смены одной диктатуры другой — более мягкой и с иным целеустремлением. Лицо или группа лиц, которые будут властвовать в России, «будут править ею фактически независимо от выражений народной воли».

Не приходится подчеркивать, как больно ранили нас всех, кроме Фондаминского, эти высказывания Федотова. Нам казались они неправильными и в исходных положениях, и по существу: разочарование и отчаяние от бессилия подсказывали прославление силы и переоценку диктатуры. И слабым утешением служило заверение Федотова, что «грядущая диктатура» должна «иметь демократическое содержание», а «отрава евразийская или иная, в лошадиных дозах, в государственных масштабах, могла бы просто прикончить русскую культуру».

Фондаминский никак не хотел с нами согласиться и убеждал не отталкивать талантливого автора — первого публициста в эмиграции, нового Герцена или Герцена нашего времени, — а оказать доверие и дать время политически «дозреть» в сочувственном окружении. Сам Фондаминский всячески ухаживал и обхаживал Федотова, совмещая трогательную заботливость об облегчении ему жизни с расчетом на постепенное выправление его политической линии.

В опыте последующих лет, если сравнить напечатанное Федотовым в «Современных записках» за первые годы с напечатанным им позднее, уже не в «Современных записках», надо признать увещания и предвидения Фондаминского оправдавшимися. От многого из своих прежних высказываний Федотов отказался, — к сожалению, не отмечая публично этого факта. Не всем, поэтому, это было очевидно. Уже в Америке, когда мы не только политически, но и лично сблизились, Г. П. Федотов точно определил в частном разговоре, когда именно он порвал со своим «полуфашизмом», как я его определял, и перешел на позиции демократические. Это произошло с приходом Гитлера к власти: наци сделали из итальянской разновидности фашизма все логические и

политические выводы и убедили Федотова в имманентном и неискоренимом зле фашизма [1].

За четверть века взгляды Федотова коренным образом изменились, и Федотов 1940-х гг. самым решительным образом опровергал Федотова второй половины 1920-х и и 1930-х гг. Начало положила статья «Мы и они» в последней, 70-й книжке «Современных записок». Позднее не только пресловутую «пореволюционность» Федотов стал заключать в иронические кавычки. Он и формальную демократию стал защищать (от Бердяева), доказывая, что она гораздо менее фиктивна, чем так называемая «реальная» в Советском Союзе и «корпоративная» в Португалии.

Федотов в эмиграции начал с русского мессианизма в религиозной и эстетической областях, с утверждения особого призвания России и ее превосходства над Западом. «Русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ». «Не колеблясь, отдаем ему (древнему русскому искусству) предпочтение перед искусством западного Средневековья и Возрождения». А кончил — крайним отрицанием всякого национализма и, в частности, русского. Он стал обличать «гипертрофию» и «демонию» национализма, «хаос сталкивающихся национализмов», неправедный патриотизм, которому противополагал патриотизм, находящий свое выражение в «негодовании и ненависти к политическим грехам своего народа».

Федотова последних лет мне пришлось характеризовать словами Версилова у Достоевского: «Я во Франции — француз, с немцами — немец, с древним греком — грек, и тем самым наиболее русский. Тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную цель».

Как всякий оригинальный и яркий публицист, Федотов, конечно, имел противников и даже врагов. Что поразительно,

[1] Оспаривая мою оценку Г. П. Федотова, Ф. А. Степун заявил недавно со всей категоричностью: «Ни полу, ни четверть фашистом Федотов никогда не был». Не стану настаивать на слове «полуфашист» («четверть фашиста» — продукт полемического остроумия Степуна). Скажу только, что со стороны самого Федотова такая характеристика его былых взглядов не встретила возражений. И, главное, он точно указал, когда и почему он перестал защищать организацию власти, мало чем отличавшуюся от диктатуры и нехарактерную для демократии. «Полуфашизм» Федотова был его реакцией на большевизм, как переход на демократические позиции был реакцией на гитлеризм.

Взгляды Федотова 20-х и 30-х годов Степун сейчас выдает за «принципы авторитарной демократии, в которой нуждается и к которой стремится Запад» («Опыты». 1956. № 7. С. 47). Не буду спорить и с этим утверждением. Напомню только, что и коммунисты выдают свой тоталитарный режим за разновидность демократии — самой совершенной, централизованной и т. д. Они охотно, конечно, примут определение своей диктатуры, как демократии «авторитарной».

наиболее ожесточенные нападки на него исходили, не говоря, конечно, о большевиках и большевизанствовавших, из духовно близких ему религиозных кругов: от Мережковских, митрополита Евлогия, профессора И. А. Ильина, К. И. Зайцева, ныне архимандрит Константин, Г. В. Флоровского, ныне протоиерей. В области абсолютной, единой и непогрешимой истины каждый из них считал малейшее отступление от нее недопустимой ересью. Федотова обличали за скрытый большевизм или фашизм; за недостаток любви к России; за то, что «его» Христос — не византийский «Вседержитель», а страдающий, униженный и умаленный; за то, что он не довольствовался поисками отвлеченной, горней истины, а искал и земной правды-справедливости. Не прощали ему и того, что он не переставал быть — ни в мысли, ни в жизни — *общественником*, что общался с «левыми», что он, страшно сказать, не стеснялся называть себя *социалистом*.

Все это выяснилось много-много позднее. Когда же Федотов приносил свои рукописи в «Современные записки», он был совсем других настроений. И неслучайно первоначальный текст его рукописи часто не совпадал с тем, который появлялся в «Современных записках». Соглашение с автором достигалось иногда в результате долгих и мучительных переговоров — в стиле Достоевского, — которые по поручению редакции обычно вел В. В. Руднев. В одном из писем, которыми мы обменивались — в его или мое отсутствие из Парижа — В. В. писал: «В ужасе и негодовании от одной главы в статье Федотова. Что там его защита диктатуры... диктатура — музыка будущего. А вот непосредственно соблазнительна глава — о *Советах*... (Он) добросовестно защищает Советы, как поучительный для мировой демократии „опыт“, — и после свержения большевиков рекомендует оставить привилегии для рабочего класса за счет малосознательного государственного крестьянства... Я было думал, что можно ограничиться энергической сноской специально к этой главе. Но теперь вношу предложение — опустить вовсе эту главу, как мы опустили его главу о большевистской революции. Вообще, — куда там чуждость какого-либо Зайцева (К. И.) по сравнению с отвратительным безответственным кокетничаньем этого нашего самого талантливого „постоянного сотрудника“. Я — весь злоба и негодование, — увы, не бессильные ли?»

В другом письме, от 4 августа 1934 г.: «От Федотова еще ничего не пришло, и лучше если бы и не приходило». Еще в одном, говоря о статье проф. Чернавина, Руднев писал, противополагая ее взглядам Федотова: «В его отношении к большевикам чувствуется та здоровая твердость и темперамент, от которых нас уже отучили наши „пореволюционеры“».

Предложение Руднева прошло, и на с. 485 кн. 45-й сохранились следы этого. Весь третий подраздел в статье Федотова, посвященной апологии аппарата власти при будущей диктатуре, немногим отличавшегося от аппарата существующей диктатуры, был полностью опущен[1] и заменен двумя строками пунктира с оговоркой «От редакции»[2] ее несогласия с автором и намерения вернуться к этой теме

---

[1] Заслуживает быть отмеченным, что когда автор собрал свои статьи, печатавшиеся в «Современных записках», в отдельную книгу — «И есть, и будет»,— он не включил в нее опущенную «Современными записками» главку.

[2] Мы избегали оговорок от редакции и прибегали к ним очень редко. Однако, в той же 45-й книге, где оговорено «несогласие» с Федотовым по вопросу о диктатуре, имеется оговорка и о «решительном расхождении» с изображением К. О. Зайцевым земельного прошлого России.

В 67-й книге «Современных записок» к заключительной части романа В. В. Сирина «Дар» (он печатался в пяти книгах) было сделано примечание от редакции: «Глава 4-я, целиком состоящая из „Жизни Чернышевского", написанной героем романа, пропущена с согласия автора». По мнению редакции, жизнь Чернышевского изображалась в романе со столь натуралистическими — или физиологическими — подробностями, что художественность изображения становилась сомнительной. Уступив настояниям редакции, автор внутренне с ней остался не согласен, и чувства его получили выражение в очередном фельетоне Ходасевича в «Возрождении», где отмечались нетерпимость и насилие редакторов «Современных записок» над творческой свободой писателя.

По мнению Г. Адамовича, Набоков-Сирин обрушился в «Даре» на Чернышевского с «капризным легкомыслием» («Одиночество и свобода». С. 221). М. Слоним отозвался о «Даре», как о «злобно полемическом романе», в котором В. Сирин «выставил Чернышевского каким-то полуидиотом» («Новое р. слово» от 3 июля 1955 г.).

Зато эмигрант новой формации, поэт и литератор В. Марков отнесся к посрамлению Чернышевского с эстетским бесстыдством· «Глава о Чернышевском в „Даре" Набокова — роскошь! Пусть это несправедливо, но все ведь заждались хорошей оплеухи „общественной" России» (Опыты: Литературный журнал. Нью-Йорк. 1956. № 6).

Авторы, как правило, с исключительной щепетильностью оберегали свои права от «вторжения» в их компетенцию редакции, не прощали и не забывали понесенного ущерба. Так, в той же 67-й книге «Современных записок» была помещена статья Д. И. Чижевского «О «Шинели» Гоголя», и 13 лет спустя автор не забыл, что «просвещенная редакция этого почтенного журнала, очевидно, не веря в чертей, без моего согласия вычеркнула из статьи почти все места, в которых говорилось о чертях — не моих, а гоголевских» («Новый журнал». Кн. 27).

Могу по этому поводу свидетельствовать, что, не будучи простым посредником между авторами и типографией, редакция считала себя вправе *редактировать* поступающий к ней материал и часто предпочитала опускать неподходящее, по ее мнению, без предварительного испрошения согласия автора, а отчитываясь перед ним post factum. Это обычно бывало в тех случаях, когда вычеркиваемое представлялось несущественным и не затрагивающим серьезно автора.

Не снимая с себя ни в какой мере ответственности за исчезновение из статьи Чижевского гоголевских чертей, добавлю, что в данном случае усекновение было произведено не каким-либо вольтерианцем в составе «просвещенной редакции», а верующим сыном православной Церкви — В. В. Рудневым.

в ближайшей книге «Современных записок». Едва ли не в каждой статье Федотова имелись мысли скользкие, соблазнительные, сбивавшие простодушных читателей. Ограничусь иллюстрацией из статьи «Правда побежденных», в которой Федотов подводил итоги 15-летнему господству большевиков и их победам над всеми внутренними и внешними врагами.

Здесь и игра слов: и НЭП оказывается победой большевиков — победой Ленина «над собственной партией и ее глупостью». Здесь и тревога — как бы не быть «несправедливым к врагу», хотя бы тот ежедневно совершал убийства «во всех уголках мира». Федотов не заблуждался относительно моральных достоинств исторического суда. «Число жертв, выражаемое шести-семизначными цифрами, уже поднимает деятеля из мира преступного в мир великого в глазах лишенной совести Клио». И свой счет он предъявлял не большевикам, а большевизму. «Русские большевики люди и не всегда худшие из людей. Отношение к ним, как к бесам, отвратительно и религиозно недопустимо», — утверждал он. «Большевикам простим, но большевизму никогда», — провозглашал он прямо противоположное тому, что с той же «метафизически духоведческой» точки зрения утверждал Степун.

Г. Федотов, по примеру героя пьесы Олеши, приводил перечень большевистских «благодеяний» (Б) и большевистских «преступлений» (П). Например: «Большевизм несет в собственническую деревню идею солидарности, кооперации, общего дела». И тот же большевизм «несет в древнюю классовую войну, разделяя ее по группам и направляя малоимущих крестьян на хозяйственных разжиганием примитивной зависти». Или: «Б. Большевизм сделал рабочего хозяином на фабрике»; и «П. Большевизм сделал пролетария рабом государства, лишив его права стачек и свободных союзов, окружив сетью шпионов, поставив его жизнь в зависимость от казенного пайка». Читатель не мог не заметить, что «П» как будто полностью и бесповоротно исключает «Б». И о какой солидарности, вносимой в деревню большевизмом, можно было говорить, когда деревня была расслоена на имущих и неимущих, на командующих бригадиров и командуемых колхозников? Какой рабочий может чувствовать себя хозяином на фабрике, если он окружен сетью шпионов и не вправе даже покинуть фабрики без разрешения большевистского начальства?

В своем ответе на эту статью, помещенном в той же книге 51-й, я резюмировал свое впечатление от нее словами: «Гимн торжествующим победителям заглушает (в ней) надгробное рыдание о погребенной под руинами правде побежденных, — побежденных не только физически, что неоспоримо, но и духовно, что зависит уже от индивидуального состояния духа». Психология бессилия и безнадежности за-

ставила Федотова признать за победителями и моральные достижения.

На неприемлемые для меня статьи я обыкновенно откликался немедленно — по возможности в той же книге журнала. Так появились мои статьи «О диктатуре» (кн. 39), «О судьбе России» (кн. 45) и «Что есть победа?» (кн. 51). Я не обманывался в том, что они служили лишь слабым «противоядием» блестящим парадоксам Федотова. Но это давало выход моему восприятию «полупублицистики» Федотова и нередко встречало одобрение со стороны.

Мое отталкивание от Федотова-публициста 20-х и 30-х гг. не следует понимать как отталкивание от него лично. Нет, я чувствовал в нем нечто от Достоевского — и не только от Версилова, но и от «гордого уединения» самого Достоевского, который утверждал, что его «всю жизнь Бог мучил». Я не знал, что мучило Г. П. Федотова. Но что он был «мучим» и «томим», представлялось мне бесспорным. Допытываясь до начала и конца вещей, его мятущаяся душа «мучила» и «пытала» и других, но, в первую очередь, — себя.

Когда я приносил статью, в которой спорил с Федотовым, Фондаминский радостно откликался:

— Вот и чудесно!.. Я с тобой не согласен, но это не имеет значения. Очень хорошо, что в «Современных записках» есть и Федотов, и Вишняк!..

ГЛАВА VII

Беспартийный журнал и партийные редакторы.— Между двух огней: критика справа и слева.— Григ. Ландау, П. Б. Струве и его выученики.— С. П. Постников и В. М. Чернов.

«Современные записки» были беспартийным журналом. Но редакторы его оставались членами партии с. р. и ни в какой мере не отказывались от идейной и организационной связанности с ней. Всячески пестовать и обслуживать «Современные записки» было нашей главной задачей. Но сюда входило не только руководство или редактирование «Современных записок», а и возможность проводить в общем виде свое — то, что мы сами считали правильным и нужным.

Все мы принадлежали к там называемому правому, умеренному или ревизионистскому крылу партии и были заинтересованы в том, чтобы и партия склонилась к критическому пересмотру своего прошлого, программного и тактического. Многое отличало правое крыло партии от других групп или

«крыльев» в партии. Одной из характерных и существенных черт было то, что мы не исходили от социализма, как основы основ или высшей и абсолютной ценности, а приходили к нему, как следствию и выводу, логически и исторически вытекавшему из гуманизма, демократизма, свободолюбия, достоинства человека, социальной справедливости. Это отличало нас от тех, кто по старинке считали социализм «миросозерцанием», разделившим мир на приверженцев социализма и всех других — «буржуев», «либералов», консерваторов, реакционеров, фашистов.

Мы — или я — держались мнения, что произошло *обмирщение* социализма, нисхождение его с небес на землю, превращение утопии, даже когда она называла себя «научной», — в реальность. Отказавшись от претензии быть последним словом о первых и последних вещах, социализм перестал быть для нас катастрофичным, строящим новое на отрицании и противоположении всему предшествовавшему, обветшалому. Тем самым социализм входил органическим элементом в жизнь по праву исторического преемства и функциональной зависимости между былым, сущим и грядущим, становился одной из зиждительных сил общественного бытия, одной из его предпосылок. Дух разрушения сменялся волей к творчеству и созиданию. Призыв к ненависти и классовой и национальной борьбе — зовом к солидарности, от класса исходящей и чрез солидарность нации к международному и общечеловеческому содружеству восходящей.

Отчетливо сознавая свои возможности и пределы, социализм в нашем понимании стирал знак равенства, отождествлявший его с тем, что называли миросозерцанием. Ибо он и у́же, и шире какого-либо определенного миросозерцания. Социализм у́же, — поскольку представление о социально-политическом мире составляет лишь часть, и незначительную часть, в созерцании космоса. И он в то же время шире всякого миросозерцания, поскольку не связан логической необходимостью с каким-нибудь одним определенным.

Такое понимание социализма, естественно, облегчало возможность кооперации с другими политическими и общественными группировками. Оно даже обязывало нас к сотрудничеству и коалиции с теми, кто отвергали социализм или не доходили до него, но исходили из тех же принципов демократии, свободомыслия, достоинства человека, гуманизма, социальной справедливости. Нам с ними в значительной мере было по пути. Но мы встречали при этом сопротивление с двух сторон.

Как раз наиболее непримиримые противники социализма особенно усердно настаивали на крайнем — и неприемлемом для нас, как, казалось бы, и для них — представлении о социализме. «Тот, кто берет от социализма одну лишь идею

социальных реформ, но откидывает его рационалистический утопизм, уже не может называть себя социалистом: ибо он устраняет из социализма его душу, его основной питающий корень. В этом отношении Марксу принадлежит заслуга обнаружить подлинную природу социализма... Марксистский социализм самый настоящий и при том единственно настоящий. Ибо только у Маркса социализм в полной мере становится не частным выводом из какой-либо системы воззрений, а самостоятельным миросозерцанием и всеобъемлющей основой для всех проявлений жизни и мысли». Так писал профессор П. И. Новгородцев в «Общественном идеале» (С. 312—313. Изд. 1921 г.), в значительной мере повторяя аргументацию патентованных марксистов-большевиков, мало склонных считаться, в частности, с тем фактом, что немарксистский социализм в истории социализма XIX и первой четверти XX века никогда не занимал первенствующего места [1].

Может показаться странным, но остается неоспоримым, что в сознании правых кругов эмиграции в 20-е гг., да и позднее, отрицание большевизма часто меркло по сравнению с отрицанием тех, кого они считали лично и идейно ответственными за приход к власти большевиков. Здесь «розовым» социалистам, эсерам и, шире, — народникам отводилось первое место и не только полуграмотными изданиями полупогромного типа, а и высококультурными литераторами. Известный Григ. Ландау в «Руле» № 273 рекомендовал «устранить всех промежуточных, всех эволюционистов, всех постепеновцев и примиренцев, всех социалистических сторонников, всех буржуазных поклонников социализма, всех либеральных любителей Советов, всех советских воздыхателей по демократии». Совершенно очевидно, была тут «амальгама» или умышленное смешение воедино совершенно разных, а то и противоборствующих групп. Мы могли быть и «промежуточными», и «эволюционистами», и «постепеновцами», но не имели ничего общего с «примиренцами», с «любителями Советов» или с «советскими воздыхателями».

Антибольшевистская «Русская мысль» П. Б. Струве, выходившая в 1922 г. в Праге, сочувственно перекликалась — за счет разоблачаемых эсеров и народников — с национал-большевиками, в прошлом учениками и единомышленниками «упоенного Богом и величием государственной идеи» Струве, а ныне восполнившими его учение учением Ленина. Сменившие вехи Устрялов, Ключников, Лукьянов, Потехин и др. заявляли: «С пресным эсеровским большевизмом, — а, быть может, и только с ним одним, — должна вести сейчас борьбу Россия, поскольку она хочет и должна остаться Россией».

---

[1] «Современные записки». Кн. 21. С. 307—308.— Моя статья о «Программных разногласиях».

Сочувственно откликаясь на призывы своих бывших выучеников, Струве безвкусно расшифровывал «с. р.», как — Старый Режим, и утверждал, что марксистское истолкование истории имеет все преимущества перед народничеством [1].

Ближайший сотрудник Струве К. И. Зайцев в той же мартовской книжке «Русской мысли» за 1922 г. удостоверял со всем авторитетом ученого, что «отныне народничество уже не явление русской общественной жизни, а любопытный и поучительный казус общественной патологии. В мире политической действительности народничеству нет места». А другой сотрудник, некий N, пошел и дальше: «Народничество есть то умонастроение, та система идей, из которых вышел наш теоретический и практический большевизм». Упреждая будущие попытки марксистов не-большевиков вести идейную генеалогию большевизма не от Маркса и Энгельса, а от Ткачева и Чернышевского, г. N поучал: «Большевизм гораздо последовательнее и просто интеллектуально честнее меньшевиков и эсеров всех толков, которые ведь и начали «социальную революцию» и ее «углубление», а большевики только быстро и решительно закончили их дело и «углубили» «до дыр» [2].

Обеление большевиков и очернение меньшевиков и эсеров «всех толков» было, конечно, тенденциозной и нелепой напраслиной. Правый или умеренный «толк» эсеров — как и меньшевиков — не только не *начинал* «социальной революции» и ее «углубления», а считал это утопией, неосуществимой и пагубной, и как мог боролся против ее проповеди. Все это приходилось разъяснять и объяснять, если не заведомо глухим и слепым противникам, то малоосведомленным, но не утратившим способности и готовности прислушаться к чужому голосу. Так, ведя идейную кампанию против большевиков в первую очередь, приходилось отбиваться одновременно и от других — тоже антибольшевиков, правых антибольшевиков. Среди тех, кто нападали на нас слева, были и члены общей нам партии.

Параллельно с «Современными записками» в Париже издавалась в Праге «Воля России» под редакцией В. И. Ле-

[1] Ближайший друг Струве, философ С. Л. Франк, свидетельствует: «Он ненавидел народничество, называл его «сифилисом русской мысли» (Биография П. Б. Струве. 1956. С. 211).

[2] Пережитком тех же, в сущности, настроений явился нелепый выпад против «Современных записок», сделанный одним из бесчисленных преемников П. Б. Струве по редактированию гукасовского «Возрождения». Георг Мейер, с которого, по словам Глеба Струве, многого не спросишь, обозвал «Современные записки» «марксистскими», приписав их Цетлину, Вишняку и Фондаминскому и опустив, вряд ли случайно, «арийские» имена Авксентьева и Руднева. («Возрождение». Тетрадь 42. Июнь 1955 г.).

бедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина. Редакторы журнала и их сотрудники — В. М. Чернов, С. П. Постников, Г. И. Шрейдер, В. Я. Гуревич и другие — были эсерами, принадлежавшими к более радикальному или левому течению в партии, чем руководители «Современных записок».

Мы избегали прямой полемики со своими товарищами и не писали в «Современных записках» на специально партийные темы. Для этого у нас в 1933—1936 гг. существовал небольшой журнальчик «Свобода», выходивший редко и нерегулярно. Тем не менее, когда Авксентьев и я писали в «Современных записках» о «сложении сил», как условии преодоления большевистской деспотии, это сталкивалось с официальной линией партии. То же происходило, когда Руднев писал об экономической политике демократической России (кн. 5), о земельных отношениях (кн. 18, 22, 27, 47), о религии и социализме (кн. 35 и 37) или я — о программных разногласиях (кн. 21), о государстве и социализме (кн. 23), о «Вольном Союзе Народных Республик Востока Европы» (кн. 35) и др.

Не было, поэтому, удивительно, что в кн. 5-й «Воли России» за 1925 г. появилась статья о семи книжках «Современных записок» (кн. 17—23) ближайшего в течение десятков лет единомышленника Чернова, С. П. Постникова. Нельзя сказать, чтобы она целиком отвергала или осуждала дело «Современных записок». Нет, она многое признавала, но не для себя и не объективно, а для тех, кто не возвысились до понимания автора статьи и его ближайших единомышленников. С другой стороны, многое из того, что Постникову представлялось предосудительным, мы считали положительным достижением.

«Когда будущий историк захочет знакомиться по современной литературе с культурными устремлениями русской эмиграции, то ему, конечно, в первую очередь придется обратиться к книжкам „Современных записок“. Журнал этот есть плоть от плоти наших культурных слоев эмиграции», — писал Постников. Это можно было бы принять за комплимент, ибо журналы, выходящие в эмиграции, не могут не быть, конечно, эмигрантскими. Но эмиграция в устах многих послебольшевистских эмигрантов звучала совсем не так, как в эпоху царской эмиграции. Она клеймилась как «эмигрантщина» и изображалась как отказ от «России, оставшейся в России», как отказ от изучения России и углубленного ее понимания» и даже от любви к ней.

В этом Постников повторял Вл. Тукалевского, который годом раньше в той же «Воле России» № 8—9 писал о «Современных записках»: «С тяжелым чувством переворачиваешь страницу за страницей журнала... „Прошлое“, „кру-

шение“, „развалины“, „сумерки“... Вот лейтмотив последней (19) книжки... Уже ведь сказано так много *слов*! И теперь, когда там, на Востоке, на нашей родине, формируется новая *жизнь*, после Революции (с заглавной буквы — *М. В.*), так понятно и естественно желание почувствовать *творческие* проявления и „свободного разума“, и „свободной воли“, и „свободной личности“, о которых, думаю, не следовало бы забывать руководителям „Современных записок“... Мне хотелось бы лишь одного, чтобы на седьмом году изгнания разделились те, кто „за“ и кто „против“ (Революции), ибо иначе получается только „дым“ без света и тепла. Они ведь *навсегда* останутся эмигрантами».

Вл. Тукалевский осудил нас на вечную эмиграцию. А С. Постников противопоставил «Современным запискам», которыми «безраздельно и целиком владеют эмигранты», — якобы неэмигрантские «Волю России», «Революционную Россию» и «Социалистический вестник», непохожие на «Современные записки» не только социально-политической своей установкой, — что было верно, — а и тем, что в социалистических журналах «частыми сотрудниками являются и советские граждане, и иностранные социалисты». Относительно последних критик был прав: в «Современных записках» не писали иностранцы, не писали и иностранные социалисты. Что же касается сотрудничества «советских граждан», различие сводилось лишь к степени «частоты». Андрей Белый был постоянным сотрудником «Современных записок», когда был за пределами советской России, и эпизодически сотрудничали в нашем журнале Короленко, Замятин, Пешехонов, некий «Х» (кн. 7), автор писем «Оттуда» (кн. 61 и 63) и другие.

С. Постников признавал «заслугой» «Современных записок», что они «не замкнулись в своем прежнем кругу и раскрыли двери журнала притоку новых сил». Привлечение к журналу Степуна, Осоргина, Муратова, Кусковой Постников считал «большой отдушиной в застоявшейся атмосфере эмигрантского журнала». Степун «внес новые ноты в журнал» и в вопросе о международном признании советской власти был «гораздо ближе к эсеровской делегации (т. е. к Чернову, Сухомлину, Постникову и др.), чем к Рудневу».

Казалось бы хорошо, и Постников мог бы быть удовлетворен. Нет, это его тоже не устраивало. Он осуждал «Современные записки» за то, что они поставили себе целью быть «парламентом мнений», тогда как «Русская мысль» Струве носила «выдержанный боевой характер, и никогда нельзя было найти там статей, которые диссонировали с общим тоном журнала». А «Современные записки»? Здесь «совсем стерлось самое лицо редакции... Часто помещаются статьи, высказывающие по одному и тому же вопросу совершенно противо-

положные точки зрения, причем все они печатаются без какого-либо редакционного примечания». Правда, и Постников был вынужден признать, что «отказавшись от точных и определенных боевых идеологических заданий, редация «Современных записок» смогла богато и с разбором составлять номера журнала. И, действительно, художественные произведения и статьи, печатавшиеся в «Современных записках», прекрасно и литературно написаны, авторы их почти все уже обладают большим именем, среди них много профессоров, общеизвестных писателей, общественных деятелей».

Последнее, однако, не искупало, по мнению Постникова, того, что «Современные записки» отказались быть «идеологическим органом», как «Русская мысль» или «Воля России» и «Революционная Россия». Но, «начиная с 1924», Постников обнаружил в «Современных записках» определенное «идеологическое устремление» в нежелательную религиозную сторону. Постников был вправе этому не сочувствовать. Но в таком случае, чего стоил его противоположный тезис, что у «Современных записок» нет лица?!

По убеждению критика, в «Современных записках», как в эмигрантском журнале, не могла не отразиться религиозность эмиграции. При этом он «спешит указать, что „Современные записки“ борются с человеконенавистничеством современной религиозности», что против, например, статьи И. Демидова «Думы о православии» с общественной точки зрения «протестовать не приходится»: автор — «сторонник того, чтобы Церковь перестала быть политическим орудием в руках советской власти; церковь должна отделиться от государства и политики и выйти на путь свободный, самодовлеющий, на путь внутреннего духовно-религиозного возрождения человека». Казалось бы, опять хорошо, все в порядке. Нет, Постникову этого мало: и эта статья «как-то (!) не подходит к светскому научному (? — *М. В.*) журналу» — она «обоснована текстами св. писания».

К ответу за религиозное направление «Современных записок» привлечены все редакторы поименно. Руднев за то, что в статье «Около земли» (кн. 18) говорил о «греховности и Провидении» — о понятиях, которые «как будто исключают свободное разрешение социального вопроса». Бунаков за то, что раньше в своих блестящих докладах — вопросы о путях России он решал без помощи Бога, а теперь пишет: «Жизнь ведет его (народ) путями, для человеческого разума обычно непостижимыми» (кн. 22). Наконец, Вишняка «до сих пор нельзя (было) заподозрить в мистицизме и в устремлении к небесам», — «сколько бы он ни приводил исторических примеров борьбы Церкви и религии в интересах народа и свободы, но и он должен признать, что в наш век религиозное воодушевление сочетается с отрицанием прав человека и

народа, с человеко- и народоборчеством, с демократомахией». Тем не менее и ему вменялся идеологический уклон «Современных записок», «глубоко ошибочный» и несущий «только вред русскому демократическому сознанию». Народничеству «нет нужды заключать брак с метафизикой».

С. Постников признавал, что «не только редакция социалистическая, но и ближайшие сотрудники, придающие журналу в последнее время боевой тон, Степун и Гиппиус, демократию связывают с социализмом. Но ...социализм „Современных записок“ настолько безобиден, что он нисколько не лишает журнала популярности среди эмиграции, настроенной резко антисоциалистически. Своеобразный меньшевизм Ст. Ивановича (одного из видных теоретиков социализма „Современных записок“), бестемпераментный социализм М. В. Вишняка, трезвенность В. В. Руднева, устремления к Вечности Степуна и Гиппиус никому ничем реальным не угрожают».

Этот заключительный довод был особенно странен. Если ценность журнала определять «реальной угрозой», ни один журнал, издававшийся в тоталитарное время в эмиграции, — «эмигрантский» или не эмигрантский, социалистический или не социалистический, — никакого значения иметь не мог. Ну, чем «реальным» угрожали большевистской диктатуре «Воля России», с «Революционной Россией» вместе взятая?!

С. Постников судил о «Современных записках» не по тому, чем они хотели быть, а по тому, какими они должны были бы быть по мнению Постникова, которому предносился образ эсеровского журнала «Заветы», издававшегося В. М. Черновым, Р. В. Ивановым-Разумником, С. П. Постниковым и др. незадолго до 1-й мировой войны — совершенно в иной внутрироссийской обстановке и с совершенно другим целеустремлением.

Критика Постникова была противоречивой и пристрастной. Тем не менее она хоть стремилась к объективности. Даже осуждая «Современные записки», он все же приводил факты — с его точки зрения, отрицательные, а, в глазах редакции «Современных записок» и их сторонников, положительные. Критика Постникова была критикой чужака со стороны, желавшая быть справедливой. Иной была критика «Современных записок» со стороны лидера п. с. р. В. М. Чернова, не только чуждого, но определенно враждебного и «Современным запискам», и редакторам журнала.

Когда В. М. Чернов очутился в 1920 г. в эмиграции, он тотчас же приступил к возобновлению былого издания «Революционной России», как центрального органа партии социалистов-революционеров. «Революционная Россия» сна-

чала выходила в Ревеле, а потом была перенесена в Прагу, где ближайшими ее участниками стали Н. С. Русанов-Кудрин, Г. И. Шрейдер и В. Я. Гуревич. «Современные записки» и их редактора вскоре стали одной из излюбленных мишеней Чернова (он же Булатов, Овод, Гарденин и др.).

В связи со статьей Руднева (в 5-й книге «Современных записок») о проекте экономической программы, предложенном Черновым, последний опубликовал в 1922 г. статью «Стихия революции и политические трезвенники», под которыми автор разумел «группу „Современных записок“». И он заявил по ее адресу: «Мы — варвары друг для друга. Мы давно уже подозревали это». Со временем агрессивность Чернова усилилась, и он все бесцеремоннее атаковывал весь «редакционный квартет» в целом и каждого из нас в отдельности. Фондаминский был призван к ответу за то, что «утверждал, что такой (как русская) эмиграции не было в мировой истории — разве вавилонское пленение Израиля». Я — за то, что «писал с подкупающей искренностью и задушевностью: „любовь к революции, повторяю, мы давно потеряли“». «Смею его уверить, — язвил Чернов, — взаимность в этом деле ему вполне обеспечена. Ходят даже слухи, будто коллективного Вишняка (символистка Гиппиус в таких случаях выражается «символического Вишняка») революция разлюбила еще много раньше, чем он разлюбил революцию». Наконец, Авксентьев навлек на себя гнев за то, что в каком-то органе было сказано, что под статьей Авксентьева «Patriotica» (напечатанной в № 1 «Современных записок» восемь лет назад) «подпишется каждый русский патриот, начиная даже с крайних монархистов».

Это переполнило чашу терпения, и Чернов не выдержал: «Да, „были когда-то и мы рысаками“». Были мы народниками, — а теперь «разочарованному чужды все обольщенья прежних дней». Были социалистами, — а теперь социалисты «постольку, поскольку» социалистично евангелие. Были интернационалисты, — а теперь исключаем всякий интернационализм, от которого есть ущерб такой «патриотике», под которой и крайний монархист подпишется. Были и революционерами... а теперь пишем, как Вишняк, «революцию мы давно разлюбили»... Поистине, «fuimus Troes». «И все это было когда-то... я не помню, когда это было. Руку на прощанье, *бывшие*» («Революционная Россия». № 65. Март. 1928).

Но В. М. Чернов не удовлетворился тем, что распрощался с нами, как с бывшими членами партии. Свое недовольство «Современными записками» он перенес со столбцов «Революционной России» в ...Исполнительный Комитет Социалистического Интернационала. Это произошло по обстоятельствам, связанным не с «Современными записками», а с борьбой

Чернова с членами заграничной делегации п. с. р., где он оказался в меньшинстве, — с Сухомлиным, Сталинским, Слонимом, Постниковым. Уйдя из делегации и образовав свой «Заграничный союз п. с. р.», Чернов обратился к Интернационалу с просьбой помочь «выйти из тупика, в котором партия с. р. за границей очутилась вследствие разногласий, возникших в ее рядах между сторонниками революционного социализма, основанного на необходимости классовой борьбы, с одной стороны, и любителями коалиции во что бы то ни стало, с буржуазными и реакционными элементами, с другой».

Надо ли говорить, что «Современные записки» попали в эту распрю как кур во щи: Чернов привлек к делу «крайнее правое крыло с. р. в эмиграции (Авксентьев, Руднев, Вишняк, Фондаминский, Степун) только для того, чтобы близостью к этому крылу скомпрометировать своих вчерашних единомышленников — сочленов по заграничной делегации п. с. р. В этих целях он приписал к эсерам Степуна, который не входил ни в одну с. р. организацию; редакции же «Современных записок» в целом он приписал требование «возрождения социализма через религию и даже путем союза с организованной церковью, следовательно для России — с православной церковью, которая всегда была слугой царей». В действительности же, даже Руднев, единственный, который мог быть в этом заподозрен, никогда не рекомендовал «союза» партии с Церковью, а, наоборот, оспаривал возможность принятия религиозной догмы социалистической партией. Никто не защищал и коалиции «во что бы то ни стало» — тем более с «реакционными элементами» [1].

Все это было подсказано «пленной мысли раздражением» — против былых единомышленников, разошедшихся со своим бывшим лидером. И оно требовало отпора, хотя и отвлекало от прямых задач, стоявших перед «Современными записками».

ГЛАВА VIII

Редактирование рукописей и сношение с сотрудниками.— В. А. Маклаков и П. Н. Милюков.— Душа журнала И. И. Бунаков.— Издательство «Современные записки».— Иван Калита журнала В. В. Руднев.

У каждого из нас был свой подход к редакторским правам и обязанностям. Фондаминский часто принимал руко-

[1] Ср. «Социалист-революционер». 1929. № 2. Октябрь//Под ред. членов заграничной делегации П. С. Р. С. П. Постникова, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина.

пись, не читая, — по одному имени автора. Он воздерживался и от того, чтобы склонять сотрудника писать на нужную журналу или читателям, по мнению редакции, тему. И писать он предоставлял каждому, как тому вздумается. Исправлять рукописи он, поэтому, считал почти никчемным занятием, особенно, если автор не новичок, и тем более, — с именем. Только резкости Фондаминский неизменно вычеркивал, когда наталкивался на них в рукописи, которую прочитывал по настоянию других редакторов.

Такое отношение к чужому творчеству было, вероятно, внутренне связано с отношением Фондаминского к собственным писаниям. Он придавал огромное значение форме своих статей. Начинал с того, что «начитывал», по его выражению, все, что мог найти в литературе вопроса и делал пространные выписки из прочитанного. Потом некоторое время вынашивал свои мысли — вернее, «выхаживал» их, шагая из конца в конец комнаты. После этого принимался облекать надуманное в письмена. В дальнейшем он писал как бы с разбега, перечитывая раньше написанное, иногда целые страницы, чтобы восстановить прежний ритм. Это была довольно трудная работа, требовавшая много времени и большого напряжения [1]. Предъявляя такие требования к своим писаниям, Фондаминский никогда и ни за что не соглашался на какие-либо изменения или сокращения: ему казалось это как бы святотатственным покушением на свободу творчества, и он предпочитал отложить статью, но не разбить или оборвать ее в ущерб построению или ритму.

У Руднева подход был противоположный. Он считал не только своим правом, но и моральным *долгом* следить за тем *что* и *в какой форме* появляется в редактируемом им журнале, считал себя ответственным «общественно-политически» и «литературно», как значилось на обложке «Современных записок». Он отталкивался от неприемлемого для него содержания так же, как и от неудовлетворительной или неудачной, на его взгляд, формы изложения. Отсюда и его правка рукописей, иногда, может быть, и основательная, но без достаточного учета вкуса и стиля автора, что вызывало

---

[1] Оказывается, это было характерно не для Фондаминского только. В «Литературной газете» № 4 за 1955 г. Ираклий Андроников описывает «Жизнь, талант, труд» Алексея Н. Толстого и сообщает между прочим: «Работал он ежедневно. Каждый раз писал не менее двух страниц на машинке и... старался написать хотя бы несколько фраз, чтобы не терять ритма работы... Бывало, из кабинета его доносятся громкие фразы — Толстой произносит их на разные лады. Он потом объяснял:

— Это большая наука — завывать, гримасничать, разговаривать с призраками и бегать по кабинету. Очень важно проверять написанное на слух».

Фондаминский не «завывал» и не «гримасничал», но все прочее проделывал.

не раз справедливое недовольство и даже нарекание[1]. Если Фондаминский, фактически отказываясь от редактирования рукописей, как бы перекладывал ответственность с себя на сотрудников, Руднев, наоборот, снимал с авторов долю их ответственности, обременяя ею самого себя.

Я держался — во всяком случае старался держаться — средней линии: избегал чрезмерной терпимости Фондаминского и излишнего, как мне казалось, ригоризма Руднева. Поступавшие рукописи я считал своим правом и долгом редактировать, но лишь в случаях крайней необходимости — грамматической, стилистической, политической. По существу же того, с чем я не соглашался, я сосредоточивал свои возражения на самом для меня неприемлемом. Однако, я вынуждался часто удовлетворяться тем, что выход своим чувствам и мыслям давал в очередной статье.

Считал я возможным и указывать сотрудникам, что́ было бы желательно от них получить в интересах журнала. У каждого из нас были авторы, которым мы давали предпочтение перед другими. Среди таких у Фондаминского был В. А. Маклаков, с которым он встречался еженедельно в течение ряда лет по четвергам за завтраком у знакомых. Возможно, что они были связаны друг с другом и раньше, по масонской линии, когда Фондаминский еще считал себя масоном и посещал масонские собрания. Во всяком случае, Маклаков уже дал «Современным запискам» очень интересные и исторически ценные «дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина» (кн. 35) и две поучительные статьи о Толстом (кн. 36 и 38), когда Фондаминский предложил нам попросить у Маклакова воспоминания. Мы отнеслись к этому предложению с полным сочувствием. Но то, что получилось в результате, было совсем не то, чего мы ждали.

Вместо личных воспоминаний, Маклаков дал пространную «феноменологию» правого крыла кадетской партии — историософию предреволюционных событий с точки зрения правого кадета. Это, конечно, представляло свой интерес, однако, для «Современных записок» эта историософия не совсем подходила. После четвертого очерка Руднев жаловался на «приевшиеся уже медитации Маклакова», от которых следовало бы дать «отдохнуть» читателю. А нам предстояло еще четыре года в 12 книгах «Современных записок» продолжать эти «медитации», занявшие в общем 400 страниц.

В появившихся недавно отдельным изданием «Воспоминаниях» Маклаков упоминает, что из «статей в „Современных записках“» потом вышли книги: «Власть и общественность»,

---

[1] В таком порядке, вероятно, исчезли и «гоголевские черти» из статьи Чижевского.

«Первая Дума» и «Вторая Дума». Хорошо, конечно, что эти книги «вышли» — были написаны и опубликованы. Но редакция «Современных записок» имела в виду не это. Маклаков прибавляет: «Самая мысль изложить свое понимание нашего (к. д.) партийного прошлого принадлежала не мне. Поскольку в этом есть чья-то вина, она лежит на И. И. Фондаминском. Он меня ею соблазнил и в своем журнале дал мне эту возможность».

Не сомневаюсь, что В. А. совершенно точен, утверждая, что Фондаминскому удалось его «соблазнить». Это вполне согласуется с типичным для Фондаминского подходом к авторам для достижения результата. Но здесь он — не в первый раз, — что называется, превысил полномочия: постеснявшись даже высказать Маклакову пожелания редакции, он в этом не признался и нам. Отсюда и сетования Руднева и мои — не по тому адресу, по которому следовало их направить.

В. А. Маклаков имел все основания иметь дело с редактором «Современных записок» Фондаминским, а не с редактором-секретарем журнала. Со мной он был мало знаком и, со своей точки зрения, знал меня не с лестной стороны. В 1917 г. мы в течение двух месяцев встречались почти ежедневно в Мариинском дворце в Особом Совещании по выработке избирательного закона в Учредительное собрание. В Совещании были и гораздо более умеренные участники, чем Маклаков, но их голосов не было слышно. От правого крыла, неизменно отстаивавшего ограничения в избирательных правах, главным и, как всегда, блестящим оратором был Маклаков. Он не скрывал своей неприязни к «четыреххвостке» и сохранил свою неприязнь до нынешнего дня. Я держался другого мнения и нередко выступал против взглядов Маклакова в Совещании и в печати.

Общественно-политические заслуги Маклакова, как и его личные блестящие дарования, конечно, вне спора. Мастер ораторского искусства, он покорял слушателей неотвратимой последовательностью своей логики, «декартовской» прозрачностью своей системы аргументации. Вместе с тем политическая деятельность Маклакова отмечена кричащей и неожиданной для рационалиста парадоксальностью.

В. Маклаков сыграл свою — и немалую — роль в предшествовавших Февральской революции событиях. Но как только революция произошла, он немедленно, буквально на следующий день, 3 марта, отвернулся от нее, стал к ней в оппозицию. Революция ранила законническое чувство в Маклакове, и он не мог ей этого простить. Он не соглашался примириться с фактом — и актом — отказа от престолонаследия вел. князя Михаила и внутренне отказывался признавать фактически установившийся республиканский режим. До чего упорно держался он своего легитимизма

в процессе революции, можно судить по эпизоду, рассказанному самим Маклаковым в 1927 г. в предисловии к французской книге «La chute du Tsarisme». Interrogatoires. — Paris. Edit. Payot.

Уже полгода прошло с того «рокового для России дня, когда Михаил по совету Комитета Государственной Думы не принял престола», по выражению Маклакова. За это время жизнь не стояла на месте, но Маклаков стоял на своем. Произошло выступление ген. Корнилова против Временного правительства, и Маклакова, как мужа совета, вызвал к себе в поезд ген. Алексеев. «Вопреки мне, генерал думал, что часы правительства сочтены. По его мнению, оставалось лишь решить, что надлежит делать Корнилову после победы. По этому-то вопросу и запрашивал Алексеев мое мнение». Маклаков не разделял «оптимизма» Алексеева. Тем не менее поделился своим «давно уже сложившимся» мнением.

«Если бы Корнилов случайно оказался сильнее правительства и ему удалось бы совладать с революцией, он прежде всего должен был бы вернуться к „законности". Она была отброшена в момент, когда заставили вел. кн. Михаила отречься; следовало бы, поэтому, вернуться к этому исходному пункту. Пусть Корнилов держится манифеста об отречении императора Николая, который был последним законным актом; пусть он восстановит монархию, конституцию, народное представительство и пусть управляет в подлинно конституционном духе! .. Алексеев был изумлен. „Как! Вы хотите восстановить монархию? Это невозможно!" Если это действительно невозможно, ответил я ему,— тогда всякая попытка Корнилова бесполезна; нет никакого интереса „победить" революцию, чтобы ее снова „установить"».

Легитимизм всегда не жизненен. В данном же случае он был предельно утопичен. Даже не профессиональный политик ген. Алексеев это отлично понимал.

Другим парадоксом Маклакова была его сравнительная оценка двух первых Государственных Дум. Он отдавал преимущество второй, «социалистической» Думе перед первой, «кадетской», которую называл «неврастенической», «зависевшей от улицы» и, того хуже, создававшей лишь «соблазн, развращающий правовое сознание общества». Когда товарищи по партии и друзья Винавера выпустили в 1937 г. «Сборник статей: М. М. Винавер», там появилась и статья Маклакова. В ней Маклаков наговорил немало комплиментов по адресу Винавера-человека, адвоката и юриста. В отношении же к его политической деятельности поминальное слово Маклакова, можно сказать, было беспощадно. «В первой Думе была вся наша жизнь», — писал Винавер в 1910 г. и остался при этом убеждении до конца своих дней. А в изо-

бражении Маклакова: наделенный громадными дарованиями человек и юрист и — бездарно прожитая политическая жизнь, творец и жертва бездарной русской общественности начала XX века. Беспощадность к Винаверу-политику смягчалась лишь аналогичной беспощадностью Маклакова ко всем другим руководителям к. д. партии: к «тонкому юристу», но «фанатику» Кокошкину, к «доктринерам» Милюкову и Петрункевичу и т. д.

На этот «Сборник» я отозвался рецензией в 65-й книге «Современных записок», заострив свой разбор на статье Маклакова.

Но самым серьезным — и поразительным — парадоксом в политической жизни Маклакова был, конечно, поворот, сделанный этим умереннейшим из умеренных к. д., противником Милюкова справа за все время существования к. д. в России и в эмиграции, — поворот в сторону признания советской власти или власти большевиков законной и подлинно национальной властью. Под прямым морально-политическим воздействием Маклакова образовалась в Париже и та группа послевоенных «примиренцев» с советской властью, которые навестили полпреда Богомолова, а потом создали бесславное и недолговечное «Объединение русской эмиграции для сближения с Советской Россией».

Вся историософия Маклакова сводилась, в сущности, к обличению левого руководства к. д. партии. Так можно было думать, когда события происходили. Но ретроспективно, когда стало общеизвестным, чем кончились попытки соглашения с властью таких умеренных политических деятелей, как граф Гейден, Д. Н. Шипов, А. И. Гучков, Родзянко и других, когда громадное большинство мемуаристов, в том числе мемуаристов-министров и членов царствовавшего дома, согласно свидетельствовали, что нравственное состояние правившего в старой России слоя достигло таких форм и степеней разложения, что, и не будь Распутина, крушение самодержавной власти было неминуемо, — позиция Маклакова отдавала искусственностью и предвзятостью.

На политические воспоминания Маклакова я отозвался в той же 38-й книге «Современных записок», где они начались печатанием, пространной статьей, которая, как мне казалось, покрывала и последующее развитие его взглядов [1]. Я подчеркивал, что для Маклакова оказалось своего рода абсолютом не право вообще, а очень ограниченная и узкая его ветвь — писанный закон царского времени.

---

[1] Статья называлась «О русской революции — кануны и свершения» и перепечатана в книге «Два Пути. Февраль и Октябрь» (Париж, 1931).

Приступив к печатанию «Из прошлого» Маклакова, редакция «Современных записок» решила для соблюдения политического равновесия «выслушать и другую сторону» и с этой целью обратилась к П. Н. Милюкову с просьбой дать свою версию «понимания к. д. прошлого». Он не заставил себя долго упрашивать и дал две статьи: «Суд над кадетским либерализмом» (кн. 41) и «Либерализм, радикализм и революция» (кн. 57).

Милюков был неоценимым сотрудником. В любой срок он мог написать на любую тему, не делая из этого ни проблемы, ни события. Он был сговорчив и не мелочен: не обращал внимания, на каком месте появлялась его статья или каким шрифтом она набрана. Так, статья его «Сталин» была напечатана в 59-й книге почему-то на четвертом месте мелким шрифтом и все же, видимо, остро задела неизвестного варвара-читателя, большевика или большевизанствующего, который вырвал ее полностью из экземпляра, находившегося в публичной библиотеке Нью-Йорка на 42-й улице. Милюков не придавал значения шероховатостям стиля и даже прямым погрешностям против языка. Когда доводилось обращать внимание на них — Милюкова-редактора «Русских записок», — он неизменно отделывался замечанием:

— Ну что, блох ловить?! Не люблю искать блох у других, не люблю, чтоб и у меня ловили!..

С Милюковым обычно переговоры вел я. Это объяснялось многими причинами. Мое отношение к Милюкову было сочувственнее, чем отношение к нему некоторых из моих коллег, и Милюков ко мне — и Авксентьеву — относился лучше, чем к другим членам редакции. Всякую религиозность, а тем более церковность, Милюков воспринимал и отвергал, как «априорную схему» и лирику, иррациональную и недоказуемую, лежавшую в чуждом ему мире. Я имел дело с Милюковым по Франко-русскому институту и нередко выступал на собраниях, устраиваемых так называемыми эр-деками (республиканскими демократами) под председательством Милюкова. И по политическим взглядам мы были довольно близки. Как и Милюков, я решительно отмежевывался от евразийцев и младороссов. Кой-когда писал в газете Милюкова. Когда Милюкову исполнилось 75 лет, мне было поручено написать о нем статью в «Современных записках» (кн. 38) и составить и прочесть адрес от журнала на публичном чествовании.

Судьба поставила Милюкова на скрещении исторических путей России. Она сделала его центром притяжения и отталкивания идей, страстей, интересов. Милюкова преследовали, травили и оскорбляли. Словом и действием. Справа и слева. Русские коммунисты объявили его вне закона. Русские монархисты в него стреляли. Но он, духовное достояние

нескольких поколений русской интеллигенции, неотрывен ни от истории России, ни от ее интеллигенции, — хранителя русской национальной памяти, по его словам.

На протяжении четырех десятилетий политической активности П. Н. не оставался себе равным. Русское общественное мнение знало нескольких Милюковых. Необходимо всегда, поэтому, уточнять, о *каком* Милюкове идет речь, — о Милюкове какого периода, местонахождения, образа действия. Ему приходилось бывать и левым, и правым: и в общероссийском разрезе, и в собственной к. д. партии, которую он до 1917 г. возглавлял и у которой оказывался на флангах — на крайнем правом примерно с половины 1917 до конца 1920 г. и на крайнем левом с 1921 г. и до кончины. В эмиграции в период сотрудничества в «Современных записках» Милюков был нам политически ближе, чем когда-либо.

На протяжении четырех десятилетий политической активставление о «кадете», как помеси беспринципного оппортуниста и «буржуя» — тем более зловредного, что он тоже претендует приобщиться к освободительному и прогрессивному движению. Между тем программа возглавлявшейся Милюковым партии была радикальнее любой другой не социалистической партии в Европе, приближаясь к программе французских радикал-социалистов. П. Н. Милюков был убежденным *либералом* — не в том осудительном и полупренебрежительном смысле, который придан был этому понятию уродливыми условиями самодержавия и большевизма, а в его лучшем, «американском» смысле, означающем независимость, свободолюбие и свободомыслие.

Именно потому, что Милюков был либерал, был он и *демократ* — и не только «бытовой», т. е. простой в личном обхождении, всем доступный, не знавший роскоши и не слишком ценивший даже заслуженного возрастом положения и комфорта. Главное назначение политического деятеля он видел в служении государству, и конституционалистом-демократом он стал не по царскому соизволению и манифесту 17 октября 1905 г., а задолго до того — по собственному своему «мятежному хотению». Он был втянут в политику силой вещей или внешних обстоятельств, которые оторвали его от привычных научных работ и университетской кафедры.

Вынужденный заниматься политикой, Милюков хотел непременно быть *реальным политиком*. Это не означало в его представлении беспринципности или отказа от доктрины и убеждений. Это должно было обозначать только отказ от доктринерства, предвзятости и предрассудков. Профессия историка облегчала ему процесс психологического примирения с любыми фактами и их «признания». Словами и доводами его трудно бывало убедить, он был тверд и неуступчив. Но когда факты его переубеждали, он делал «поворот руля»

и с прежней твердостью отстаивал свою новую тактику или ориентацию.

П. Н. Милюков бывал и противником революции, и ее сторонником, и опять ее противником. Он был и сторонником конституционной монархии, и ее противником, чтобы стать снова ее защитником (в половине 1918 г.) и перейти окончательно (с 1921 г.) на позиции непримиримой вражды ко всякой монархии — легитимной, «природной», выборной. И к большевизму у него было непримиримо резкое отношение, когда он писал в «Современных записках», — хотя и тогда, «выбирая», он предпочитал Сталина Троцкому, — а когда подошла война, обнаружил в сталинизме и «правду».

Изменение ориентации Милюкова во внешней политике бывало еще более неожиданным и резким. На подъеме Февральской революции он отстаивал верность союзникам и необходимость для России Константинополя и Дарданелл. А в мае-июле 1918 г., когда потерял надежду на освобождение от большевистской власти внутренними, русскими силами, он перешел к ориентации на немцев. «Германцы — хозяева положения и заинтересованы в том, чтобы государство было восстановлено. Они дорожат нашим единством и царем», — писал Милюков 19 мая 1918 г.

Это было одной из самых больших и трагических его ошибок. Милюков ошибся не только относительно видов, которые имели «германцы» даже при Вильгельме II. Он ошибся и относительно реальной мощи тех, с кем хотел связать судьбы русского освобождения. Зато, когда возникла вторая мировая война, Милюков не только не повторил этой ошибки, но в предупреждение ее зашел гораздо дальше многих убежденнейших противников Гитлера и патриотов России, не отделявших ее судеб от судеб мира. В патриотической тревоге за Россию, будучи крайним ненавистником Гитлера и его политики, Милюков, пытался частично оправдать неоправдываемое соглашение Сталина с Гитлером, способствовавшее возникновению войны.

П. Н. Милюков был комбативной и твердой натурой. Политике он подчинял личные отношения и не прощал несогласия с ним, — особенно тем, кого считал себе близким. Он воспринимал такое несогласие, как бунт или восстание против себя или даже как измену или злоупотребление доверием. Через всю жизнь пронес он неприязненное отношение к социализму. Это не мешало ему иметь друзей среди умеренных социалистов (Кускова, Прокопович, Мякотин, Богучарский) и нередко искать соглашения и коалиции с социалистическими группировками.

Народнический социализм представлялся Милюкову недостаточно научным. Но он признавал интимную его связанность с русской жизнью, его «почвенность». С появлением на

исторической арене «социалистов»-большевиков, небольшевики-социалисты получили все основания предпочитать тех, кто социализм открыто отрицал, тем, кто социализм — и социалистов — компрометировал.

Не были социалистами ни Вильсон, ни Ратенау, ни Рузвельт. Их жизненному делу, однако, социалисты сочувствовали, может быть, больше, чем другие. И не социалист и не революционер Милюков был для многих убежденных социалистов не только лично, но и политически гораздо более приемлем и близок, нежели «перманентные» или «профессиональные» революционеры и социалисты.

Когда мне приходилось иметь дело с Милюковым, меня преследовала мысль о трагическом ходе русской истории, сложившейся, в частности, так, что один из самых замечательных ее сынов оказался для нее на протяжении четверти века «лишним человеком» — не у дел, на чужбине, тогда как его сверстники и коллеги по профессии в более удачливых странах — профессора Вильсон и Масарик — получили прижизненное признание своих сограждан и всего мира. В жизненной неудаче Милюкова, конечно, не он один был повинен. В этом была общая наша вина и беда — отчасти рок русской истории, как живого культурно-политического процесса.

За 14 месяцев до смерти Герцен, тоже отвергнутый Россией 60-х гг., писал Огареву: «Мы с тобой принадлежим к тем старым пионерам, к тем сеятелям, которые вышли поутру, лет сорок назад, чтобы распахать землю, по которой пронеслась дикая николаевская охота на людей, раздавив все плоды и почки. Семена, которые достались в наследство... нам от наших предшественников, мы бросили в новые борозды, и ничто не погибло. Сильные и крепкие ростки... далеко не умерли; они работают под слоем грязи, полной гниющих остатков, которые послужили удобрением для будущего, но душат настоящее... Надо уметь ждать».

С поправкой на время эти слова могли быть отнесены и к П. Н. Милюкову эпохи его сотрудничества в «Современных записках». Потому-то я так и ценил его участие в журнале.

П. Н. Милюков дал «Современным запискам» статьи на самые разнообразные и нужные журналу темы: по внешней политике — «Япония и Китай в дальневосточном конфликте», кн. 49; «Масарик и Бенеш», кн. 60. По русской истории: «75-летие освобождения крестьян», кн. 61; «Два русских историка» (Кизеветтер и Платонов), кн. 51; «Величие и падение М. Н. Покровского», кн. 65; «И. С. Тургенев», кн. 54; «Народник-марксист о русской индустриализации» (евразиец П. Н. Савицкий), кн. 50; «Традиционная религия и свободная мысль», кн. 37; и др.

Постепенно в редакционной работе стала складываться своя рутина. Три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — отправлялся я в помещение редакции: в первые два года в чудесный старинный особняк графа Янсена на 9-bis Rue Vineuse с видом на сад, где можно было наблюдать монахов-миссионеров на прогулке. Оттуда редакция перешла в полутемную комнатушку книжного магазина« Родник», на 106 Rue de la Tour, — Ходасевич воспел его в шуточном стихотворении «Предупреждение врагу»[1]. Наконец, когда средства «Современных записок» оказались на исходе, с 1931 г., мы воспользовались гостеприимством Земско-Городского Союза и переселились на 6, rue Daviel.

По дороге в редакцию я обычно заходил в первые годы к Фондаминскому, жившему в том же Пасси, и мы вчерне «проходили» текущие дела. Иногда «заход» затягивался на часы, когда обсуждению подвергались не только очередные, технические вопросы, но и общая политика редакции в отношении ближайшей книги и последующих. Такое обсуждение носило лишь предварительный или подготовительный характер. Раз в 7—10 дней происходили заседания редакции, когда предложения оформлялись и приобретали силу редакционного решения. Но и в промежутках между редакционными собраниями мы пользовались каждой встречей — на общественном собрании или у знакомых, чтобы, уединившись на короткое время, решить «на ходу» неотложный, но требовавший постановления редакции вопрос. Это стало столь привычным, что окружавшие, видя нас втроем перешептывавшимися вроде заговорщиков, недовольно отмечали:

— Ах, опять эти «Современные записки»! . .

А Авксентьев, лишь изредка принимавший участие в таких летучих заседаниях, добродушно подтрунивал:

— «Биржа открылась!»...

И. Фондаминский был «душой» журнала. Он был замечательный человек. Это бросалось всем в глаза. Он пекся о многом — о самом элементарном, земном, и «небесном». К обычным житейским благам и радостям жизни он был почти равнодушен и мог довольствоваться минимальным. Он поражал своей скромностью и заботливостью о других и был тароват на всякие выдумки, не исключая практических, деловых. Одни были более удачны, другие менее.

Так, он надумал связать распространение «Современных записок» с имевшей, по эмигрантским масштабам, огромный тираж газетой Милюкова «Последние новости». Выработан был текст «купона»-объявления о «Современных записках», который стал изо дня в день появляться в газете и давал предъявителю пяти таких «купонов» право на приобретение

---

[1] «Новый журнал». № 7. С. 292.

в конторе «Последних новостей» книги журнала по удешевленной цене, т. е. с книгопродавческой скидкой, — за 10 франков. Это служило рекламой для журнала и для газеты и повысило распространение «Современных записок» без дополнительных расходов и забот.

По инициативе Фондаминского время от времени стали устраивать и вечера «Современных записок». Целью было увеличить средства журнала и создать сочувственное окружение. «Вечера» состояли из докладов, с которыми выступали сотрудники журнала разного образа мыслей, но с громкими именами: П. Н. Милюков, Н. А. Бердяев, А. Ф. Керенский, М. И. Ростовцев, В. Жаботинский, проф. К. Давыдов. Фондаминский приносил на «вечера» десяток-другой экземпляров последней книги «Современных записок» для продажи и таким кустарным путем старался увеличить распространение.

Было удачей — объективно — и создание усилиями Фондаминского *издательства* «Современные записки». Средств для этого не было ни у журнала, ни у изобретательного организатора. Фондаминский съездил в Берлин и там договорился с книгопродавцем Заксом об издании указанных «Современными записками» книг при личной гарантии со стороны Фондаминского стоимости 250 экземпляров.

Никаких прибылей издательство не преследовало. Его целью было помочь авторам появлению в свет их произведений — доходных и бездоходных. Некоторые авторы, как, например, Б. Э. Нольде, сами участвовали в частичной оплате расходов по изданию своих книг. Других привлекала «марка» или «фирма» «Современных записок». Ряд книг не мог быть вовсе издан, не будь издательства «Современных записок». На протяжении нескольких лет в издательстве «Современные записки» вышло тридцать пять книг: Бунина (4), Зайцева, Алданова (2), Маклакова, Ладинского, Полнера, Ходасевича, Шестова, Зензинова, переработанные Милюковым знаменитые «Очерки по истории русской культуры» в нескольких томах, Сборник, посвященный 175-летию московского университета, книги Нольде, Ст. Ивановича, М. Вишняка, Н. Лосского, Н. Бердяева, Шаляпина, М. Цетлина, Сирина, Зурова, Одинца, С. Прегель.

И. Фондаминскому это начинание обошлось в 18 тысяч франков — не только в силу неблагоприятной конъюнктуры на книжном рынке, но и по неопытности. Это было одно из многих его «добрых дел», которыми он увлекался в эти годы и которые творил на свой лад, не спрашивая никого и ни с кем не советуясь.

И. Фондаминский не был знаком с пьесой Н. Евреинова «Самое главное» («Для кого комедия, а для кого и драма»), в которой д-р Фреголи говорит: «Все человечество, если верить психологам, инстинктивно предпочитает приятный обман

неприятной истине». Не читал он и Сен-Бева, утверждавшего: «Если бы правду стали говорить вслух, человеческое общество не продержалось бы и минуты, а рухнуло бы со страшным грохотом, как потрясенный Самсоном храм филистимлян». Но из собственного опыта общения с людьми Фондаминский сделал вывод, что «люди не выносят правды». И он убежденно говорил окружающим *только* им приятное. Каждый, по крайнй мере вначале, не мог не принять за чистую монету того, что всегда говорилось с подкупающей искренностью и в подчеркнуто доверительной форме. Это ни в какой мере не было двуличием. Это была своеобразная педагогическая манера воздействия на людей. В одном из немногих писем Руднева, сохранившихся у меня с необычной для него пометкой года, а не только дня и месяца (6.XII.28), можно прочесть: «На милого Илюшу, с его ангельским характером, запрещающим ему говорить правду, если она может быть неприятна (самая нехристианская добродетель), надежда не вполне верна. Могу предполагать что угодно».

Но это не покрывало полностью «педагогики» нашего милого и доброго Илюши. Он не только избегал говорить неприятную правду, а зачастую прибегал к приятной неправде — к возвышавшему, а порою и невозвышавшему — обману. Не честолюбивый и не властолюбивый, он, однако, был твердо убежден в том, что люди сами не понимают того, что им нужно, не способны совладать с реальностью и нуждаются в помощи и водительстве. И Фондаминский приходил на помощь каждому, кто к нему обращался, — чаще дружеским и добрым советом, — неустанно о ком-нибудь хлопотал и всех, кого мог, опекал. Он брал на свою, несомненно, чистую совесть решения за других, вместо них, часто за их спиной, иногда даже против их желания. Это не было ни интригой, ни «макиавеллизмом». Наоборот, он был абсолютно честен с собой и думал не о себе, а о других, — о том, как строить мир и благополучие тех, в частности, кто «не выносят правды». Зная себя, как бескорыстного человеколюбца, ничего для себя лично не ищущего, Фондаминский считал своим правом и даже долгом целить чужие души и нравы по собственному разумению, — так, как он находил лучшим и целесообразным.

Он сближался с несчетным числом людей и пользовался при этом — сознательно или бессознательно — своеобразным приемом. Он внушал к себе доверие и привлекал интимной откровенностью, нередко за чужой счет. Он делился сведениями о третьих, иногда самых близких ему лицах, или жаловался на них очередному собеседнику, душу коего хотел уловить. «Пожалуйста, не выдавайте меня», — любил он при этом прибавлять новому конфиденту. И это производило впечатление: собеседник не всегда догадывался, что и он не

составит исключения и будет со временем обречен стать жертвой откровенного Фондаминского, если таким путем можно будет уловить новую душу.

Как руководитель «Современных записок», Фондаминский считал, что знает лучше других не только то, что объективно нужно журналу, русской культуре, общественности и т. д., но и то, что на пользу каждому редактору и сотруднику. В этом бывало иногда и нечто положительное. Когда, например, стали появляться отзывы о «Современных записках» и, в частности, не всегда отрицательные отзывы о моих статьях, Фондаминский воспринимал их как долю признания его самого. И он был прав. При общем, в конце концов, безразличии всех ко всем, особенно в тягостных условиях эмигрантского быта и бытия, идейно сочувственная активность составляла редкое исключение. Я знал теорию Фондаминского о том, что люди не выдерживают правды. Знал, что его уговоры и поощрения исходят не из тех соображений, которые он высказывает вслух в интимно-доверительном порядке мне о других, а другим обо мне, и тем не менее не мог не ценить того, что он побуждал меня писать и тогда, когда моя публицистическая энергия направлялась против духовно близких ему идей и лиц. Без его настойчивого поощрения некоторые статьи, вероятно, не были бы написаны вовсе.

И на В. В. Рудневе лежала в «Современных записках» специальная задача — тяжелая и неблагодарная.

Почти все свое время, остававшееся от службы в «Еврейской трибуне», а потом в Земско-Городском Союзе, Руднев уделял журналу. Внимательно читал и правил поступавшие рукописи и с большим напряжением сам писал на разные темы. Недооценивая свои писания, он характеризовал их: «Я пишу публицистические статьи, отнюдь не претендующие на научность. Но, затрагивая интересующие меня и, как мне казалось, нужные для журнала темы, я по необходимости вдаюсь в сферы для меня, профана, опасные, — то в экономику, то в юриспруденцию... Оправданием для меня является то, что для *нашего* направления и для затрагивавшихся *мною* тем *наших* специалистов я не вижу, не знаю. Обращение же к специалистам не нашего круга, как тебе известно, сопряжено с известными затруднениями, особенно в таком остром вопросе, как религиозный... Помимо вкуса к чистой публицистике (вроде «Сложение сил» и т. п.), мне кажется, приличное выполнение таких тем еще больше требует одаренности, чем моя смешанная публицистика» (6. XII. 28).

Существует мнение, что «широта фронта, которая обеспечила «Современным запискам» «успех у читателей и репутацию не только лучшего журнала в зарубежье, но и одного

из лучших в истории всей журналистики», — я цитирую ту же «Русскую литературу в изгнании» Глеба Струве, — что этим журнал обязан «в первую очередь Фондаминскому и Рудневу». Ни в какой мере не умаляя заслуг того и другого, скажу, что это верно в отношении к Фондаминскому и неверно в отношении к Рудневу. «Большинство» — двое против третьего — складывалось по-разному. «Миросозерцательно» Фондаминский и Руднев были против меня — или я против них. Политически же мы с Рудневым и в доновоградские времена были против Фондаминского, увлекавшегося «пореволюционным сознанием». Наконец, в вопросах литературы и художественной критики я, как правило, бывал солидарен с Фондаминским, и мы были против Руднева, наиболее среди нас «принципиального» и, тем самым, наименее терпимого.

Писание все-таки давало Рудневу удовлетворение, и чем дальше, тем увереннее и лучше стал он писать. Но на нем лежала и гораздо менее приятная задача — добывание необходимых журналу средств. Прага наводила все большую экономию и сокращала помощь русским эмигрантским учреждениям в Чехословакии и особенно за границей. И дотации «Современным запискам» все уменьшались в то время, как расходы по изданию журнала — типография, бумага, оплата авторов при возраставшей дороговизне — все увеличивались. В течение ряда лет Руднев вел огромную и утомительную переписку со всеми, кто прямо или косвенно мог содействовать продлению жизни «Современных записок», — журнал не раз дышал на ладан из-за отсутствия средств.

В. Рудневу приходилось много раз ездить в Прагу и в личных беседах доказывать, уговаривать, просить, обещать, драматизировать, «браниться», — всеми силами «вымогать», как он выражался, необходимые суммы. Надо было знать Руднева, чтобы по справедливости оценить его усилия. Это было совершенно не в его натуре, стиле и духе. Но он не отступал, и, не считаясь с временем, трепкой нервов и душевным насилием над собой, снова и снова писал, приставал и, в конечном счете, — с затяжками, сокращениями, предупреждениями, что это уже окончательно в самый последний раз, — все же добивался очередного продления существования «Современных записок». Руднев ни в какой мере не был дипломатом, не любил и не умел лавировать и маневрировать, дорожил достоинством, своим личным и общественным, журнала, и все же вряд ли кому удалось бы успешнее справиться с лежавшей на нем мучительной и неблагодарной задачей. Он героически боролся за сохранение «Современных записок».

Естественно, что он стал своего рода Иваном Калитой в «Современных записках». Фондаминский был исключительно щедр на авансы и гонорары — особенно сотрудни-

кам, которых считал нужными и ценными для «Современных записок». Руднев, наоборот, противился выдаче крупных авансов — «не отработают» — и не соглашался на увеличение гонорара, считая, что авторы тем самым подсекают тот сук, на котором сидят вместе с журналом. Он старался навести экономию на всем, где можно было и где нельзя было — без риска потерять Степуна, заведовавшего литературно-художественным отделом «Современных записок». «Отложив этот вопрос на несколько месяцев, мы длим это положение все с меньшей степенью оснований еще два года», — писал он 2.V.30. «Голосую за прекращение (ежемесячного вознаграждения в 200 франков), мотивированное материальной стесненностью журнала (что верно, — стоимость издания выросла, тираж не поднялся значительно, запасной капитал исчез)».

Так жили-были «Современные записки».

ГЛАВА IX

Внутриредакционные трения и разногласия.— Миросозерцание и политика.— «Новый град» и «Русские записки».— Начало конца.

И у меня в «Современных записках» было немало забот. И я ездил в Прагу по делам журнала, но очень редко. Мои заботы были не те, что у Фондаминского и Руднева. Положение и влияние мои в журнале часто преувеличивали. Не один Ходасевич говорил и писал, что я «столп и утверждение истины» и «краеугольный камень». Некоторые даже отождествляли меня с «Современными записками» наподобие Ремизова в его «снах» или ораторов в «Зеленой лампе».

Это было, конечно, не так. Старше меня, мои друзья были и более авторитетными, и более волевыми. Да и распределение ролей — или «расстановка сил» — в первые годы существования журнала не имело никакого значения. В редакции царили мир да любовь, тишь да гладь. Каждый относился к своим обязанностям как к священнодействию. Никаких расхождений ни идеологических, ни политических не было — все во всем были согласны и солидарны друг с другом. Насколько помню, был всего один случай серьезного разномыслия и горячего обмена мнениями. Это было после появления во второй книге «Современных записок» моей статьи об эпопее ген. Врангеля и эвакуации Крыма. Уже post factum, после выхода книжки журнала, в заседании редакции Руднев счел своим долгом отмежеваться от моего несправедли-

вого, по его мнению, «глобального» осуждения всего врангелевского движения. Аргументировал он при этом не от политики, а, как часто делал, — от морали. Я защищался, но не слишком страстно. Мне казались ясными мотивы Руднева; он помнил сопротивление, которое московская городская дума во главе с городским головой Рудневым оказала совместно с юнкерскими частями захвату власти большевиками в ноябре 1917 г. И морально-политическая связь с военной молодежью в прошлом диктовала ему бережное отношение и к врангелевской молодежи.

В первые, «идиллические» годы мы высказывали разные мнения, обсуждали их, доходили редко до формального голосования, с подразделением на большинство и меньшинство, вынужденное подчиняться большинству [1]. Положение осложнилось с фактическим отходом от журнала Авксентьева и смертью Гуковского. Нас осталось трое, и при разномыслии третий решал вопрос. Когда же смертельная болезнь жены Фондаминского стала удерживать его месяцами вне Парижа и ему бывало не до того, чтобы подать голос в пользу или против предложения, — получался тупик, который Руднев описывал так: «Каждое несогласие между нами двумя — приводит *автоматически* уже к параличу по каждому данному вопросу. Когда «данных вопросов» получится слишком много, неизбежно должен наступить паралич журнала».

Наше Entente Cordiale длилось примерно 9 лет. С изданием первых 40 книг оно стало подходить к концу, и, как во всех русских кружках, объединениях, партиях на авансцену стали выходить «наши разногласия». Питались они, конечно, и внешними обстоятельствами: расчеты на движение живой воды в России не оправдались, пребывание в эмиграции затягивалось, и все чувствительнее становились ненормальные условия издания толстого журнала.

Энергичнее и быстрее других «эволюционировал» Фондаминский. Все определеннее отходил он от некоторых из своих

---

[1] Г. П. Струве любезно сообщил мне выдержку из письма своего отца С. Л. Франку по поводу статьи последнего «По ту сторону левого и правого», отвергнутой «Совр. записками» и появившейся в «Числах» № 4. П. Б. Струве пенял своему близкому другу за то, что тот не дал статьи в редактируемую Струве «Россию и славянство»: «Быть отвергнутым «Современными записками» и попасть в «Россию и славянство» — это какое-то идейное расхождение, перейти же из «Современных записок» в «Числа» не имеет вовсе такого значения и есть только переход в *худшее* помещение».— Письмо от 13.XII.1930.

Статья была отвергнута, как совершенно чуждая и даже враждебная тому, что защищали «Современные записки». Даже Степун отнесся к ней без особого энтузиазма, считая, что кроме разных «упрощений» статья страдает «очень опасным недоразумением — утверждением, будто большевики осуществили социализм. Между тем, то, что осуществили большевики, на деле похоже на социализм не больше, чем трепанация черепа на логическую операцию».

былых общественно-политических позиций, в том числе и тех, которые были всем нам общи, когда мы начинали «Современные записки». Фондаминский одновременно и «правел», и «левел». Он перестал интересоваться эсеровскими делами и даже стал несколько пренебрежительно относиться к ним. Вместе с тем он не только не отошел от социализма, а более энергично, чем когда-либо, стал проповедовать «антикапитализм». Преданность социализму, который Фондаминский по тактическим соображениям предпочитал называть «трудовым строем», стала сочетаться у него с отрицательным отношением к так называемой формальной демократии. Он защищал необходимость сохранения Советов и идею «благого» диктатора с «временными диктаторскими полномочиями». Признавая Франклина Рузвельта за идеальный тип социалиста-реформатора, Фондаминский доказывал, что России требуется не демократия, а свой русский Джордж Вашингтон.

Разочарование Фондаминского в демократии было, как я понимал, результатом «травмы», полученной им еще в России, когда он потерпел поражение в попытке противостоять большевизации Черноморского флота. Он мужественно боролся против большевистской стихии, был в числе избранных в Учредительное собрание от Черноморского флота, но верх одержали все же большевики во главе с умной и даровитой агитаторшей Островской. Первоклассный оратор и дебатер, Фондаминский не был привычен к поражениям и обобщил свою личную неудачу: поражение потерпела демократия, потому что массы были настроены большевистски, — народ был за большевиков. Отсюда следовало и многое другое, — в частности, оправдание прошлого России, не исключая и былого режима. Неудивительно, что Союз дворян в Париже пригласил Фондаминского сделать у них доклад, а он приглашение принял и доклад прочел с большим успехом. Точки сближения нашлись у него одновременно и с «пореволюционным поколением» евразийцев, младороссов и других, чей «пафос» был в отрицании «формальной демократии и в утверждении демократии «реальной» или «бытовой». Идеи Степуна и Федотова оказались созвучны Фондаминскому и постепенно стали и его идеями. И когда Степун в одной из статей в «Современных записках» о «Современных записках» охарактеризовал Бунакова-Фондаминского, как «левого евразийца» и «евразийца-народника», последний против этого не возражал.

Между тем, Руднев, Авксентьев и я остались политически теми же «староверами» или «доктринерами», какими, покинув Россию, приступили к изданию «Современных записок». Это значило, что, взяв на себя руководство *беспартийным* журналом, мы не отказались от своей связанности с партией с. р. и, — что было в данном случае существеннее, — от признания демократии исходным пунктом для построения со-

циализма в будущем и для объединения в настоящем «живых сил» эмиграции — в интересах России, культуры и человечества. Наше морально-политическое неприятие большевиков и большевизма, интеллектуальное и эмоциональное, может быть, мешало исторической или так называемой объективной их оценке, но оно избавляло нас от мудрствования, где кончаются «большевики» и начинается «большевизм»? Что характерно для «пореволюционного сознания?» Оправдывается ли индустриализация жертвами, понесенными во время организованного голода в деревне? Заложены ли в коллективизации элементы социализма? Представляет ли собой Homo Sovieticus положительный тип? И т. п.

Сохраняя верность своим прежним политическим взглядам, Руднев стал глубже и острее воспринимать религиозность. Он был связан с религией и раньше, но в эмиграции стал отчетливее оформлять свои религиозные взгляды, а порою выдвигать их даже на первый план. Не могу сказать, связывал ли он свой демократический социализм с религией, как более углубленной и, потому, более прочной основой, или демократический социализм являлся для Руднева одним из производных его общей христиански-православной установки. Но и то, и другое он ценил и твердо за них держался.

Мне «Современные записки» были дороги сверх общекультурной их самоценности общественно-политически, как средство обращения эмигрантского сознания — привлечения или возвращения — на пути демократии в целях преодоления большевиков и большевизма и защиты, пропаганды и разработки проблем демократии в соответствии с новыми потребностями жизни. Я не отрекался ни от социализма, ни от партии с. р. и больше других писал в созданной усилиями Руднева и моими эсеровской «Свободе». Проповедовать социализм мне казалось почти излишним: социализм уже постоял за себя — пробил себе путь в жизнь и обрел неоспоримое право на существование. Серьезнее обстояло дело с демократией, лежавшей в основании социализма и ныне взятой под сомнение и подозрение даже былыми ее сторонниками, не исключая социалистов. Социализм же не демократический переставал, на наш взгляд, быть социализмом, — становился разновидностью тоталитарного строя.

Защита демократии была и оставалась моей главной политической заботой за все время существования «Современных записок». Она была для меня и предпосылкой для будущего, и основой текущей политики. Реабилитация идеи демократии и практическое «сложение» демократических сил в эмиграции занимало меня политически прежде всего и больше всего. Иметь ли «Современным запискам» свое общественно-политическое «лицо», каким бы оно ни было, но определенное «лицо», — было предметом длительных и часто

бесплодных моих споров с друзьями. Спора — и самого вопроса — не было, когда журнал создавался. Собрать под общее, не партийное, но определенное политическое знамя всех, кого можно, было одной из главных первоначальных задач и целей «Современных записок».

Когда я подводил пятилетние итоги «Современным запискам» и тому, что за это время произошло на родине, я писал: «Вступая в шестой год существования в объективно иной, чем прежде, обстановке, мы остаемся верными тому общественно-политическому и культурно-идеологическому делу, которое дало основание и на родине, и на чужбине возникнуть наименованию — *течение «Современных записок»* (кн. 26)'.

Как это ни покажется странным, это выражение — течение «Современных записок» — встретило уже тогда, в 1925 г. возражение со стороны одного из руководителей журнала. Им неожиданно оказался Руднев, который почти возмущался:

— Нет никакого «течения» «Современных записок»!.. Зачем говорить о том, чего нет!?

Я оправдывался. Прежде всего, — не я придумал это выражение, я заимствовал его у писавших о «Современных записках» в эмиграции и в России. Советская печать тогда еще не «казнила молчанием» эмиграцию и ее издания. В моих руках оказалась брошюра Влад. Беренштама «В. Г. Короленко, как общественный деятель и в домашнем кругу», изданная в России в 1922 г. В ней описывалось, с какой жадностью Владимир Галактионович набросился на привезенные ему из-за границы первые две книги «Современных записок». Забыв о присутствующих, Короленко углубился в чтение. Сурово отозвавшись о статье Л. Шестова «Откровения смерти», он «посоветовал прочесть внутреннее обозрение «На Родине». Это было, конечно, большим и приятным для меня сюрпризом. Обычно же, упоминая о «Современных записках» или о ком-нибудь из нас, официальная советская печать клеветала, а то и просто-напросто ругалась [1].

---

[1] К политике замалчивания эмигрантских авторов, как якобы несуществующих, советская власть пришла не сразу. И даже когда в повседневной и периодической печати стали проводить этот запрет, в непериодической печати держались иной политики. Однако, и тогда советская печать была исключительно неряшлива в сообщении сведений об эмиграции.

Так, Большая Советская Энциклопедия, говоря в 1926 г. об Авксентьеве и сообщив о нем много небылиц, ни словом не упомянула о нем как редакторе «Современных записок». В 1930 г., говоря обо мне, она назвала меня «одним из основателей и редакторов бело-эсеровского журнала «Современные записки», издаваемого в Париже с 1920 года». В 1935 г., говоря о Фондаминском-Бунакове (которого состарила на год), Энциклопедия упомянула, что «в 1931 г. Фондаминский издавал журнал «Новый град». Ныне вместе с М. В. Вишняком (см.) стоит во главе журнала «Современные записки» (см.), издающегося в Париже». О Рудневе в со-

И в эмиграции — не только в эсеровских кругах — в «Современных записках» видели нечто такое, чего раньше не существовало. Да и мы сами утверждали, создавая журнал, что он результат пережитого опыта и цель его — вызвать к жизни новое политическое формирование. Почему же нельзя было говорить о том, что было и что должно было быть, если утверждаемое даже несколько стилизовало сущее или предваряло будущее? Я цитировал при этом своего любимца Георга Еллинека, который учил: «Представление о праве способствует созданию желанного права», — и представление о «Современных записках», как особом политическом течении, могло способствовать образованию такого течения.

Наш спор тогда ничем не кончился. Последующее убеждало меня, что «Современные записки» становились все менее требовательными к выдержанной демократической линии, все более «либеральными» в отношении к противным течениям. Если по первоначальному замыслу «культура» и «свобода» были равноценны для «Современных записок», защита последовательной политической свободы и демократии стала со временем играть второстепенную роль или даже роль необязательного придатка к тому, что стало главным и основным для журнала и в журнале и что условно называлось «культурой», — к историософии, философии, религии. Что первоначально оправдывало, по моему мнению, наименование «Современных записок» особым политическим течением, позднее разбилось и пошло по нескольким руслам, не всегда даже параллельным.

Во время одного из моих «заходов» к Фондаминскому в затянувшемся разговоре он неожиданно затронул новую тему:

— Знаешь, чем-то все-таки надо объяснить недостаточный резонанс, который имеют «Современные записки». Ведь это совершенно замечательный журнал. Я вчера слышал, что «Современные записки» не только можно сравнивать с «Современником» и «Отечественными записками», но что уровнем того, что в «Современных записках» печатается, они превосходят все когда-либо существовавшие в России толстые журналы. И это, несмотря на то, что у нас нет ни Толстого

ответствующем 41-м томе вообще ничего не сказано. А в 1945 г., когда вышел 51-й том, в котором должна была появиться возвещенная статья о «Современных записках», ее там не оказалось. Редакционная политика Энциклопедии к тому времени стала равняться по «генеральной линии», и издатели освободили себя от принятого в 1935 г. обязательства.

В новом издании Энциклопедии уцелел из нас один только Авксентьев, но рядом с еще более заостренными клеветническими выпадами против него об его участии в «Современных записках» опять не сказано ни слова.

с Некрасовым, ни Щедрина с Тургеневым... Нас, конечно, читают, признают и ценят, а все-таки что-то не то...

— В чем же дело?.. Ты чего-то не договариваешь...

— Дело в том, что все русские журналы были связаны с определенным миросозерцанием. Миросозерцание лежало в основании всякого политического направления и каждого журнала. Такова уж русская традиция. Русский интеллигент не способен ни жить, ни действовать без миросозерцания. Тут ничего не поделаешь...

С этого началось. А продолжилось тем, что Фондаминский стал доказывать во время многочисленных бесед с глазу на глаз и в заседании редакции, что для большей эффективности и авторитета «Современные записки» должны не только касаться проблем миросозерцательного порядка время от времени, как они делали раньше, а должны связаться с *определенным* миросозерцанием. Это не значит, чтобы оно было узким. Наоборот, как и в политике, «фронт» и здесь должен быть достаточно широкий, — но не безграничный. Говоря конкретно: идеализм против материализма, понимая под первым все виды идеализма — от кантианства до положительной религиозности. Сотрудников не идеалистического толка не устранять от участия в журнале, — ни в коем случае! Только переводить их на другие рельсы, предлагать им — например, Ивановичу, — писать на политические, социальные, экономические темы, а не на общие, миросозерцательные!..

Это предложение меня весьма мало увлекало — по многим и разным соображениям. Прежде всего — принципиально: связанность политики с миросозерцанием как факт была несомненна. Но коллективная связанность и связанность обязательная были фактом отрицательным, по моему убеждению, — проявлением незрелости русской политической мысли. Что немарксист — не социалист и им не может быть, доказывали в течение десятилетий не одни только марксисты-большевики. И в том, что без православия или вне Церкви нет и не может быть подлинного и полноценного русского патриотизма, в этом были твердо убеждены не одни только мракобесы. И то, и другое должно было служить, как мне казалось, убедительным противопоказателем привычки связывать политические взгляды и, особенно, действия с одним определенным, тем или иным, миросозерцанием.

Не устраивала меня новая установка Фондаминского и потому, что среди членов редакции не было никого, кто мог бы авторитетно защищать определенное миросозерцание. Фондаминский сам не считал себя компетентным в этом. Естественно, эту функцию пришлось бы передоверить стоявшему — или стоявшим — вне редакции, со стороны. Было бы неизбежным и только справедливым, чтобы в таком случае фактические вдохновители и идейные руководители заняли

место тех, кто только формально и по инерции именовались редакторами.

— Хотим ли мы передать журнал более нас достойным и призванным руководить «Современными записками», как журналом миросозерцания? — допытывался я.

— Нет, нет и нет, — со всей решительностью возражал Фондаминский. — Только мы, сохраняя за собой общий контроль и руководство, только мы можем и должны продолжать то ответственное дело, которое с таким бесспорным успехом уже выполняли и которое можем выполнить еще лучше! ..

Эта идея о главенстве миросозерцания сделалась у Фондаминского излюбленной, idée fixe, своего рода «пунктиком», который служил для него ответом на все вопросы и сомнения. О чем бы он ни говорил в частных беседах или на публичных собраниях, он неизменно возвращался к тому, что без миросозерцания и до выработки миросозерцания ничего не дано и ничего не может выйти. Без этого ничего не может дать и обречена на бесплодие и всякая борьба с большевизмом. «Заглядывая в души живых людей», прислушиваясь к «звукам времени», «читая наши политические органы», — Фондаминский, по его признанию, «приходил в отчаяние: что может в них соблазнить противника?». Если «борьба направлена на свержение государственного строя, основанного на целостной вере и целостном миросозерцании», — одними политическими средствами добиться победы невозможно. «Нужно господствующему миросозерцанию противопоставить свое миросозерцание, вере, воодушевляющей современных властителей России, противопоставить свою веру и человеку, несущему власть, — нового человека». Необходимо прежде всего «увести души людей», а остальное приложится [1].

Политически Руднев не разделял позиции Фондаминского. Но идеалистически миросозерцательная установка для журнала и в журнале была ему дорога. Постепенно она стала и установкой «Современных записок». Мне удалось добиться лишь признания новой линии — *временной*, требующей про-

---

[1] Это разногласие повторилось через двадцать с лишним лет в политически чуждой «Современным запискам» среде. В «идеологическом органе» так называемых солидаристов «Воле» № 3 за 1949 г. появились статьи А. С. Светова и С. А. Левицкого, ученика Н. О. Лосского. Светов обвинил Левицкого в попытке заковать организацию в цепи «целостного миросозерцания», подменив конкретные политические цели мистикой поисков града Божия. На это Левицкий ответил: «Солидаризм, лишенный глубинного метафизического базиса, стал бы плоским и бескрылым. И солидаризм, лишенный религиозного оправдания, оторванный от божественной Истины, потерял бы, в конце концов, веру в свою человеческую правду».— См. «Крушение одной концепции» Юрия Слепухина «Новое русское слово» от 26.IV.55.

верки на опыте. «Попробуем, посмотрим, что получится», — соглашался Фондаминский.

Временный опыт затянулся, однако, на все время дальнейшего существования журнала. Мои указания на злоупотребление опытом, как и ссылка на связывавшую нас взаимными обязательствами конституцию «Современных записок» — заявление «От редакции», — оказывались безрезультатными.

Помню «редакционную сессию» в Грассе, где мы со Степунами гостили у Фондаминских и куда был вызван специально для общего обмена мнениями Руднев. Собрание было очень интересное, но далеко не в том духе, в каком проходили редакционные заседания «Современных записок» в предшествовавшие годы. Степун доказывал, что православие и православная Церковь, являясь одним из творцов русской истории и культуры, не могут не входить существеннейшим элементом и в творческое возрождение России. Тем самым им должно быть отведено почетное место и в «Современных записках». Руднев был того мнения, что раз мы народники и строим все, исходя из интересов, воли и чаяний народных, мы не можем не защищать на страницах нашего журнала православия, которому остался верен русский народ. Фондаминский был в данном случае менее категоричен и менее конкретен: он защищал права религиозного и христианского миросозерцания в общем виде.

Новая «генеральная линия» имела своим последствием не только усиление внимания «Современных записок» к вопросам миросозерцательного порядка. Поворот сопровождался и появлением в журнале авторов, чьи социально-политические взгляды были далеки, чужды и даже враждебны политической линии редакторов «Современных записок». Только этим можно было объяснить, почему Фондаминский, остававшийся в общем сторонником народнического решения земельного вопроса, так усиленно настаивал и, вопреки моему сопротивлению, настоял на помещении в журнале статьи К. И. Зайцева «О крепостном строе в России», в которой автор обнаружил «печать правовой неправды и экономической нецелесообразности в реформе 1861 г.» и восславил указ полоумного «мужичьего» царя Павла I о трехдневной барщине: в акте 5 апреля 1797 г. был «ключ к разрешению *всех вообще правовых отношений* между помещиком и крестьянином».

Только этим же влечением к близким по миросозерцательной установке авторам можно было объяснить и затянувшееся сотрудничество в «Современных записках» Г. В. Флоровского, даровитого эрудита, но весьма далекого не только мне, но и Фондаминскому и Рудневу по социально-политическим воззрениям. Особенно огорчительным было, что редакция согласилась напечатать в «Современных записках»

главы диссертации Флоровского о Герцене, — «нашем» Герцене, как подчеркивал с возмущением Авксентьев, когда я делился с ним своим огорчением. Я писал Степуну: «Явный мракобес — приводит в ужас своим воинствующим православием не только меня с Милюковым, но и Скобцову (в недалеком будущем монахиню Марию) с ничего не страшащимся Вышеславцевым... Флоровскому у нас место постольку, поскольку он разрушает то злое дело — евразийство, — которое сам же создавал. Вот был смысл — и единственный — приглашения его в «Современные записки» *по моей инициативе*. И вот почему я решительно не могу согласиться с тем, чтобы помещать его этюды о Герцене или Гершензоне» (23 июня 1928 г.).

Сейчас многое, конечно, представляется в ином свете, чем когда оно совершалось почти 30 лет назад. Но все же, если в «Современных записках» могла появиться статья П. М. Бицилли «Фашизм и душа Италии» (кн. 33) не без критики фашизма, но с определенным сочувствием к «человечному Муссолини» и уверениями, что «примитивное и голое насилие — не характерный признак фашизма и к «сущности» фашизма во всяком случае не относится», что «только падким на вербальные формулы невежеством большинства современных «руководителей общественного мнения» можно объяснить то, что к фашизму относятся серьезно... Фашисты убивали, но и сами шли на смерть» и т. д., — это опять-таки могло случиться, как мне казалось, только потому, что миросозерцательная солидарность «подсознательно» побуждала моих товарищей по редакции относиться снисходительнее к политическому разномыслию.

Отталкивался я и от письма Ф. А. Степуна из Германии накануне прихода к власти Гитлера. Оказывается, тот был прав во многом. «Правильно учтя метафизическую душу 20-го столетия, правильно почувствовав необходимость миросозерцательного обоснования задуманного политического выступления, правильно ощутив, наконец, развал всех безыдейных, духовно пустогрудых политических партий, Гитлер не осилил одного: создания подлинного миросозерцания. Не разгадав *объективной идеи* немецкой будущности, он подменил ее субъективной выдумкой» (кн. 49. С. 414).

Чем дальше во времени, тем больше стал я себя ощущать в редакции идейно и политически изолированным. Вместо активного участника в положительном проектировании очередной книжки журнала и руководстве «Современными записками» я все чаще оказывался на положении присяжного критика и оппонента редакционных предначертаний, которому только в редких случаях, с помощью Руднева, удавалось предотвращать появление в журнале неприемлемой статьи или политически чуждого автора. Авксентьев не был

чужд религиозности, глубоко переживал церковную службу и песнопения, но, как и я, стоял за полное «отделение» религии и, тем более, Церкви от политики, — в особенности в журнале. Он настолько осуждал новую линию, что не раз ставил вопрос:

— А не уйти ли нам с вами из журнала? .. В «Епархиальных ведомостях» нам нечего делать. Пусть Илья с Вадимом и ведут журнал, как считают нужным! ..

Но я находил, что уходить не следует, преждевременно, — всегда успеем. Когда станет совсем невтерпеж, — скажу.

Естественен вопрос: почему Авксентьев не был призван к участию в редакционном решении о повороте в сторону миросозерцательных нужд? Это произошло потому, что фактическое самоустранение Авксентьева от повседневной редакционной работы успело уже приобрести к этому времени характер узаконенного обычая, или «нормы», и предложение призвать его носило бы характер скрытого желания удвоить мой голос при редакционных решениях. Это было бы неблагородной борьбой за влияние в редакции и руководство журналом, что при наших личных отношениях совершенно исключалось. К тому же все описанное произошло не сразу, со вчера на сегодня, а *происходило* постепенно, было не одноактным переворотом, а — *поворотом* или процессом, который трудно приурочить к определенному моменту. Он растянулся на годы.

Я долго не сдавался и продолжал борьбу за свою правду. Очутившись в меньшинстве и почти в постоянной оппозиции, как редактор, я не был, однако, ограничен в своих высказываниях, как сотрудник. И я не переставал оспаривать в «Современных записках» и в других изданиях связанность политики с миросозерцанием. Оспаривал я и взгляды Бердяева, Булгакова, Франка, Карсавина и, чаще всего, — Степуна и Федотова.

Поворот «Современных записок» в сторону миросозерцаний все же не дал полного удовлетворения Фондаминскому и его ближайшим единомышленникам — Степуну и Федотову. И в 1931 г. они создали *свой* журнал — «Новый град», выходивший непериодически: за 8 лет вышли 14 книжек, когда по книжке в года (1931, 1936—1939 гг.), когда по две (1933—1934 гг.), а в 1932 г. даже три. В первой же книжке редакторы заявили: «Лишь христианство не эклектически, а целостно утверждает равенство целого и части, личности и мира, Церкви и человеческой души. Христианство бесконечно выше социальной правды». Своей задачей или «основной темой» журнал считал «слияние религиозности и социальности, христианства и политики».

И. Фондаминский, по обыкновению, отдался всей душой новому начинанию: организовал приходную часть и распространение, часто вручную, стал привлекать сотрудников, вербовать подписчиков, пропагандировать «Новый град». Последний по своему заданию не претендовал заменить собой «Современные записки»: у того и другого журнала, по мысли Фондаминского, сферы влияния и компетенции должны были быть строго размежеваны. «Современные записки» — «классические» и «академические» с более высокими требованиями предназначены обслуживать «элиту», а «Новый град» — один из многих журналов в ряду других изданий. Тем не менее многие из сотрудников «Современных записок» — и видных — были привлечены в «Новый град» и стали там писать то и о том, о чем писали в «Современных записках». И постепенно, может быть, незаметно для себя Фондаминский стал чувствовать *своим* журналом не «Современные записки», а «Новый град». В «Современных записках» он продолжал печатать свои «Пути России», но то немногое, что успевал писать на актуальные общественно-политические темы, он неизменно отдавал «Новому граду». Впрочем, если не считать одного некролога (памяти И. А. Рубановича) и двух рецензий (кн. 13, 30 и 59), кроме «Путей России» Фондаминский и раньше не напечатал в «Современных записках» ничего. Пять парадоксальнейших статей, помещенных им в «Новом граде», были превосходно написаны и были чрезвычайно интересны. Они подводили как бы итоги внутреннему «перевороту», происшедшему в авторе за предыдущие годы.

В. Руднев был солидарен с Фондаминским в признании необходимости связывать политику и общественность с миросозерцанием и религией. Они были близки друг другу и по содержанию их миросозерцания. Но очень разнились в социально-политических выводах, которые каждый делал из одного и того же миросозерцания. И Руднев, сколько его ни приглашали, не принял никакого участия в «Новом граде» — ни как организатор, ни как сотрудник. Больше того: он отнесся к этому начинанию сначала критически, а потом и резко отрицательно. Он дважды писал о «Новом граде» в «Современных записках»: в рецензии (кн. 48) и в «Политических заметках» (кн. 50).

Рецензент — первой книги «Нового града» — устанавливал прежде всего правомерность появления нового издания. «Персональная комбинация участников „Нового града", в числе которых имеется один из редакторов „Современных записок" и ряд постоянных сотрудников нашего журнала, подала даже повод к пущенному в печати слуху о якобы происшедшем в „Современных записках" редакционном „расколе" и о „выделении" в новый журнал нескольких его

постоянных сотрудников. Как будто не естественно само по себе право любой группы участников нашего коалиционного журнала, продолжая сотрудничать в нем, в то же время развивать дорогие ей идеи с большей полнотой и свободой в своем особом издании». Руднев склонен был симпатизировать новому начинанию. «Религиозное обоснование „трудового“ идеала — вот что существенно и, с точки зрения пишущего эти строки, только к выгоде для нового течения (! — *М. В.*) отличало бы последнее. Это была бы своевременная попытка преодолеть духовный разрыв, издавна существующий между русским социалистическим движением, традиционно безрелигиозным, и русским православием, традиционно чуждым социальным исканиям современности».

Одобряя книжку журнала за то, что она «живо и содержательно» составлена, Руднев сосредоточил свою критику на неприемлемых для него статьях Степуна и Бердяева. Его критика повторяла буквально многое из того, что и я писал. «Не так давно в „Современных записках“ Ф. Степун еще весьма критически относился к противоречиям бердяевского миросозерцания, пытаясь как-то различать „хорошего“ Н. А. Бердяева от развиваемой им дурной, соблазнительной „бердяевщины“. Времена меняются, и теперь Ф. Степун, уже вместе с Н. Бердяевым, недавно в „Утверждениях“, а сейчас в „Новом граде“ ведут одну и ту же соблазнительную политическую линию». Они оба пристрастно суровы в обличении действительных и мнимых грехов капитализма и рядом — нарочитая «объективность», непонятный оптимизм, изумительное благодушие в суждениях о вопиющей действительности советской».

В. Руднев утверждал: «По различному отношению к принципу *свободы, демократии*, а не к абсолютной христианской истине или к интегральному социализму, оказываются сейчас люди в разных общественных лагерях, а нередко и по разные стороны баррикады. Общественные позиции Бердяева и Степуна в „Новом граде“ (будем надеяться, что не позиции самого „Нового града“) также определяются не их социальным радикализмом, а кроющимся под ним отрицательным отношением к эмпирической демократии и свободе».

Ф. Степун убежден, что в «Советской России рождается образ нового человека, России предстоит первой выйти на новый путь духовного, культурного и социального творчества и т. п. Здесь, в преувеличенной оценке жизненности советского строя, к Степуну оказывается близок И. Бунаков. Он... достоверно знает, что еще с самого начала большевики не заговорщицки захватили власть, а были вынесены к ней народной стихией, и что их власть до сих пор опирается на миллионы душ, слепо верующих в святость коммунистического учения». «Но что поистине становится долее непере-

носным, так это постоянное стремление Бердяева и Степуна приписывать большевизму тоже «религиозную» природу: какая пустая игра слов, какая вредная схоластика!.. Небольшое словесное ухищрение — и большевики становятся «*религиозно* утверждающими *атеистическую* цивилизацию» (Степун)».

И в заключение: «Должны признаться, перед ужасом всего совершающегося в России (это был 1931 г. со сплошной насильственной коллективизацией и голодом! — *М. В.*), нам трудно без очень тяжелого и горького чувства читать эти измышления об энтузиазме и религиозном пафосе у палачей, о неслыханной свободе коллективного творчества у обращенного в рабство народа».

Еще резче отозвался Руднев о «Новом граде» годом позже. «Новый град», вопреки ожиданиям, «оказался как бы общественно изолированным. Оттолкнув от себя часть возможных друзей в среде демократической, приобретя сомнительной ценности союзников в лице всяких национал-большевиков, младороссов и сменовеховцев, «Новый град» объединил в отрицательном отношении к себе чуть ли не подавляющее большинство политически оформленной эмиграции. В чем же дело?»

Ответ: соблазнительное отношение к результатам и перспективам большевистского опыта в России и столь же соблазнительное отношение к основам «буржуазной» культуры — к свободе, демократии, правовому государству. Едва ли не главный свой огонь Руднев сосредоточил на Бунакове-Фондаминском: за его увлечение «пореволюционной» молодежью «*не потому, что она права*, а потому, что она *обращена к новой жизни*»; за недооценку «буржуазной» формальной свободы и капиталистического мира, который «умер в душах людей»; за исторически оправдываемое отношение к советской власти; за утверждение, будто «*сам русский народ в своем безумном порыве к новой жизни поставил советскую власть над собой*» — это *он* в почти безумном порыве к будущему идет по пути ошибок, насилия и преступлений»; за его умозаключение от факта длительности советского режима к утверждению, что душа русского народа с большевиками; что «строящая свои пирамиды советская власть не чужая русскому народу»; и т. д. И Руднев задавал риторический вопрос: «Где, в какой другой стране могла бы для демократа возникнуть хотя бы тень сомнения в антинародном характере власти, ведущей непрерывную и беспощадную борьбу с лишенным всяких гражданских и политических прав населением?» Он усматривал в позиции руководителей «Нового града» «идейное сползание и сменовеховство» [1].

---

[1] В упоминавшейся уже статье в «Опытах» № 7 Ф. Степун рискует утверждать, что к «движению (? — *М. В.*) «Нового града» примкнул

Критике Рудневым «Нового града» я, конечно, весьма сочувствовал и почти полностью разделял ее. Но сам я избегал спорить с Бунаковым-Фондаминским на страницах нашего общего журнала. Я делал это на публичных собраниях, где доказывал, что «Бог и Советы» немногим соблазнительнее младоросского лозунга — «Царь и Советы». Делал я это и на столбцах еженедельных «Дней» А. Ф. Керенского, в редакцию которых входил, и в «Последних новостях» П. Н. Милюкова. Здесь можно было чувствовать себя свободнее: в «Днях» я оказывался приблизительно в том же положении по отношению к «Современным запискам», в каком был Фондаминский в «Новом граде».

Не повторяя того, о чем раньше писал и спорил со Степуном и Федотовым на страницах «Современных записок», я доказывал необходимость и возможность борьбы с тиранией *без* того и *до* того, как выработано «целостное миросозерцание». Миросозерцания вырабатываются «иногда веками», этот процесс идет беспрестанно и «только в момент упадка духа и растерянности или духовной реакции выработка целостного миросозерцания выдвигается в качестве самостоятельной и предварительной программы общественной действительности и — фактически — *вместо* нее». Отстаивая демократию против «неодемократии» новоградцев, я подчеркивал, что «Новый град» не столь уж нов и не так уж связан с «пореволюционной» кризисной эпохой. О выработке целостного миросозерцания «русские мальчики» не переставали беседовать и во времена Станкевича и Герцена, и до всякой революции, когда властителями дум и душ были Мережковский и Блок.

Мессиански горделивые утверждения Степуна возвращают нас к неоправдавшимся пророчествам Достоевского о «русском социализме» (тот же «новый град»), который осуществится, «когда в Европе от тесноты будет коммунизм, а у нас будет простор и ширь». Как известно, ничего этого не произошло, а случилось как раз обратное: коммунизм во-

---

«с некоторыми оговорками и Руднев», который будто бы только «отчасти отрицал» новоградскую «политическую платформу.». Выше мною приведены эти «оговорки» — не все,— и, думается, ближе к истине было бы как раз обратное утверждение: Руднев решительно отталкивался от «Нового града», и чем дальше, тем резче,— с тою единственной «оговоркой», что «религиозное обоснование «трудового идеала» казалось Рудневу, как и новоградцам, «существенным» и вызывало в нем сочувствие.

Читая то, что Степун пишет сейчас в «Опытах» о Рудневе и Федотове, я спрашивал себя, неужели и Степун разделяет взгляд редактора «Опытов», утверждающего, что «легенды «опровергаются» легендами же, а не замечаниями фактического порядка и уж, конечно, (! — *М. В.*) не общественно-политическими высказываниями»?.. Факты и высказывания Г. П. Федотова и В. В. Руднева никак не соответствуют творимой Степуном легенде.

дворился на русских просторах, «птица Каган» Достоевского прилетела не в Европу, а в Россию, и у нас, а не у них выстроился хрустальный дворец». Призывы «Нового града», повторяя старые зады, питают прежние иллюзии (О людях «Нового Града». — «Дни». 22.V.32).

Посвятил я специальную статью «Орфей в аду» («Дни». 21.XI.31) и своему другу Фондаминскому. В ней я доказывал прикладной характер его проповеди «целостного миросозерцания», как необходимой предпосылки успешной борьбы с тиранией большевиков. «В правду капитализма никто больше не верит, ни один человек не пойдет умирать за него», — утверждал Бунаков, и ему в унисон Федотов: «Правду о коммунизме не станут слушать от защитников капитализма». И «трудовой строй», и антикапиталистическое «целостное миросозерцание» появились со специальной целью — для «овладения людскими душами». Они выполняют функцию «крючка, которым зацепляют и ухватывают души» или «наживки, которую клюют ищущие и алчущие, в потемках бредущие». А как быть, если возникает внутренний конфликт между тем, что составляет правду-истину и правду-справедливость, и возможностью уловить души, эмигрантские и советские?

И. Фондаминский считал, что «неправы те течения, которые рассчитывают на эволюцию власти и страны — на победу жизни над догмой». Но «еще более бесплодны, если не вредны, те течения, которые строят свою тактику на «активизме» — революционной борьбе с властью. Власть, опирающуюся на могущественные кадры воодушевленных верой в свое учение людей, они хотят взорвать бомбами». И те, и другие, по Фондаминскому, — *материалисты*: рассчитывают на материальные сдвиги и материальные формы борьбы. «Они не учитывают силы идей, хотя бы и фанатически извращенных; они не знают цены духа, хотя бы и злого».

Совершенно очевидно было, что идеализм Фондаминского страдал такою же односторонностью, только в другом направлении: материей была для него «надстройка», а не «бытие» — производное от «сознания» и «духа». Думать, что «целостным миросозерцанием» можно «взорвать большевистские кадры», было бы пределом политического благодушия. «Что сказали бы о полководце, который предложил бы увести потерпевшие поражение войска не для того, чтобы их перестроить и заново вооружить, а чтобы выждать, пока изобретут новые более действенные средства сокрушения противника: пока откроют «лучи смерти», придумают сверхтанки и т. п.», — спрашивал я (о расщеплении атома, сцеплении атомной энергии и управляемых снарядах в начале 30-х гг. еще не было речи).

«Новоградцы» утверждали устами Степуна, что «никаких путей, кроме наших, нет». «Новый град» был задуман как миросозерцательное «единство», но с самого же начала явил собою множество или «коалицию» разных и часто противоречивых взглядов. «Новый град» хотел быть созвучным эпохе, современным, на деле же оказался злободневным — играл роль чувствительной пластинки для уловления болезненной эмигрантской настроенности. Единственное, что в утверждениях «новоградцев» и, главным образом, Бунакова оказалось правильным, это то, что крепостная зависимость и принудительный рабский труд оказались и в 20-м веке «рентабельными» и производительными.

Ф. Степун в «Новом граде» продолжал доказывать, что большевизм не только «злостный поджог и страшный пожар в России», но и светлая «утренняя заря» «нового дня истории»; что большевизм «не только ложь, но, в известном смысле, и истина» и т. п. Отбиваясь от наседавших на него критиков и оппонентов, Степун признал, что свои новоградские позиции он «развивал еще в „Мыслях о России“ в „Современных записках“». Он был, увы, совершенно прав. Это признание давало мне лично удовлетворение — я предупреждал и обличал уже тогда, когда многим из будущих противников «Нового града» «Мысли» Степуна представлялись лишь блестящим и политически проницательным анализом существа большевизма и большевиков. Но удовлетворение это служило, конечно, слабым утешением в разброде и разноголосице, которые проявились в «Современных записках».

Спор с Ф. А. Степуном продолжался у нас и в частной переписке. Здесь спор принимал иногда более непринужденные формы. Приведу несколько выдержек из сохранившихся у меня копий писем к нему.

Я писал 23.VI.28: «Ни в какой мере не отрицаю ценности и важности миросозерцания и необходимости перевоспитать современную демократию. Но я отрицаю a limine, принципиально и навсегда *всякую*, явную и скрытую, узкую или широкую и свободную теократию или — еще шире — идеократию. В этом пафос моей борьбы за демократию, за свободу против гнета. Ибо исторически — вначале был гнет духовный, и духовное насилие является логическим prius всякого насилия». И еще: «Не думаю, чтобы в публичном споре главное — то, что спорщик думает или говорит. Существеннее то, что следует из его слов и утверждений, что с объективной необходимостью вытекает из его утверждений. И не будет нарушением требований „честного поединка“, если я попробую доказать, что называете вы себя не теократом, а ведете к теократии, вся ваша конструкция предполагает теократию, — конечно, свободную, конечно, в широком смысле, но все же теократию».

«Уберечь, если не от распада, то от надлома наше общее дело, как Вы пишите, — мне представляется сейчас уже невозможным, ибо „надлом" уже произошел. По крайней мере, я в редакции еле-еле усиживаю. Авксентьеву и совсем невтерпеж. Тот опыт идеалистического, включая и религиозный, фронта, который в *качестве опыта* был начат „Современными записками", на мой внутренний слух, явно не удался. Не мы кого-то объединили, а нас — вернее, Вас, И. И. и В. В. — повели, разложив при этом редакцию. Ведь смешно и самоуверенно было бы сказать, что вы чему-то научили или в чем-либо просветили Бердяева, Зеньковского и др. Сказать же — и доказать — обратное было бы совсем легко».

«Суть в том, что „С. з." перестали быть *прежде всего* общественно-политическим журналом, каким они были задуманы и как значится и по сей день на обложке, а стали или хотят стать журналом миросозерцания. За такое дело я не брался, когда брался журнал редактировать. Не брались, утверждаю, и мои ближайшие друзья и товарищи по журналу. Аппетит пришел после, в процессе общений и невольного подчинения миросозерцательно-религиозным влияниям со стороны».

В письме 7.1.33 г. я отвечал Степуну: «Конечно, по сравнению с величиной происходящих в мире событий и драмой, разыгрывающейся в СССР, наше эмигрантское бытие, со всеми нашими идеологическими и политическими спорами, — буря в стакане воды, никчемная и не стоящая, может быть, даже потраченных нервов. Но если рассматривать эмигрантскую жизнь, как некую самоценность, и брать наши разногласия по существу, то я должен сказать, что Вы глубоко не правы в том, что как бы отрицаете глубину наших с Вами — а теперь и с Илюшей — расхождений. Чтó не из любви к полемике мне пришлось говорить по Вашему адресу, а потом по адресу Федотова, то теперь приходится, к сожалению, повторять в значительной мере по адресу Бунакова. И если раньше одним виделось в моих возражениях некое староверчество профессионального политика и безбожника, то теперь повторяют и другие с различной мотивировкой, — не староверы и не безбожники. Когда Керенский в „Днях" или Руднев в „Современных записках" полемизируют с „Новым градом", они, не замечая этого, повторяют многие из моих аргументов, направленных против Ваших „Мыслей о России" и „переосмысливания" русской революции. И я снова получаю подтверждение своего исходного тезиса, что единство миросозерцания ни от чего не спасает и ничего не обеспечивает».

В заключение я напоминал Степуну, как он меня «соблазнял» примкнуть к будущим «новоградцам»: «Илюша паровоз надежный, я свисток громкий, а других путей, кроме

наших — нет. И Ваша судьба или свистеть вместе с нами или — на запасный путь: в колеса ржа въестся, вдоль рельс лопух пойдет»[1]. Я уже совсем примирился было с уготованной мне «судьбой», как неожиданно оказалось, что Илюша с Вами и Федотовым устроили свой собственный подъездной путь, — на мой взгляд, совсем узкоколейный, — «Новый град». Вашу затею я считаю ни в какой мере не удавшейся, — чтобы не сказать резче. Но вы все почему-то продолжаете себя чувствовать, если не победителями, то героями. При столь разных самоощущениях, — о единстве наших взглядов и оценок говорить не приходится и лучшее, что мы можем сделать, как мне кажется, это разделить личные *добрые* отношения от общественно *несогласуемых*. Обнимаю Вас» и т. д.

Разложение былого единства редакции «Современных записок» на составлявшие ее элементы не было вызвано «Новым градом», — этот последний явился следствием уже состоявшегося «надлома». И на этом процесс не остановился. «Современные записки» уже давно материально сводили концы с концами с крайним напряжением. Журнал выходил все реже, все с большими перерывами. В 1936 г. я отказался от содержания, которое получал от журнала, и вместе с тем от всех технических функций по журналу. Руднев перенял их и стал единоличным администратором «Современных записок», а потом — фактически — и единоличным редактором: еще по консультации со мной (Фондаминский находился на юге, в Грассе), а потом и без предварительного осведомления меня о своих планах и решениях.

Это тоже случилось не сразу, а в результате известного процесса. Припоминаю, как Руднев принес мне рукопись — «Обрывки воспоминаний» Е. Чирикова. Я высказался в том смысле, что печатать их не следует. Тем не менее при выходе очередной 60-й книги я, к своему удивлению, нашел в ней отвергнутые мною «Обрывки». С 62-й книги в «Современных записках» стали систематически появляться иллюстрации, которые раньше там появлялись в качестве редкого исключения. Все иллюстрации и портреты были очень интересны, но я считал, что журнал, который еле-еле справляется с насущными и обязательными для него задачами, не может позволить себе роскоши воспроизведения рисунков и фотогра-

---

[1] Приблизительно к этому времени относится и эпиграмма неизвестного автора:

Эсером чтобы быть исправным,
Быть надо непременно православным.
Иудеям всем возможность та ж дана:
Им в крестные приставят Степуна.

фий, хотя бы и очень ценных. Эти снимки я, как всякий рядовой читатель «Современных записок», видел лишь по выходе очередной книги. Когда я изложил Рудневу свой взгляд, он внимательно меня выслушал, но продолжал действовать по-своему.

За несколько лет до этого, точно предвидя будущее, Руднев, как я уже упоминал, писал мне: «Каждое несогласие между нами двумя приводит *автоматически* к параличу по каждому данному вопросу. Когда же „данных вопросов" получится слишком много, неизбежно должен наступить паралич журнала». Паралича журнала не произошло, но только потому, что Руднев стал по своему усмотрению — на свой страх и риск — разрешать наши «несогласия».

Для малой истории, может быть, интересен и более ранний случай, когда Руднев передал редакции рассказ, прибавив, что автор связал его обязательством не называть его имени. Мы с Фондаминским не стали настаивать — получить рукопись не значило еще, что рукопись будет напечатана. Однако, когда рассказ «Русь-Матушка» был редакцией одобрен и появился в 33-й книге, я обратился к Рудневу с вопросом: кого же мы все-таки печатаем под именем С. Сокол-Слободской? Руднев отказался назвать автора, сославшись на то, что он ведь предупреждал, что связан словом.

— Даже в отношении к членам редакции и *после* того, как рассказ будет напечатан?..

— Да.

— Я бы такого слова не дал. Секрет был доверен тебе, действовавшему по поручению редакции, как ее представитель, а он, как известно, не может иметь больше прав, чем тот, кого он представляет!..

Юридический аргумент на Руднева не подействовал и переубедить его не удалось: он остался при своем мнении. Так, кроме самого автора, если он жив, никто в мире и не может сказать, кто написал «Русь-Матушку».

В конце 1936 г. Авксентьев получил неожиданно письмо из Шанхая от старого приятеля эсера, которого знал еще по первой эмиграции в Париже. Письмо выражало «Современным запискам» полное сочувствие от группы шанхайцев и попутно высказывало пожелание, чтобы журнал стал менее отвлеченным, более актуальным и больше внимания уделял, в частности, Дальнему Востоку и его проблемам. Для осуществления этой задачи автор письма выражал готовность помочь и средствами.

В реакции друзей-читателей на чрезмерную отвлеченность «Современных записок», которые могут стать журналом для немногих, нам послышался «голос из народа». И, обсудив всесторонне предложение, мы решили его принять в том

смысле, что *рядом* с «Современными записками» станем издавать другой журнал, более доступный по форме и удовлетворяющий указанным целям. Сдержаннее и скептичнее других отнесся к предложению Руднев: он опасался, как бы новый журнал не отбил у «Современных записок» читателей и сотрудников. Все же и Руднев не считал возможным по морально-культурным соображениям отвергнуть предложение. После обмена письмами Авксентьева с Шанхаем в половине 1937 г., на 17-м году существования «Современных записок», возник в том же Париже под редакцией тех же лиц, которые значились на титульном листе «Современных записок», новый журнал — «Русские записки». Только в отличие от «Современных записок» на «Русских записках» значилось: «Париж-Шанхай».

За организацию и технику нового журнала взялся все тот же неутомимый Фондаминский, которому в этом помогал Владимир Михайлович Зензинов. Проект редакциононго заявления Фондаминский негласно попросил составить Федотова, которого считал непревзойденным стилистом. Тот, действительно, отлично справился с задачей, и мы единодушно одобрили текст его заявления. «Русские записки» обещали уделять больше внимания «провинции» — Шанхаю и другим центрам русского рассеяния — и подчеркивали отказ от «партийности», обращенность к «миру и России» и допущение «и чисто гуманистической, и религиозной защиты свободы и права».

Вышли три книжки «Русских записок», в которых появились и новые авторы, не писавшие в «Современных записках». Однако, большинство составляли сотрудники «Современных записок», которые в новом журнале старались писать на более доступные темы, популярнее и конкретнее. К тому времени приехал в Париж инициатор-издатель «Русских записок», отказавшийся поставить свое имя, но отнюдь не отказавшийся от суровой критики того, что получилось. Не без основания нашел он, что «Русские записки» во многих отношениях дублируют «Современные записки» — стали как бы «Современными записками» второго порядка или журналом «для бедных», для читателей меньшей образованности и культуры. Этим не оправдывалось, по его мнению, издание второго журнала.

Он сделал, поэтому, предложение прекратить издание «Русских записок», а всю энергию и средства сосредоточить на «Современных записках» с тем, чтобы придать им более актуальный характер и обеспечить более регулярный выпуск. Только это, по мнению нашего друга из Шанхая, могло бы увеличить тираж журнала и, если не полностью привести его к самоокупаемости, то в значительной мере приблизить к этой заветной цели. После ряда новых обсуждений в заседании

редакции с участием автора предложения и в его отсутствии и в частых беседах отдельных членов редакции между собой, выяснилось, что Руднев относится к новому плану отрицательно. Он опасался, как бы поддержка, неопределенная во времени и в размерах, не привела «Современные записки» к потере той помощи, которая, хоть и в убывающих размерах, все же продолжала поступать из Праги. Поэтому он настаивал на таких формальных гарантиях будущего существования «Современных записок», которые другим членам редакции представлялись чрезмерными, не вытекавшими из сделанного предложения. Оно не преследовало никаких материальных выгод и его предстояло либо принять, либо отвергнуть.

Втроем — без Руднева — собрались мы у Авксентьева, чтобы обсудить, какой же дать ответ от имени редакции. Авксентьев предложил переговорить с Рудневым и дать ему понять, что если он настаивает на своем взгляде, которого большинство редакции не разделяет, обязанности секретаря «Современных записок» должен будет взять кто-либо другой. Я поддержал Авксентьева. Фондаминский же заявил, что поставить Руднева перед тем, что ему придется уступить обязанности секретаря, равносильно нанесению удара, от которого он может и не оправиться. На это он, Фондаминский, отказывается идти, хотя по существу вполне с нами согласен.

Предложение, таким образом, отпало. Но это не обескуражило инициатора — только направило его мысль в другую сторону. План принял иные очертания.

Навестив предварительно П. Н. Милюкова, наш приятель предложил Авксентьеву, Фондаминскому и мне сделать попытку рядом с «Современными записками» создать периодически выходящий и более актуальный журнал на расширенной редакционной базе: включить в редакцию Милюкова, который тогда в некоторых отношениях был даже «левее» нас. Все вместе отправились мы к Милюкову, который без долгих споров согласился войти в коалиционную редакцию. Но когда дело дошло до конкретного оформления согласия, Милюков дал понять, что позиция Бунакова-Фондаминского ему во многом чужда и он предлагает составить двучленную редакцию — из него и меня.

Я искренне поблагодарил за лестное предложение, но решительно его отклонил: слишком очевидно было фальшивое положение, в котором я очутился бы как соредактор Милюкова, — фактически при Милюкове. Я предложил вместо этого стать секретарем журнала при Милюкове, единоличном редакторе. Так создался ежемесячник, унаследовавший прежнее название — «Русские записки» — и выходивший регу-

лярно в конце каждого месяца с марта 1938-го по сентябрь 1939-го, т. е. до самой мировой войны.

Говоря о «Современных записках», я не мог не коснуться «Русских записок» — может быть, недостаточно подробно, а быть может, с излишними подробностями, — потому что создание «Русских записок» и последующая их трансформация оказались звеньями в цепи событий, приведших к моему уходу из «Современных записок». Формально рассуждая, — как редактирование «Нового града» ни в какой мере не опорачивало и не ограничивало прав Фондаминского в редактировании «Современных записок», так и мое участие в «Русских записках», в качестве лишь секретаря, не могло меня лишить прав редактора в «Современных записках». Я продолжал писать в «Современных записках», писал и в «Русских записках», — правда, немного: всего две статьи на случайные темы, не считая рецензий. Но от редактирования «Современных записок» я оказался фактически устранен. Своего отношения к этому я не скрывал, и 23 мая 1938 г. адресовал письмо «В редакцию „Современных записок“», в котором отказывался примириться с создавшимся положением.

Там говорилось между прочим: «Не стану возвращаться к истории вопроса о том, как дошли „Современные записки“, и мы с ними, до жизни такой. Факт тот, что каждая вновь выходящая книга журнала перестала быть источником радости и удовлетворения редакторов, как, казалось, должно было быть и было в прежние 15—16 лет существования журнала: она стала поводом к взаимным нападкам... Из серии моих претензий коснусь лишь одной.

Не раз отмечал я недопустимость, с моей точки зрения, того, чтобы фактически единоличный редактор *свои* примечания и вводные записки или предисловия к помещаемому материалу подписывал „Редакция“, которая ни в какой мере о том не бывала предупреждена. Отмеченное мною было столь очевидно, что подпись „Ред.“ под тем, чего она в глаза не видала, исчезла, зато ее заменила подпись „В. Руднев“ или инициалы „В. Р.“ Самое местоположение таких заметок свидетельствовало о том, что они исходят от редакции или замещающего и персонифицирующего ее лица. На этом основании я весьма энергично протестовал против такого приема тотчас же по выходе соответствующей книги (64-й).

В. В. возражал: если он не вправе подписывать свои заметки „Редакция“ или собственным именем, — то его тем самым лишают возможности вообще что-либо писать в журнале, так как самостоятельных статей он в нынешних условиях писать не в состоянии, а может писать лишь попутно и „по поводу“. Я отвечал, что В. В. может писать, *как и другие*, что хочет и сколько хочет, но не в той форме, которая вводит в заблуждение относительно его заметок и предисло-

вий: личное мнение *одного из редакторов* выдает за мнение *редакции.*

Теперь новая 66-я книга повторила ту же практику. Я напоминал также, что все трое редакторов уже в течение двух лет считали необходимым в целях экономии сократить объем журнала до 30 и даже 25 печатных листов, между тем объем не только не сокращается, а продолжает украшаться иллюстрациями. Со стороны все это может казаться малосущественным и мелочным, но оно иллюстрирует „климат" и „режим", создавшийся в „Современных записках", объективно пагубный и субъективно оскорбительный».

И в заключение: «Не скрою, что одним из мотивов, усиливших мое желание ликвидировать формально и фактически либо единоначалие в „Современных записках", либо мою причастность к журналу, явилось дошедшее до меня мнение, что занятие мною должности секретаря в „милюковских" „Русских записках" связывает свободу моих действий в созданных и мною „эсеровских" „Современных записках". Я держусь противоположного мнения... Если я „ушел" в „Русские записки", это произошло отчасти потому, что до того меня ушли из „Современных записок"... Мы все-таки не колодники, связанные раз навсегда общими цепями. Единства редакция давно уже собой не представляет, превратившись в простую сумму отдельных единиц. Неужели мы не сумеем разумно, без излишних обид и неприятностей, найти более или менее сносный выход из положения? Я готов принять *любой*, лишь бы он вывел меня из фальшивого положения, при котором я, вроде гоголевского персонажа, родившегося „как бы в браке", формально числюсь „как бы" редактором, перестав им быть фактически уже три года».

Письмо не имело практических последствий. Я продолжал числиться редактором «Современных записок», и ко мне по обыкновению продолжали поступать просьбы, пожелания, претензии, которые я не только был бессилен удовлетворить, но и не мог другим объяснить, почему я не в состоянии это сделать. Пока можно было, я отмалчивался, чтобы не выносить сора из редакционной «избы». Но постепенно единоличное редактирование «Современных записок» перестало быть секретом и, не желая нести номинальную ответственность, я попросил Руднева снять мое имя с журнала. Последняя моя статья появилась в 68-й книге «Современных записок» в 1939 г. — и впервые с титульного листа журнала исчезли имена редакторов. Все четыре имени были сняты для того, чтобы не подчеркивать происшедшего раскола, совершенно неожиданно для меня обернувшегося отколом.

Я находился в полной уверенности, что вслед за мной «автоматически» уйдет из «Современных записок» и Авксентьев. К моему изумлению, этого не произошло. В 69-й

книге «Современных записок» появилась статья Авксентьева «Фронт мира и Россия». Сохранившаяся копия письма к Авксентьеву от 21.VI. 39 передает непосредственную мою реакцию на этот сюрприз.

«Прошу вперед меня извинить за письменное обращение. Но так легче и... проще», — писал я. «Был крайне поражен сегодня утром, когда совершенно случайно из Ваших слов узнал, что Вы участвуете в редакции „Современных записок". Мне вспомнились Ваши слова, месяца 2—3 тому назад, что Вы не заявили в редакции о формальном своем выходе, но попросили снять с титульного листа все имена и *фактически не принимаете и не будете принимать участия в редакции.* Что же, произошло недоразумение?

Вы понимаете, конечно, что это решительно меняет все положение: отнимает у (моего) выхода из редакции значение идеологического несогласия и морально-политического и организационного протеста и превращает его в проявление личного каприза или дурного и неуживчивого характера. Я нисколько не раскаиваюсь в своем уходе и ни в какой мере не хочу Вас и сейчас, как не хотел и раньше, подстрекнуть к выходу из редакции. Я только хотел бы быть точно осведомленным о сложившемся положении.

С этой целью прошу Вас либо разъяснить мне недоумение, если оно плод недоразумения, — ибо Ваше сегодняшнее пояснение, что заседание редакции было всего один раз и месяц тому назад, существа дела, конечно, не меняет; либо — принять выражение глубокого моего огорчения по поводу того, что мне пришлось оказаться в чрезвычайно трудном и неприятном положении, как я убежден, не по собственной вине... Вы понимаете, почему я предпочел Вам об этом написать, а не сказать, поскольку вовсе умолчать я не считал себя вправе: затаить свои чувства было бы противно и нашим личным отношениям, и всему стилю моей и Вашей жизни, ибо и я, и Вы одинаково не разделяем взгляда, что иной раз и ложь может быть во спасение».

Две последние книги «Современных записок» стали, таким образом, и формально делом редакторских рук одного Руднева. Это ни в какой мере не умаляет их достоинства. Они *другие* только в том смысле, что являются всецело плодом единоличного усмотрения редактора, а не коллегии. Руднев развил совершенно поразительную энергию в борьбе за продление существования «Современных записок» и их усовершенствование, как он его понимал. Неутомимо выискивал он средства повсюду и отовсюду — не исключая Америки — для оплаты не собственного своего труда, а только типографии и гонорара авторам. Он привлекал к журналу новых со-

трудников, ночи проводил за правкой рукописей и корректур, прибегал к помощи советников со стороны.

Последняя, 70-я книга вышла в начале 1940 г., незадолго до вторжения Гитлера во Францию. Пережив всего на несколько месяцев «Русские записки» и «Новый град», «Современные записки» после 20-летнего существования приказали долго жить — вместе с другими культурными ценностями, русскими, французскими и иными.

* * *

Мои воспоминания о «Современных записках», конечно, не полны. Кое-что не договорено. Кое-что, вероятно, неточно. Могли «вкрасться» и ошибки. Воспоминания, несомненно, субъективны. Может быть, и односторонни: всегда легче говорить о чужих недостатках, нежели о собственных.

В отклике на одну из моих статей Ф. Степун нашел недавно, что она — «в сущности, слово присяжного поверенного в защиту своего клиента, главным образом, редакции «Современных записок», «Русских записок», Милюкова, себя самого, т. е. поколения отцов». В устах «духоведа» «присяжный поверенный» звучит как некое — «сверху вниз» и осуждение. Но почему защита почтенных «клиентов» и самого себя зазорна?.. Нашему поколению слишком часто приходилось выступать в качестве avocats des causes perdues — защищать проигрышные дела, чтобы защита «Современных записок» не давала удовлетворения «присяжному поверенному». Прибавлю, что эту защиту я считаю своим личным и общественным долгом и — привилегией.

Когда я вспоминал и писал, я, естественно, воскрешал прошлое в себе и чрез себя, как я его ощущал и переживал. Двадцатилетие 1920—1940 гг., между двух войн, связанное с изданием «Современных записок», составляет, если не единство, то все же некое целое в истории русской политической эмиграции. Оно составляет некое целое и в моей личной жизни.

За долгую жизнь, которая и географически протекала под разными долготами и широтами, и политически проявлялась в самых разнообразных условиях, — работа в «Современных записках» давала мне едва ли не наибольшее удовлетворение. В этом ощущении заброшенного в эмиграцию было, может быть, нечто схожее с описанным А. В. Пешехоновым в «Почему я не эмигрировал?» — перед тем как его потянуло обратно из эмиграции. В первые годы советской жизни, вспоминал Пешехонов, физический труд и хозяйственные заботы «ослабляли гнетущее ощущение ее пустоты и бесплодности. Сходишь, бывало, за водой... и чувствуешь удовлетворение: вот она — вода-то! точно также, наколешь

дрова — и радуешься: результаты очевидны. Не так, как на советской службе, где работаешь-работаешь, а все без толку» («Современные записки», кн. 21).

Вот они, тома «Современных записок» — овеществленная энергия, страсти, творчество, часто черный и неблагодарный труд. Что бы ни случилось, — а что только уже не случалось, — *этого* никто не отнимет, не вычеркнет из личной жизни, как из жизни русской эмиграции большевистско-коммунистического периода русской истории. Так или иначе причастные к «Современным запискам» не только жили-были, но кое-что и делали в эмиграции.

«Когда нас спросят, в чем оправдание вашего пребывания в эмиграции, мы укажем на тома „Современных записок"», — любил говорить мой друг и пестун журнала, несколько преувеличивавший его значение, Фондаминский-Бунаков.

Римлянам принадлежит изречение: конец венчает дело. Вряд ли это справедливо. Конец может быть и неудачным, даже трагичным, но внутренняя ценность и значение «делания» этим не упраздняются. Наше дело — «Современные записки» — кончилось разногласием и расхождением. Следует ли отсюда, что наше «дерзновение» надо признать неудавшимся?

Как оно было задумано, оно не удалось. Чувства и мысли, которые владели нами, когда мы приступали к делу, через 20 лет оказались иными. Но такова ведь судьба всего существующего. Где найти полноту совершенства или удачи? Н. А. Бердяев считал, что вся новая история «не удалась». Если это так, то судьба «Современных записок» созвучна новому времени — в стиле и духе эпохи. Тем не менее, несмотря на все превратности судьбы, личные разочарования и неудачи, «Современные записки» все же в значительной мере «удались».

Когда я вспоминал и писал о «Современных записках», я постоянно имел в виду и своих ушедших друзей. Я не писал их некролога и не обязан был, поэтому, ни приукрашать, ни говорить о покойных «одно хорошее». И какой смысл имело бы умолчание о разногласиях — идеологических прежде всего? Ведь и ушедшие оспаривали один другого. Да и могло ли быть иначе в живом деле на протяжении как ни как двух десятилетий?

Оставаясь «адвокатом», я отказался быть панегиристом журнала и тех, кто его создали, не только потому, что считал, как и некоторые из моих друзей, правду выше дружбы, но и из чувства живой любви и уважения к их памяти. Конечно, нет ничего легче, как быть правдивым за счет своего ближнего. Но в данном случае, говоря о своих интимных друзьях и единомышленниках, автор тем самым говорил и о себе. На безгрешность своих суждений он не претендует.

Наоборот, был грешен и многогрешен, — в том не может быть сомнений, — хотя часто и без ведома о том. Однако, о чем судил, судил, не считаясь ни с дружбой, ни с духовным или политическим родством.

Мне приходится лишь скорбеть — лично и общественно, — что никто из бывших товарищей по редакции «Современных записок» не может ни поправить, ни опровергнуть здесь написанного. Они «отчитались» бы за «Современные записки», вероятно, по-иному; во всяком случае *своим* взглядам и образу действий они придали бы более адекватное выражение и истолкование. Пусть это сделают другие, те, кто участвовали в нашем деле или были тому свидетелями и кому, как и мне, дорога и правда, и память об ушедших, и дело «Современных записок». В возможности поправок и дополнений одно из оснований к тому, чтобы написанное появилось в печати теперь же, а не post mortem, в отсутствии живых свидетелей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вишняк М. В.

В55 «Современные записки»: Воспоминания редактора/Вст. статья Л. Аллена. — СПб.: Издательство «Logos»; Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993. — 240 с. (Судьбы. Оценки. Воспоминания. XIX—XX вв.)

ISBN 5-87288-053-7

В книге воспоминаний Марка Вениаминовича Вишняка (1883—1977), известного русского общественного деятеля начала XX в., секретаря Учредительного собрания, впоследствии одного из редакторов журнала «Современные записки» (1920—1940), ставшего культурным центром русской эмиграции, дана живая хроника роста «Современных записок». Здесь читатель найдет историю журнала и яркие портреты его бессменных авторов — И. Бунина и Вл. Ходасевича, Д. Мережковского и З. Гиппиус, А. Ремизова и И. Шмелева, М. Осоргина и Б. Зайцева, В. Набокова и М. Цветаевой и многих других представителей литературы русского зарубежья, а также видных философов, публицистов, критиков, политических и общественных деятелей XX в.

В $\frac{4702010101}{Г73(03)—93}$ без объявл. **ББК 84.Р1**

Публикация данного издания осуществлена при содействии АО «Витабанк»

Марк Вениаминович Вишняк

«Современные записки»

Воспоминания редактора

Корректор *Н. С. Цибульникова*
Художник *В. Е. Корнилов*

ЛР № 030078 от 20.08.91. Сдано в набор 24.06.93. Подписано в печать 29.10.93. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская. Печать высокая. Усл. печ. л. 15. Тираж 3000 экз. Заказ 102.

Издательство «Logos». 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга» типография № 8 Мининформпечати РФ. 190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «LOGOS»
в 1993 году
в серии «Судьбы. Оценки. Воспоминания.
XIX—XX вв.»

выпускает следующие книги:

1. Г. Адамович. «Одиночество и свобода»

2. «Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников». Сборник

3. Великий Князь Гавриил Константинович. «В Мраморном дворце»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «LOGOS»
в 1994 году
готовит к изданию следующие книги из серии
«Судьбы. Оценки. Воспоминания. XIX—XX вв.»

1. В. Гиппиус. «Гоголь». В. Зеньковский. «Н. В. Гоголь»
2. Е. С. Калмановский. «Российские мотивы»
3. Надежда Плевицкая. «Дежкин Карагод»

К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ФЛОТА



М.В. ВИШНЯК

Имя Марка Вениаминовича Вишняка (1883-1977) в истории русской культуры неразрывно связано с журналом "Современные записки". Основанный в Париже в 1920 г. культурно-политический и литературный журнал "Современные записки" - наиболее значительное из всех периодических изданий русского зарубежья, выдающийся памятник эпохе 1920-1940 гг. "Современные записки" заслуженно пользовались огромной популярностью в среде русской эмиграции, именно на страницах этого журнала проходили первую публикацию произведения видных мастеров русской литературы, статьи известных философов, публицистов, критиков, политических и общественных деятелей.
Мемуары М. В. Вишняка, бессменного редактора "Современных записок",- ценнейший вклад в литературу о русской интеллигенции XX в. в один из самых переломных этапов ее истории.